



РОКУЭЛЛ КЕНТ
САЛАМИНА

Annotation

О чем эта книга? О Гренландии, где жил автор — Рокуэлл Кент, выдающийся американский художник, прогрессивный общественный деятель и добрый друг нашей страны — в начале тридцатых годов. О прекрасной суровой природе Гренландии, о ее жителях, об их быте и нравах, обычаях, радостях и горестях.

Герои книги? Сам автор — «Кинте», как называли Рокуэлла Кента его друзья эскимосы, доброжелательный человек, остроумный рассказчик. Саламина — эскимоска, именем которой названа эта книга, — умная, милая женщина с чистым сердцем. И многие другие — хорошие и плохие люди с их ярко обрисованными характерами, поступками, думами.

Впервые «Саламина» вышла в свет в 1935 году. Выдержала несколько изданий в США, Дании, Исландии, Англии.

-
- [Рокуэлл Кент](#)
 - [Предисловие автора к советскому изданию](#)
 - [ЧАСТЬ I](#)
 - [I](#)
 - [II](#)
 - [III](#)
 - [IV](#)
 - [V](#)
 - [VI](#)
 - [VII](#)
 - [VIII](#)
 - [IX](#)
 - [X](#)
 - [XI](#)
 - [XII](#)
 - [XIII](#)
 - [XIV](#)
 - [XV](#)
 - [XVI](#)
 - [XVII](#)

- [XVIII](#)
- [XIX](#)
- [XX](#)
- [XXI](#)
- [XXII](#)
- [XXIII](#)
- [XXIV](#)
- [XXV](#)
- [XXVI](#)
- [XXVII](#)
- [XXVIII](#)
- [XXIX](#)
- [XXX](#)
- [XXXI](#)
- [XXXII](#)
- [XXXIII](#)
- [XXXIV](#)
- [XXXV](#)
- [XXXVI](#)
- [XXXVII](#)
- [XXXVIII](#)
- [XXXIX](#)
- [XL](#)
- [XLI](#)
- [XLII](#)
- [XLIII](#)
- [XLIV](#)
- [XLV](#)
- [XLVI](#)
- [XLVII](#)
- [XLVIII](#)
- [XLIX](#)

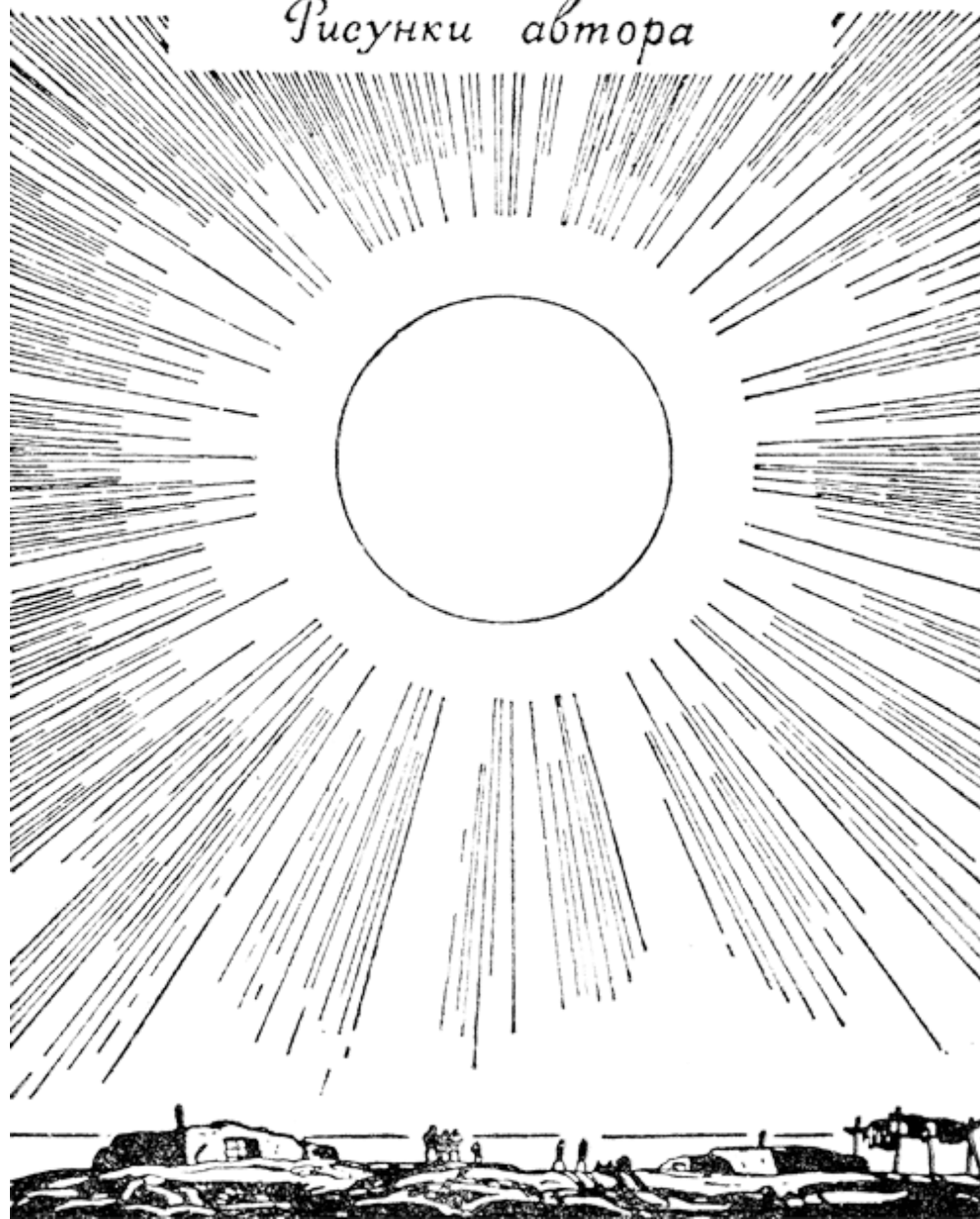
○ [ЧАСТЬ II](#)

- [I](#)
- [II](#)
- [III](#)
- [IV](#)

- [V](#)
 - [VI](#)
 - [VII](#)
 - [VIII](#)
 - [IX](#)
 - [X](#)
 - [XI](#)
 - [XII](#)
 - [XIII](#)
 - [Послесловие редактора](#)
 - [Иллюстрации](#)
- [notes](#)
 - [1](#)
 - [2](#)
 - [3](#)
 - [4](#)
 - [5](#)
 - [6](#)
 - [7](#)
 - [8](#)
 - [9](#)
 - [10](#)
 - [11](#)
 - [12](#)
 - [13](#)
 - [14](#)
 - [15](#)
 - [16](#)
 - [17](#)
 - [18](#)
 - [19](#)
 - [20](#)
 - [21](#)
 - [22](#)
 - [23](#)
 - [24](#)
 - [25](#)

- [26](#)
 - [27](#)
 - [28](#)
 - [29](#)
 - [30](#)
 - [31](#)
 - [32](#)
 - [33](#)
 - [34](#)
 - [35](#)
 - [36](#)
 - [37](#)
 - [38](#)
 - [39](#)
 - [40](#)
 - [41](#)
 - [42](#)
 - [43](#)
-

Рисунки автора



Рокуэлл Кент
Саламина

Предисловие автора к советскому изданию

Рассказывают, что Вильгельм Завоеватель, высаживаясь на английский берег, споткнулся и упал.

— Вот так я захватываю Англию! — воскликнул находчивый герцог.

Будь я столь же находчив, как герцог, я тоже мог бы воскликнуть:

— Вот как я прижимаю Гренландию к своей груди! — когда после кораблекрушения (о чем рассказано в другой книге, написанной до «Саламины»)^[1] волны выбросили меня на прибрежные скалы Гренландии.

Эта книга, «Саламина», названа именем доброй женщины, которая была моей подругой в Гренландии. В книге рассказывается о том, как, снова посетив остров, я счастливо жил среди приветливого мирного народа этой северной страны.

Недавно в Москве я встретился с двумя одаренными молодыми художниками из Киева.^[2] Они жили и работали в Советской Арктике, так же как и я, они любят Крайний Север и его обитателей. Мне говорили, будто бы кое-кто из друзей упрекал этих художников в том, что, живя на севере, они отрываются от действительной жизни. Как несправедливо это обвинение!

Под блестящим покровом современной жизни, ее культурных манер и одежд, все возрастающих удобств находится Человечество, Человек, с его разумом и чувствами. Разве это не заставляет нас стремиться проникнуть сквозь покровы, чтобы познать человека, его сущность? Разве искусство не должно открыть ее нам? Эту сущность открывают работы двух упоминавшихся молодых художников. Мне же ее открыла жизнь в Гренландии. Мы, стремящиеся создать для людей лучший мир, должны знать глину, из которой лепим человека. «Предмет, который надлежит изучать человечеству, — человек», — писал Александр Поп.^[3]

Простое позволяет нам понять сложное.

Хотя сейчас после двухвекового общения с европейцами, после частого смешения своей крови с их кровью гренландцы далеки от

культуры каменного века, не похожи на прежних иннуитов,^[4] тем не менее во многом они остались такими же, как и были. Образ жизни, суровый быт и тяготы существования препятствуют быстрым изменениям.

Я осмелился в предисловии к другой, ранее изданной книге «Курс N by E» выразить надежду, что она подружит меня с советскими читателями. В этом предисловии я выражаю надежду, что мне удастся завоевать симпатии советских людей к Саламине и к ее народу. Да живет он в мире, вовеки!

Москва, ноябрь 1960 г.

Рокуэлл Кент

ЧАСТЬ I

I

Фокусник

Тихий безоблачный июльский вечер. На поселок ложится тень Уманакских гор. Коричневые скалы, коричневая земля, коричневые эскимосские домики из дерна и ярко окрашенные дома датчан. И кругом: и на море и на суше, на синем заливе с островками льда, на гористых островах, на снежных вершинах хребтов материка, на гребнях ближних гор и высоко вздымающихся склонах Уманакского пика — всюду золотистый свет незаходящего солнца гренландского лета.

И вот, как суслики из полевых нор, появляются люди. Они выливаются потоком из домов, сбегает с горы по каменистым тропинкам. Все собираются перед плотницкой, сливаясь наконец в большую, полную бьющего через край веселья толпу, которой не стоит на месте от возбуждения. Сейчас что-то будет.

Широкие двери плотницкой на три ступени выше земли; прямо в дверях стоит стол. Стол накрыт яркой скатертью и уставлен батареей бутылок, бокалами, коробочками; на нем стоит еще никелированная ваза. Позади стола беспокойно прохаживается, переставляя вещи, человек. Глаза всех устремлены на него.

Маленький белый человек, краснощекий и красноносый, с губами бантиком; люди следят за его движениями. Толпящиеся впереди мальчишки заглядывают под стол, рассматривая его кривые, расходящиеся буквой Х ноги. Но вот, по-видимому расставив все, он опирается ладонями на стол, наклоняется вперед и впивается выпуклыми белесыми глазами в толпу. Море поднятых кверху лиц с приоткрытыми ртами обращено к нему.

Что за лица! Широкоскулые, темные. Сильные челюсти и гладкие лбы мужчин и женщин в расцвете сил, высохшие, выдубленные непогодой лица стариков, молодые лица — гладкие, как полированная бронза, с пухлыми щеками, будто раздутыми от смеха; дети на руках и сорванцы ребята с перепачканными личиками на ящиках, на крышах, на бочках — все, приоткрыв губы, смотрят в эти гипнотизирующие их глаза. Смотрят как прикованные, затаив дыхание. И когда наконец белый человек медленно поднимает страшную, изуродованную руку с

тремя пальцами, внушительным жестом простирает ее над толпой и стоит так, задрав нос, готовый начать, наступает тишина, такая, как в день Страшного суда в ожидании гласа божьего.

Он начинает говорить. На испорченном, почти непонятном эскимосском языке он сообщает им, что собирается делать, какие чудеса совершит. Он запихивает грязный носовой платок в коробочку, закрывает ее, поднимает плотно закрытую коробочку вверх. Все смотрят на нее не мигая. Он осторожно подносит коробочку к губам, сильно дует на нее. Снова поднимает, трижды переворачивает, ставит на стол, торжественно похлопывает по ней. Снова поднимает он свою страшную руку: смотрите! Открыв коробочку, показывает ее зрителям. Коробочка пуста. Гул восхищенного изумления прокатывается по толпе.

Он глотает большой кухонный нож; он, как курица, несется и показывает яйца; он смешивает в пустой вазе продукты, из которых можно было бы приготовить суп, — и что получается: думаете, суп? Нет — датский флаг! Он превращает воду в вино и вино в воду. Очарованная чудесами толпа смотрит на него. В глубокой тишине Гренландии голос волшебника звучит страшно, внушительно.

В гавани стоит датское грузовое судно. Матросы с него сошли на берег. Пьяный кочегар, следивший издали из-за толпы за представлением, подходит, пошатываясь, ко мне, берет за руку. Он-то не такой простофиля, он хочет, чтобы и я не обманывался.

— Это просто куча дрянных фокусов, — шепчет он. Только его никто не слышит или никто не понимает.

Но вот, как жаль, что так скоро, представление приближается к концу. Последнее великое чудо. Волшебник, отодвинув в сторону стол и выйдя вперед, вынимает из кармана монету и подает ее мальчику. Монету передают из рук в руки, чтобы все могли посмотреть на нее: гренландская крона. Монету возвращают. С внушающей благоговение серьезностью волшебник начинает готовиться. Он отпивает глоток воды, полощет горло, расстегивает свой целлулоидный воротничок, жилет, распускает пояс. Все готово? Так! Подняв высоко монету, он открывает рот, кладет ее на виду у всех в открытый рот, закрывает рот и глотает. Кажется, просто видишь, как медная монета проходит через горло. Волшебнику, очевидно, немного больно. Проглотил. Поглаживает свой живот. И вдруг, только что он стоял и улыбался, его

схватывает приступ боли. Жестокое страдание, искажающее черты, отражается и на лицах восхищенных, сочувствующих ему зрителей. Они вздыхают от жалости. Внезапно волшебник нагибается, в этом положении ему делается легче. Выражение радостного ожидания озаряет его лицо: надежда, вера, воля к действию. Он быстро заносит руку назад — все слышат резкий звук — и поднимает вверх вновь обретенную монету. Восторженный рев. Волшебник отдает монету стоящему рядом зрителю, который осторожно берет ее. Это дар белого человека Гренландии.

Толпа долго не расходилась, обсуждая виденные ею чудеса. Фокусника называли в толпе ангакоком — так звали древних чудотворцев, людей их племени. По-видимому, их наслаждение от зрелища ничуть не уменьшалось из-за того, что они знали — дальше к северу один из их же племени еще лучше проделывает те же чудеса и что все это, как угадал кочегар, просто фокусы.

II

Остров Убекент

В море — в пятидесяти милях от Уманака — находится большой гористый остров, названный голландскими китоловами Убекент, то есть Неизвестный. Название острова, его уединенность, величественная простота сурового заснеженного плато и выступающих над ним пиков, темный скалистый барьер, образующий восточный берег, придают ему очарование таинственного острова на пути в край поразительного великолепия. Вид неприступных скал совершенно исключает всякую мысль о возможности здесь людских поселений. Приблизившись к более гористой северо-восточной оконечности, где прямо перед вами вертикально поднимается над водой крутой обрыв горы, вы видите конец барьера и берег, уходящий внутрь дугообразной гладкой, шириной с милю и окруженной горами прибрежной полосой. Вам становится виден низкий пологий зеленеющий берег, украшенный, как драгоценными камнями, разноцветными домами европейцев и усыпанный маленькими холмиками земли — домами местных жителей. И душа ваша, внезапно осознавшая, чего ей не хватало, благодарно наслаждается ощущением исполненного желания.

Гладкий берег, зеленые луга, пересеченные узкими тропинками, дома, в которых живут люди, дым от очагов, поднимающийся в неподвижном, освещенном солнцем воздухе, — нет красоты, которая была бы нам ближе! А окружающая дикая природа и в подавляющей близости черная крутизна гор еще усиливают остроту восприятия.

Но вот раздаются крики, из всех домов выбегают люди, чтобы приветствовать нас. Одетые в яркую эскимосскую одежду, они бегут наравне с нашей лодкой и выстраиваются на берегу для встречи. Люди заходят по щиколотку в воду и вытаскивают на песок лодку. Они вынимают из лодки груз и несут его вслед за нами. Мы идем все — мужчины, мальчики, женщины — к стоящему неподалеку дому начальника торгового пункта. Доставив груз, люди складывают его внутри, у двери, и расходятся.

— Садитесь, не говорите ничего, будьте как у себя дома, — приказывает мой хозяин и спутник, начальник торгового пункта

поселка Игдлорсуит, уманакский ангакок. Станный тип этот Троллеман. Надо будет с ним познакомиться поближе.

В течение девяти бесконечных часов переезда сюда из Уманака он болтал, изливая на мою голову (я был в лодке, как в тюрьме) нескончаемый поток воспоминаний, фантазий — плоды неудовлетворенного тщеславия. Ложь — бессодержательная, бесцельная. Ложь? Ну да, он хвастался своей ложью.

— Я, — восклицал он, — третий из величайших в мире лгунов! Ах, если б я умел писать! Я бы рассказал историю своей жизни. Это была бы ужасная история.

Мальчишкой сбежал из дому. Тяжелые годы на море: матросом на пароходе, на паруснике, затем помощником капитана (сомнительно!), был тюремным надзирателем, работал на молочной ферме, охотился на восточном берегу Гренландии. Теперь наконец, гонимый неукротимой жаждой власти, этот человек, не созданный властвовать, стал начальником торгового пункта в Игдлорсуите и господином жены — эскимоски. Из пароходного слуги — в короли.

Ему нравилось приказывать. Образцом служило то начальство, от которого в прошедшие годы он больше всего натерпелся. Наконец-то он был капитаном судна — своего дома. Жена была помощником, ее сестры — командой. Молодая жена допускалась к столу в кают-компанию в соответствии с духом непреклонного снобизма, господствующего на море. Она знала свое место.

Было что-то бесконечно трогательное в том, как она робко, почти с ужасом, подчинялась требованиям и привычкам своего господина тщательно соблюдать ничтожные мелочи при накрывании на стол, как внимательно подражала каждому движению ножом и вилкой во время еды. Чувствовалось озабоченное беспокойство. И оно уже оставило свои следы в морщинках вокруг глаз, между бровями. Выражение ее лица было как у сбитого с толку маленького ребенка, который все время спрашивает себя: «Что он хочет? В чем дело?» Но она была не совсем ребенком: иногда казалось, что она ненавидит его — моего любезного, шумного, веселого хозяина, своего господина.

— Регина, поди сюда, — говорил он.

Она подходила к нему. Троллеман сажал ее к себе на колени и подставлял голову ее ласкам.

— Кого ты любишь? — спрашивал он.

И она неизменно отвечала по-датски, как ребенок, наученный ласковым словам:

— Моего маленького Троллемана.

Она заучила все эти штуки. А ее от природы нежный, привязчивый характер очень подходил для восприятия тех приемов женского искусства, какие могли быть ей полезны: она научилась льстить и выпрашивать. Это служило ей единственной защитой от тирании господина.

Но в общем, пожалуй, она была довольна. В жизни очень много горестей, но в ее жизни были и минуты, когда она испытывала гордость; презрение и ненависть, временами бессильно мелькавшие в ее глазах, несомненно, не раз рассеивались при мысли об общественном положении, которое принесло ей замужество, от восхищенного ожидания поездки в Данию, поездки, подготовкой к которой служило все это тягостное обучение обычаям белых. Шесть лет уже длится это обучение. Сколько событий произошло за шесть лет!

III

Регина

Регина была в Игдлорсуите чужая, новоприбывшая, переселившаяся сюда только в прошлом году, когда мужа ее перевели из поселка Агто, где она родилась. Из гордости и по воле мужа она оставалась здесь чужой. Регина поддерживала свой престиж, тщеславно выставляя напоказ бесчисленные мелочи в одежде и манерах, вызывавшие зависть местных жителей. И, конечно, с их стороны нельзя было ожидать хорошего отношения к ней. Само положение Регины заставляло подозревать ее в том, что она доводит до сведения начальника торгового пункта тайные насмешки и недовольство, с которым гренландцы, заслуженно или незаслуженно, могут взирать на белых господ. Возможно, что она, сама о том не думая, в какой-то степени и была в этом повинна. Бедная девочка, жители поселка не любили ее и не доверяли ей.

Весной, летом, осенью и зимой она, стоя за закрытым окном, наблюдала жизнь своего племени — их работу и игры, любовь и счастливое безделье. Это была и ее жизнь с самого детства до замужества, состоявшегося шесть лет назад. Она слышала смех гуляющих на набережной, их песни в летние вечера. Регина могла иногда услышать шепот влюбленных, спрятавшихся от чужих глаз за углом ее господского дома. Охотники возвращались с охоты, Регина присоединялась к населению поселка, которое приветствовало их, гордилась, как и остальные, успехом людей своего племени, восхищалась их мужеством. В ней пробуждалось свойственное ее полу страстное влечение к молодости, силе, смелости. В душе она, как женщина, преклонялась перед мужчиной-героем. Регина стремилась сейчас ко всему тому, что с детских лет привыкла любить, о чем с детства мечтала.

У окна, которое как всевидящее око взирает на весь поселок, сидит сторбленный беловолосый человечек. Он пишет. Каждый день по многу часов, старательно, гордясь и наслаждаясь вычурными завитками своего почерка, он записывает события дня. Обо всех смелых и ловких поступках, обо всем, что так волновало жителей поселка, чем они жили

в этот день, он пишет: « x кило жира, y шкур, стоимость z крон». Он ангел книги судеб цивилизации. Регина, работая на кухне, видит эту согбенную спину, спину своего мужа. Несчастное дитя! Один бог знает, о чем она думает.

Когда-то среди девушек Агто прибытие нового начальника торгового пункта, холостяка Троллемана, вызвало заметное волнение. Хотя им и в голову не приходило думать о замужестве, девушки все же рассчитывали на его случайную благосклонность — мужчины любят ее выказывать. И в предвкушении преимуществ, всеобщего интереса и почета, связанных с его особым вниманием, девушки соперничали между собой в стыдливой игре в прятки — обычной здесь манере вести себя при ухаживании. Регина в то время, вероятно, сияла редкой красотой. На ее полном, молодом, овальном лице еще не успели появиться следы забот, выражение его было открыто и простодушно, как ее жизнь и мысли. Красота Регины была пышной: длинные иссиня-черные косы, обвивавшие тяжелым кольцом голову; оливковый цвет кожи, красивые губы и зубы, белые, как выбеленная солнцем слоновая кость. Не удивительно, что начальник торгового пункта вскоре остановил на ней свой взгляд и выбрал ее себе в служанки.

Троллеман был новичком среди оседлых жителей Гренландии. Случайные охотничьи приключения в погоне за человеческой дичью, выпавшие на его долю во время поездок по Гренландии, мало чем могли помочь ему в решении новой, возникшей перед ним проблемы пола в незнакомой для него области — в устройстве домашней жизни. Может быть, несмотря на утверждение некоторых, матросская любовь на одну ночь не дает понимания поведения женщин, и Магдалины глухих переулков Санкт-Паули и Фронт-Стрит совсем не похожи на Март из более достойного места — семейного дома. Во всяком случае, очаг, дом, семейная жизнь — все это было чуждо Троллеману. И какое бы презрение к женщинам он ни вынес со времен работы на фок-мачте, новая обстановка накладывала на него свою священную руку, набрасывала покров осмотрительности на нечистое вожделение, которое грызло его внутренности.

Добродетель девушки — бывшая, возможно, только проявлением ее природной наивности — трогательно соответствовала представлениям Троллемана о доме. Она сама по себе могла одновременно и пристыдить его и возбудить в нем горячее желание.

Она усиливала путаницу мыслей Троллемана насчет того, насколько дерзко, хитро, осторожно, осмотрительно он должен наметить путь своего преследования. Троллеман знал, что каждый его тайный поступок будет предметом сплетен в поселке, и, несмотря на свою гордость белого, боялся насмешек жителей. Его сковывала застенчивость, скрыть которую нельзя было никакой напыщенной позой. Регина понимала его ходы в игре: да и кто бы не понял их? Свои же ходы в этой игре она делала с инстинктивным умением. Регина знала повадки мужчин: любовь никогда не была для нее тайной. Она наблюдала, как зачинают ее братьев и сестер, видела, как они рождаются. Она присутствовала при всех явлениях человеческой жизни. О любви не разговаривали: она была действием — его совершали. То, что оно совершилось и для нее, отмечало наступление зрелости.

Регина не была невинной, но она была молода. Троллеман производил на нее впечатление, он пугал ее. Он был так шумлив! Расхаживая по кухне около Регины, Троллеман следил за ней своими выпуклыми глазами. Это смущало Регину. Хорошо сознавая свое невежество в хозяйствовании на датский лад, она старалась как только могла. Может быть, она делает что-то неправильно, и поэтому Троллеман следит за ней? Когда он заговаривал, Регина вздрагивала: так резко это у него получалось. Троллеман смеялся, потирал руки, хлопал ее по спине, потом быстро уходил. Если это шумное поведение выражает веселье, то оно совсем не похоже на веселье гренландцев. Конечно, Регина ничего не понимала: почему он заговаривает так внезапно и громко, прикасается к ней и отскакивает, как будто обжегся? Троллеман щипал ее за талию, за бедра, потом быстро отходил от нее. И так всегда. Такое беспокойное поведение раздражало Регину. Приступил он к ней по-другому, как если бы желал ее, она бы это поняла. Может быть, он ее не желает?

Вечером, когда, окончив дневную работу, она уходила домой, Троллеман шел за ней до дверей и не отрываясь смотрел вслед, пока девушка не скрывалась за углом. Регина сдвигала брови: чего он от нее хочет? Может быть, ей следовало остаться? Так он мог бы задержать ее, конечно, если бы желал ее. Регина чувствовала какую-то неопределенность: не то чтобы она жаждала его объятий, она просто ожидала их. И однажды вечером все изменилось.

Троллеман стоял, наблюдая, как Регина приводит кухню в порядок. Закончив работу, она направилась к дверям.

— Завтра в семь? — спросила девушка.

— Да, — ответил он хрипло.

Регина двинулась к выходу и услышала, что хозяин идет за ней следом. Троллеман настиг ее в сенях и закрыл за собой внутреннюю дверь. Тут было почти темно, летние сумерки едва проникали сквозь маленькое окошко. Троллеман грубо притянул Регину к себе, прижал свою шестидневную щетину к ее щеке. Она сопротивлялась, не из отвращения, не из страха — инстинктивно. Рука ее упиралась в наружную дверь; она толкнула ее, распахнула настежь. Дневной свет ворвался в сени, откуда-то снизу донесся смех. Регина оказалась на свободе. Убегая, девушка обернулась и увидела Троллемана в дверях, растрепанного, с блуждающими глазами. С этой минуты она знала, что он в ее власти.

Регина стала извлекать выгоду из страсти Троллемана. Она не была корыстна, но любила красивые вещи. Ей доставляло удовольствие украшать себя, надевать на шею блестящие ожерелья, вдевать в уши сверкающие серьги, наряжаться в яркие платья; она испытывала тщеславное удовольствие, прогуливаясь в этих нарядах, зная, что подруги ей завидуют. Наряды были знаком оказываемого ей предпочтения. Честь и награды делила с Региной ее довольно большая семья: мать-вдова с бесчисленными детьми. Они постоянно торчали на кухне, поедая остатки со стола начальника торгового пункта, и проводили там как бы по праву столько времени, сколько им заблагорассудится. Дети создали дополнительное существенное препятствие для ухаживаний человека, опасавшегося обнаружить перед людьми намерения, которые, с точки зрения Троллемана-романтика, были далеко не честными.

Преследование Регины — это все еще была погоня — принесло бывшему матросу все те надежды, восторги, сердечные страдания и отчаяния, которых требует первая любовь. Троллеману мешали — он знал это — его годы, напыщенность и вызывавшее отчаяние сознание, что ни то, ни другое не увеличивают его мужского достоинства. Любовь лишала его силы нанести удар. И все ограничения, которые накладывали на него романтические принципы, все поведение романтического влюбленного, какое могло бы оказаться

сокрушительным для сердца датчанки, не подходили для его дикой жертвы. Регина знала действительность, и только ее; единственной реальностью в том, что она называла любовью, была страсть. Троллеман мог бы взять ее. Регина бы сопротивлялась без упорства, уступила бы, распалившись. Не загоревшись ответной страстью, а пассивно, как иссохшая земля впитывает дождь. Зажечь мужчину, чтобы он обладал ею, сгорать, как в пламени, — такова ее роль любви. Какую нежность это могло бы вызвать в ней!

Девушка-язычница. Как мало двести лет веры в Христа повлияли на то, чем ее сделали десять тысяч или десять раз десять тысяч лет безверия! Что бы там ни говорили об истине и красоте, нисходящих, как свет с небес, где обитает господь, но Регина ступала по языческой земле. В этой земле были ее корни: земная роса выступала на ее следах и питала ее. В ней продолжали жить древние обычаи ее племени. «Красота — сила; сила — красота», — говорили поэты ее народа. Мужчины добивались женщины силой; заключительным обрядом ухаживания было изнасилование. Регина не могла плениться словами или добровольно отдаться, как молодое деревцо не может согнуться против ветра.

Первое неудачное нападение Троллемана обескуражило его; он истратил свои силы. Ее сопротивление, внезапный поток дневного света, смех, ее бегство... Видели ли их люди? Не рассказала ли она им все?

На следующий день, когда Троллеман появился на людях, он держался еще более шумно и развязно, хлопал мужчин по спине и хохотал так весело! Он щипал детишек за щечку и гладил по плечу матерей, разбрасывал пригоршнями инжир и сахар, который люди, толкаясь, подбирали в грязи. Троллеман сиял и поглядывал, нет ли где признаков насмешки? В обращении с Региной он прибегнул к самому напыщенному начальственному тону. Хозяин и служанка: строг, но добр. Ел он, как обычно, в одиночестве, но теперь сидел как будто погруженный в чтение прошлогодней газеты. Регина скромно выполняла свою работу на кухне, улыбаясь про себя, и безукоризненно прислуживала хозяину. Она лишь слегка задевала Троллемана за плечо, ставя перед ним кофе. Потом, уходя на кухню, забывала закрыть дверь и, повернувшись, чтобы закрыть ее, видела, что Троллеман смотрит на нее во все глаза.

Теперь, зная, чего хочет хозяин, Регина забавлялась. Она понимала отлично, почему ему нужно, чтобы она прислуживала за столом, почему он так часто зовет ее, почему под самым ничтожным предлогом крутится около нее, когда она работает. Регина угадывала нетерпение Троллемана в каждой попытке к сближению и каждый раз умела ловко смутить его. Даже, когда он касался ее руками, девушка одним взглядом заставляла его опустить их.

Вдвоем, наедине друг с другом в доме! Однажды вечером, когда Регина работала допоздна, Троллеман позвал ее к себе в спальню. Он стоял полураздетый, края полосатой фланелевой рубашки свисали на его неуклюжие бледные ноги. При виде Троллемана она не испытала волнения, желания уступить ему, но не почувствовала и отвращения. Внезапно Троллеман смутился, ухитрился спрятать ноги за стулом, отдал какое-то пустяшное распоряжение, стараясь при этом не уронить собственного достоинства, и отпустил ее.

Преследуя Регину, Троллеман как бы вступил на путь, на котором он никак не смог бы сблизиться с ней, как бы сильно к ней ни тянулся. Их принципы в любви были несовместимы. Придерживаясь своих принципов, Троллеман — таков уж человек! — в отношениях с Региной играл совершенно определенную роль, выйти из которой он не мог, несмотря на всю безнадежность своего положения. Возможно, что в других условиях, без толкущихся рядом зрителей в лице почтенной старой матери, сидящей на корточках на кухне, и пялящих глаза ребят, Троллеман отказался бы от рыцарства ради страсти. Но зрители, мать и дети, были тут. А в их присутствии джентльмен так же мало мог рискнуть напасть, как Регина, по ее понятиям, могла уступить без нападения. С каждым днем он все сильнее и сильнее оказывался опутанным узами платонической любви.

На помощь пришел случай. Троллеман должен был совершить инспекторскую поездку в отдаленные поселки, получавшие товары из его торгового пункта. На это требовалось несколько дней. Так как необходимо было в какой-то мере наладить домашний быт на лодке, где предстояло ему жить, то Троллеман, придерживаясь гренландских обычаев, решил, что его будет сопровождать служанка, Регина. В просторной каюте моторной лодки помещались две койки. Регина сможет готовить ему еду, убирать и вообще заботиться о нем. Регина, конечно, пришла в восторг. Она любила путешествовать. Кроме того, в

отдаленных поселках у нее было бесчисленное множество друзей и родственников, которым приятно показаться в новом, столь высоком положении.

Для поездки она оделась в самый очаровательный костюм. Белые сапоги с узорчатым верхом доходили до колен. Выше, до середины бедер, шли белые нитяные «чулки» с вышитыми крестиком розами, обшитые сверху кружевами, окаймленные полосой из черной, как уголь, тюленьей шкуры. Затем штаны из тюленьей шкуры, обтягивавшие бедра. Каждую ногу украшала широкая лента из чередующихся полосок ярко-красной кожи, хорошего белого собачьего меха и вышитой кожи. Ее блуза, *анорак*, плотно охватывавшая фигуру, была сшита из плюша цвета бордо и оканчивалась поясом из яркого полосатого шелка. Обшлага и свободный стоячий воротник блузы были из черной тюленьей шкуры. Выше обшлагов шла двухдюймовая полоса в виде кружева, связанная из бус, а от воротника спускалась почти до локтей тяжелая, изукрашенная бусами пелерина. Шею плотно охватывал воротник из белой бумажной материи, вышитый цветами и заколотый большой брошью со сверкающим стеклом изумрудного цвета. Блестящие черные волосы Регины над низким лбом были разделены на пробор и заплетены в уложенные вокруг головы косы; из-под волос выглядывали блестящие серьги. Ее черные глаза сверкали, белые зубы блестели. Милое молодое лицо выражало невинное наслаждение этим ярким оперением.

Несомненно, в радостный день их отъезда очаровательный вид Регины наполнял душу Троллемана гордостью. Он был еще более, насколько это только возможно, вызывающе напыщен, расхаживая на своих смешных кривых ногах и распорядясь посадкой на лодку, как маленький адмирал. Наконец лодка отплыла, и грязной, обтрепанной, дружелюбной толпе, махавшей им на прощание, должно быть, казалось, что это день торжества Регины. Так оно и было.

По-настоящему Троллеман не привык к важной роли, которую разыгрывал в качестве хозяина дома. На борту лодки под влиянием обстановки и в силу давнишней привычки он стал работать. Вскоре, занявшись двигателем, он стал таким же грязным, как и его команда. Машинально хозяин начал прислуживать своей прелестной пассажирке, поддерживая праздность, к которой ее обязывала парадная одежда. Это так отвечало собственному настроению Регины, что она не

задумываясь принимала его услуги; в этот день они оба с одинаковым почтением относились к ее одежде. Цель украшений — возбудить любовь, но на этот раз украшения далеко вышли за рамки своего назначения и изменили его: желание мужчины перешло в почитание, а женщины — в боязливую заботу о могущем испортиться плюше и хрупких бусах. Отправившись в поездку, которая по стечению всех обстоятельств должна была бы стать их медовым месяцем, Троллеман и Регина оказались еще более безнадежно далекими друг другу. Около полуночи лодка стала на якорь в тихой бухте. Когда прибрали палубу и команда улеглась спать на рундуках моторного кокпита, одинокий мужчина, Троллеман, сидел в задумчивости, покуривая на ночь трубку, в то время как его милая спала внизу в каюте.

На следующий день они посетили летнее стойбище. Задолго до того, как стали видны палатки, путешественники могли различить множество резко выделявшихся на фоне неба фигурок, которые быстро бежали по гребням холмов, торопясь встретить лодку. Фигурки добрались до мыса и остановились в ожидании. Затем, когда лодка приблизилась, они бегом спустились с холма и последовали за лодкой, карабкаясь по каменистому берегу, радостно приветствуя ее.

Стойбище состояло из трех или четырех палаток и двух дерновых домиков. Оно напоминало, насколько это возможно вообще для остатков прошлого на западном берегу Гренландии, о временах, предшествовавших приходу христианства. Палатки из шкур, две большие «женские лодки», вытащенные на берег и перевернутые вверх дном, чтобы можно было спать под ними. Местность такая же, как и везде: низкие безлесные волнистые холмы, карликовый кустарник и трава, скудная почва, всюду выходящие на поверхность каменные уступы. Унылый, однообразный и величественный вид.

Пока люди толпами отправлялись на холмы, чтобы увидеть лодку, пока они стояли на берегу, приветствуя посетителей, одна старая женщина, болевшая уже много дней, тихо ушла из жизни. Одинокая странница.

Тем временем Регина села в лодку, готовясь высадиться на берег. Гребцы подвели лодку к борту моторки, вытерли насухо сиденье и, оказывая всяческие знаки внимания, помогли войти в нее несколько неловкой, стесненной своей одеждой девушке. Троллеман, умытый, чисто одетый, гордо стоял рядом с ней. Они достигли берега. Гребцы

вошли в воду, вытащили лодку на сушу; Регина и Троллеман перебрались на берег. И пока Регина стояла, окруженная своими соотечественниками, плящими на нее глаза и хором требующими новостей, веселого начальника торгового пункта повели в дом.

Троллеман низко нагнулся и почти ползком, на ощупь протиснулся в темный, как могила, проход. Что впереди? Рука его натолкнулась на шероховатую жирную поверхность, должно быть дверь. Не найдя щеколды, Троллеман толкнул дверь: она отлетела, как будто развалившись на куски, и открыла перед ним низкое, слабо освещенное помещение. Это было нечто вроде четырехугольной земляной пещеры с грязным полом, грязными стенами, с крышей из дерна, поддерживаемой прогибающимися жердями. Слабый свет проникал через оконце, затянутое пузырем. Две женщины встали при входе Троллемана, предложили ему сесть на ящик. Половину маленькой комнаты занимали спальные нары. На нарах в беспорядке валялась грязная перина, из-под нее виднелись голова и плечи старой женщины. Желтая кожа туго обтягивала широкие кости лица, глаза были закрыты. Она лежала безжизненно, как мертвая.

Следом за Троллеманом вошло много народу; помещение заполнилось до отказа. Все стояли, выжидающе глядя на Троллемана. Ему ниспослана большая уверенность в себе; внимание посторонних не смущало, а подбадривало его. Он встал и приблизился к смертному ложу. Откинув одеяло, высвободил из-под него руку, взял эту безжизненную руку в свою. Немного подняв рукав, нащупал пульс. Так Троллеман стоял долго, и в доме не слышно было ни звука, кроме тихого покашливания. Он отпустил руку, и она тяжело упала на перину. Повернувшись к людям, Троллеман торжественно и медленно покачал головой.

К этому времени все уже вошли в дом; в маленьком помещении теснилась густая толпа. В дверях стоял человек из команды моторной лодки. Троллеман обратился к нему, пользуясь знаками и немногими известными ему эскимосскими словами. Речь его была чудовищна, бессмысленна, но никто не смеялся. Видимо, он хотел послать человека за какой-то коробкой на лодке. Пытаясь описать коробку, он совершенно некстати употребил слово *кивиток*. Слово это обозначает человека, охваченного своего рода сверхъестественным безумием. Матрос отправился выполнять поручение, а Троллеман, повернувшись

к безжизненному телу, устремил на него долгий пристальный взгляд. Посланец вернулся. Толпа расступилась, давая ему пройти. Троллеман взял у матроса коробку и поставил ее на нары, развязал ремешок, которым она была стянута. Затем повернулся лицом к трупу. Все молча следили за ним. Троллеман медленно поднял руки и протянул их вперед, ладонями вниз. Когда руки оказались над лицом покойницы, Троллеман начал проделывать странные движения. Казалось, он гладит нечто невидимое, исходящее из трупа. Его неподвижные глаза чудовищно выкатились, зрачки превратились в точки на блестящих полушариях. Что если бы женщина сейчас открыла глаза? Смогло бы ее старое сердце выдержать это?

Медленно, продолжая как бы гладить руками исходящую из женщины эманацию, Троллеман отступил к коробке. Он наклонился и открыл ее; быстро вынул и откупорил бутылку. Приблизившись к женщине, Троллеман поднес откупоренную бутылку к ее носу.

Прошло несколько секунд. Все затаили дыхание. Затем присутствующие увидели, как затрепетали безжизненные веки, открылись глаза. Женщина слегка повернула голову, оглядела безразличным взглядом стоящих вокруг. Пошевелила морщинистой рукой, натягивая одеяло. Женщина очнулась, она жива!

Это событие произвело глубокое впечатление на присутствующих. Все они знали, что чудеса совершались и могут совершаться. Нынешнее близкое знакомство гренландцев с бессильными священниками христианской церкви только укрепило воспоминания о языческом прошлом народа, усилило их благоговение перед памятными им сверхъестественными силами древних жрецов. Вот, значит, явился снова тот, кто может воскрешать мертвых, — ангакок, так называли они Троллемана. Слава его, как круги на тихой поверхности пруда от брошенного камня, распространилась далеко и достигла наконец самых отдаленных поселений на берегах Гренландии.

Страх охватил сердце Регины при виде жуткой власти того, с кем она была так тесно связана. Девушка вспомнила его повадки, которые раньше казались ей странными и почти смешными. Ее воображение наделяло их теперь устрашающей значительностью. Они казались ей выражением сверхчеловеческой натуры. Регина боялась Троллемана и в то же время гордилась, что в какой-то мере принадлежит ему. Ее маленькая душа пела от восторга перед вниманием, которое привлекала

к ней близость к Троллеману. Благоговейный страх перед Троллеманом, боязнь обратиться к нему заставили людей толпиться вокруг нее, требовать таких сведений, какие только она могла знать и передать им.

Поздней ночью, когда Троллеман, устав ждать Регину, улегся спать, когда свет новой зари уже показался в небе и все заснули, девушку подвезли по спокойной воде на лодке, высадили на борт моторки и шепотом пожелали ей спокойной ночи. Крадучись, чтобы не разбудить спящего хозяина, Регина спустилась в каюту и начала тихонько раздеваться. Она сняла свои белые сапоги, засунула руку в каждый из них поочередно и расправила носы. Осторожно сняла бусы и плюшевый анорак, любовно свернула его, положила. Обычно она спала в штанах, но сейчас на ней были новые. Регина сняла их. В рубашке, с голыми ногами, она стала на рундук, чтобы забраться на постель. Обернувшись, Регина взглянула на Троллемана и схватилась за койку, едва не упав от страха: глаза хозяина были открыты, он смотрел на нее.

Не в силах шевельнуться и отвести испуганный взор от этого сверхъестественного взгляда, Регина стояла, уцепившись за койку. Он заговорил:

— Берегись, Регина, я видел кивитока в твоём спальном мешке.

Регина отпрыгнула, затем резко обернулась и уставилась на занятую бесом постель. Долгое время она вглядывалась в постель, наконец, задыхаясь, проговорила:

— Нет, нет. Там нет ничего. — Робея, Регина рискнула приблизиться, протянула руки, как будто снова хотела попробовать забраться на койку.

— Берегись, — сказал Троллеман.

И она отпрянула.

Прошло некоторое время. Не было слышно ни звука, кроме плеска прилива. Все замерло. Регина стояла, широко раскрыв глаза. Троллеман наблюдал.

— Троллеман, — сказала Регина тонким голоском, не спуская глаз с постели, — можно мне лечь спать с тобой?

За несколько недель до рождения ребенка Троллеман с достойным уважением пренебрежением к стараниям соотечественников предотвратить мезальянс гордо повел Регину к алтарю и обвенчался с ней. А для Регины это было свершением честолюбивой мечты. Она сперва лишь прислушивалась к робкому шепоту ее, но потом прижала эту мечту к груди и вскормила. Она не только осмелилась надеяться, она хотела добиться этого. В ход были пущены все средства, которыми она располагала от природы: остроумие и здравый смысл, слезы и улыбки, красота, грация, очарование. С инстинктивным умением пользуясь своими природными данными, она поддерживала во влюбленном страсть и отчаянный страх потерять ее. Она победила, если это можно назвать победой. Это было шесть лет тому назад.

Шесть лет. Регина — жена датчанина, начальника процветающего торгового пункта в поселке Игдлорсуит, хозяйка большого дома, одетая в «датское платье». На ней ситцевое платье до колен, свободное, как мешок, в талии и узкое внизу. Сзади выглядывает фланелевая нижняя юбка. На кривые ноги натянуты бумажные клетчатые чулки, собирающиеся в складки над дешевыми высокими ботинками на шнурках.

— Она должна стать датчанкой, — говорит мой хозяин.

Регина робко прерывает своего господина, объявляет, что обед подан.

— Садитесь, — кричит Троллеман и хлопает меня по спине. — Садитесь, не говорите ничего, будьте как у себя дома.

Ох, какой веселый, добродушный парень!

— Ешьте, — кричит он, — кладите себе побольше. Нет, нет, вы должны есть.

Он наваливает мне на тарелку еще еды.

— Пива?

— Спасибо, налейте.

Он наполняет мой стакан.

— Не надо сахару, спасибо.

— Нет, вы должны положить сахару. — Он всыпает мне столовую ложку. — Ешьте, ешьте! Пейте до дна. Вот так! — орет он и швыряет пустую бутылку, которая с грохотом катится по полу и ударяется о кухонную дверь.

Елена, младшая сестра Регины, волоокая с красными, как яблоки, щеками служанка, скромно входит с новой бутылкой пива.

— Она должна, вы должны, они должны! — Если когда-либо Троллеман знал что-нибудь, кроме повелительной формы, то он давно все забыл. — Они должны повиноваться!

Две сестры Регины жили в доме служанками. Они спали вместе наверху на узкой низкой койке. Комнатой им служило местечко площадью в несколько квадратных футов на чердаке среди набросанного хлама. Елена живет и в своем роде привлекательнее другой сестры — Лии, которой было всего пятнадцать, но младшая обещала стать еще красивее, чем была замужняя сестра в своем расцвете. Несомненно, Лия робка и молчалива от природы, но, кроме того, она находилась в очень подавленном состоянии, это наводило на мысль о том, что она чувствует себя несчастной в обстановке, в какой ей приходится жить. Казалось удивительным, что можно быть несчастным там, где господствует такое щедрое гостеприимство.

В обязанности Лии входило утром будить хозяина и хозяйку. Как бы поздно она ни легла в солнечную летнюю ночь, как бы она ни любила свою полночную свободу после шестнадцати часов отупляющей домашней работы, Лия старалась как можно дольше наслаждаться этой свободой, до той поры, пока солнце не подымет высоко и жестяной будильник рядом с кроватью не вызовет ее снова на работу. Она вставала в семь утра, одевалась и бежала вниз, чтобы, пройдя через мою комнату, разбудить Троллемана.

Как-то я проснулся утром рано — во всяком случае, так мне казалось. В доме тишина, все было недвижно и снаружи. Я лежал в столовой на диване, служившем мне постелью, и смотрел в окно на начинающийся солнечный день. День, но весь мир спит. Вдруг я услышал, как надо мной кто-то спрыгнул на пол и раздались чьи-то шаги. «Лия», — подумал я.

Спустя мгновение она пробежала над моей головой, затем спустилась вниз по чердачной лестнице. Открылась дверь. Лия пересекла мою комнату и вошла к Троллеману, что-то сказала. В ответ послышался его голос, он спрашивал о чем-то. Лия поспешно прошла назад. Было слышно, как она взбиралась по лестнице на чердак, быстро пробежала надо мной. Снова шаги наверху, по полу чердака, вниз по лестнице, снова открылась моя дверь. Лия вошла с будильником в руке.

Входя к Троллеману, она прикрыла за собой дверь. В доме тихо, слышно, как Лия что-то говорит. Затем, как львиный рык, — голос Троллемана. Он с ревом соскакивает на пол. Звуки тяжелых ударов, и снова тишина. Дверь открывается, и маленькая Лия, опустив голову и пряча лицо, проходит через мою комнату в кухню. Одеваясь, я слышу ее подавленные рыдания.

Лия солгала...

IV

Фундамент

Тот, кто привык жить в стране, где каждый фут земли чья-то собственность, при виде никому не принадлежащих пустынных просторов испытывает желание владеть ими. Безлюдные горы и долины, девственные луга, места, с которых открывается вид на целый мир, и уединенные лесные поляны, где можно укрыться от этого мира, — все это по-своему наводит на мысль поселиться здесь и задуматься над тем, во что превратят друг друга человек и окружающий его мир.

Не сатана, а бог, взяв человека за руку, привел его на вершину горы, откуда видна пустыня.

— Все это, — сказал бог, — принадлежит тебе. Поступай как знаешь. — И, может быть, бог добавил: — И ты падешь и поклонись мне.

Сознание, что стоит только захотеть, и этот вид, земля могут стать твоими, вызывает любовь к ним. Пусть вы всегда мечтали о жаре и о роскошной тропической природе, а то, что вам достанется, будет голая, пустынная, холодная земля, совсем не похожая на земной рай, о котором вы грезили, — все же ваша душа-хамелеон восклицает:

— Господи, я *люблю* эту бесплодную землю!

Иначе почему бы люди уходили от удобств и удовольствий городской жизни, от красот возделанной, освоенной земли и находили счастье в невзгодах и бедности, в непрестанном труде, в тяжелых условиях жизни где-нибудь на неосвоенных землях. Почему люди любят дикие места? Ради гор? Их может и не быть. Ради лесов, озер и рек? Но ведь это, может быть, пустыня, и все равно люди будут ее любить. Пустыня, однообразный океан, нетронутые снежные равнины севера, все безлюдные просторы, как бы они ни были унылы, — единственные места на земле, где обитает свобода.

Свободная земля вокруг маленького поселка Игдлорсуита мало чем могла привлечь, разве только тем, что она была свободна и что отсюда открывался красивый вид. Желаящий построить здесь дом мог воспользоваться крутым, поросшим травой склоном горы, сложенной

из сланцев; низкой горизонтальной площадкой, которую местные строители, по-видимому, избегали; пологим восточным склоном Игдлорсуитской впадины и плоской, покрытой гравием прибрежной полосой к западу от поселка. Но ровная прибрежная полоса носила явные признаки того, что веснами она превращалась в русло бурных потоков. Восточный склон и площадка, где избегали строить дома, были заболочены. А сухой участок у подножия горы, судя по усыпавшим землю камням, был бы не менее опасен, чем поле битвы. Эти камни, откалываемые от горы морозом, обрушивались с нее весной и вечно угрожали крайним домам поселка. Некоторые из них подвергались ударам камней, а один недавно был разрушен. Даже в пределах застройки валялись глыбы величиной чуть ли не в кубический ярд, постоянно напоминая о том, что на спящий дом без предупреждения может обрушиться уничтожающий удар.

Я мог бы, выбирая участок для строительства, найти свободное место в пределах поселка, но боялся нарушить уединенность жилищ и заслонить вид, так как, судя по расположению домов, с этим здесь считались. Кроме того, я рассчитывал быть в Гренландии наблюдателем, а не предметом наблюдения и, естественно, предпочитал смотреть на других сверху вниз, а не быть внизу, чтобы они смотрели на меня. Я остановился на возвышенном поле битвы и, насколько мог судить, выбрал для застройки участок, лежащий по возможности дальше от скатывающихся камней. Место оказалось удачным, хотя и небезопасным. Если не считать того, что участок был открыт для бомбардировки, он оказался вполне подходящим. Расположенный на склоне выше поселка, мой участок отстоял достаточно далеко от других домов, я мог рассчитывать на уединенность, и все же он находился не слишком далеко и не вызывал мысли об умышленной изоляции. Из моего окна, как и из окон всех домов поселка, откроется вид на море. Но на первом плане у меня будет сам поселок, зрелище его повседневной жизни на открытом воздухе. Жизнь вне дома! Мне предстояло узнать, чем она может быть для человека.

Здесь, в северных условиях, наблюдая жизнь из своего окна, я как будто впервые стал ощущать красоту мира! Как много значил для выросших здесь этот вид с горы, этот кусок горизонта между мысами, образующими дугу бухты, это морское пространство, эти горы! Как много событий и настроений в жизни этих людей было связано с

изменчивым видом этого неизменяющегося мира! Тут, на севере, они наблюдали смену времен года, дня и ночи, восход и закат летнего солнца и зимней луны, приливы, перемены погоды, дождь, снег, лед. Во всем этом жители Игдлорсуита находили указания для своей повседневной деятельности в течение многих лет, в течение жизни поколений.

Насколько глубже это преклонение, выражавшееся в непрестанном обращении к северу, искусственных поз верующих перед лицом господ! Здесь были и лик бога, и свет этого лика, и величие его формы, и власть его над жизнью и смертью. Лик его так прекрасен, что люди устраивали на открытом берегу игры, встречались там, отдыхали, гуляли, влюблялись. Мы гордимся своей любовью к природе. Но что значит наша любовь к природе по сравнению с любовью ее северных детей? Как я убедился потом, летом и зимой, в солнечные и облачные дни, в дождь и снег, в бурю, в жестокие холода, в любое время дня и поздно ночью жители толпились на берегу. Бессознательно, как вдыхают воздух, они вбирали в себя всю эту красоту. Разве воздух менее полезен оттого, что мы дышим им, не думая о нем?

Гёте писал о такой совершенной красоте искусно выдуманного окружения, что юноши и девушки, выросшие в этом окружении, обретали душевную прелесть, никогда не встречающуюся во внешнем, обычном мире. А что же красота Гренландии? Нет, это не дворцы, парки, статуи, обои, ковры, занавеси, музыка и картины — вся эта переработка человеческого опыта, которую мы называем искусством. Это — вечный источник всего прекрасного в искусстве и в человеке — девственная вселенная. Как общение с ней днем и ночью должно было повлиять на души этих бедных людей!

Лето. Я стою на своем участке. Синяя спокойная вода пролива раскинулась предо мной. Там и сям видны айсберги, они громадны, как горы, но просвечивают синевой более нежной, чем самые прелестные бледно-синие цветы. По ту сторону пролива, в восьми милях, — непривычному глазу кажется, что гораздо ближе, — виден гористый остров Упернивик. Крутая стена его гор прорезана ледниковыми долинами. Ледники, словно широкие извивающиеся дороги из нефрита, ведут от лета у воды к вечной зиме высокогорных льдов в глубине острова. За северным мысом Упернивика открывается уходящая вдаль перспектива синих хребтов, поднимающихся из моря; вершины их

покрыты снегом. Это волшебный край Умиамако: воды его — круглый год ледяные пустыни, суша — обиталище злых духов. На фоне этих далеких гор выступает готическая громада острова Каррат, недалеко от него — большой остров Какертарсуак с его Фудзиямой в пять тысяч футов. За Какертарсуаком земля снова уходит за путанные лабиринты обрамленных горами фьордов, затем опять быстро приближается. Это полуостров Свартенхук, который замечен в укороченном в перспективе виде и теряется из виду за северным мысом Игдлорсуитской бухты. Там, где горы сходятся с небом, оно золотое. На горах, на море и на льдах лежит золотистый закатный свет незаходящего летнего солнца.

Везде, где есть богатые и бедные, белые и цветные, привилегированный класс и прочие, существует барьер, препятствующий взаимному пониманию. Сровнять с землей этот барьер мне помогли жители поселка благодаря строительству дома, развернувшегося с самого начала моего пребывания в Игдлорсуите. Тесное общение друг с другом, работа на стройке бок о бок укрепляли наши дружеские связи. Сама по себе постройка дома уже была событием в здешней, почти лишенной событий жизни; для многих жителей строительство служило источником заработка, для остальных — зрелищем. Стройка притягивала мужчин, женщин, детей — всех от мала до велика. Они толпились на склоне моей горы, валялись там, курили, болтали, наблюдая в течение долгих, ничем не занятых часов днем и вечером столь приятное для спокойно бездельничающих зрелище — работу других. В дни ожидания прибытия материалов все они разделяли со мной мое нетерпение, вызванное этой первой длительной задержкой. Участок для дома найден, место размечено — что делать дальше? Дни проходили. Шхуна должна была привезти лес, гвозди, цемент, мои вещи, все удивительные предметы домашнего обихода, которые гренландцы привыкли связывать с прибытием европейцев, множество новых и часто странных предметов. Из-за чего шхуна задерживается? Пожалуй, ни днем, ни ночью не проходило и часа, чтобы кто-нибудь не высматривал шхуну, стоя на холме над гаванью и вглядываясь в синюю спокойную воду, простирающуюся на пятьдесят миль в ту сторону, где за одинокой сердцевидной горой Уманак находилась шхуна. Стоя на холме над гаванью, люди смотрели на восток, не появится ли она, и на юг, за уходящие вдаль береговые

выступы острова, не идет ли моя моторная лодка, которой давно уже пора было прибыть. Я же, не теряя даром времени, делал что мог.

Предполагается, что гренландские торговые пункты должны быть снабжены всем необходимым и нужным для элементарных удобств европейского быта. На своем пути к просвещению здешние жители научились испытывать нужду в таких вещах, как ружья и патроны, ножи, кастрюли и чайники, тарелки, мануфактура, кофе, табак, сахар, печенье, пшеничная и овсяная мука, рис, сушеный горошек и фасоль, инжир, сухие сливы, патока, шоколад, веревки, лески и крючки, пиленый лес и гвозди, бусы, картинки, сувениры и игрушки и всякие бесполезные безделушки. Род и количество товаров, имеющих на складе торгового пункта, зависят от того, в какой степени опыт научил начальника торгового пункта определять потребности жителей, от его личного мнения, от ума и доброй воли управляющего колонией и его помощников в Уманаке, от их настроения, прихоти и памяти, в общем от вещей, совершенно неподдающихся учету. Лавка в Игдлорсуите получала запас товаров на сезон тогда, когда уманакские власти находили отправку их не слишком хлопотной для себя — с середины лета до осени. Удивительно, с каким терпением в течение весенних месяцев и начала лета жители поселка продолжали покупать на маленькие медные монетки, полученные за добытые ими шкуры и жир, залежалые остатки европейских товаров — единственное, чем их могла теперь снабжать почти опустевшая лавка.

— У нас нет печенья, нет сухарей, но есть свечи. Овсяной муки нет, но есть фасоль. Кофе есть, но нет сахара. Патока? Да что вы, осенью всю прикончили.

Не было бус, но был ассортимент старых потемневших и позеленевших колец, почти такого размера, что они годились гренландке на запястье. Не было никакой мануфактуры, кроме испачканных на фабрике остатков скучных бесцветных рисунков. Считалось, что незачем завозить в лавку хорошую одежду. Начальник торгового пункта не одобрял торговли сигаретами — для других, но что вы скажете о никелированном портсигаре с красивой картинкой, изображающей француженку в трусах? Масла, конечно, нет, но, может быть, есть маргарин? Нет, тоже нет. А пиленый лес? Есть, самый дорогой, не по карману гренландцам. Цемент? Две бочки. Он никому

здесь не нужен. Гвозди? Извините, вот уже несколько месяцев в лавке нет ни одного гвоздя.

Есть пиленный лес для опалубки, есть цемент — можно начинать работу. Весь поселок обошло известие, что мне нужны гвозди, и люди стали приносить свои гнутые ржавые сбережения. Поставили мальчика за работу: выправлять их. Троллеман нашел куски проволоки, оставшейся от ящиков. У меня в дорожном мешке были карманный ватерпас, молоток, ручной топорик. Один гренландец одолжил мне старую пилу. И вот десяток людей начали таскать на место работы лес, песок и гравий.

Дорога на гору крутая, но никто на это не жалуется. Настроение веселое; груз, который они берутся тащить, подстать их настроению. Работа для них — праздник, они так и вели себя. Иногда шутки ради кто-нибудь брал тяжеленный груз и, пошатываясь, брел с ним при общем смехе остальных, взбирался на уклон и сбрасывал груз в назначенное место. Затем он и все остальные ложились, развываясь, на траву, по-видимому, чтобы воспользоваться заслуженным отдыхом. Они приходили в семь и оставались на работе до пяти, точно соблюдая рабочие часы и составляя превеселое общество. Оказывается, они продавали мне за заработную плату свое время, а не свой труд. Таким образом, каждый день превращался в затянувшуюся вечеринку, где я знакомился со многими очаровательными людьми. Между прочим, немного подвигалась и текущая работа.

Я был благодарен за то, что в мое распоряжение поступало столько народу, поэтому не обращал внимания на ежедневные изменения в личном составе. Если проработав один-два дня, человек решал отдохнуть и отправлялся на рыбную ловлю или, устав от однообразия своей работы по найму, предпочитал просто полежать на склоне горы и посмотреть, как работают другие, — об этом не стоило беспокоиться. Народ, никогда не знавший принуждения, естественно поступал так, как ему хотелось. Не научившись любить материальные удобства так же сильно, как они ненавидели скучную работу, нужную, чтобы добыть эти удобства, имея достаточно еды на каждый день, они были бы дураками, если б захотели работать.

Рассказывают, что один датский подрядчик, соорудивший в Гренландии радиостанцию, думал побороть лень эскимосов, предложив им двухдневную заработную плату за один день работы. Гренландцы с

энтузиазмом откликнулись на это предложение. Они проработали день и получили плату. На следующий день не явился ни один человек. Зачем, заработав за день двухдневную плату, работать следующий день? В самом деле, зачем?

Когда наконец на гору было перенесено достаточно песку и гравия, я поставил всех на сбор камней на крутом склоне за домом. Дело двигалось неважно. Если бы я случайно не напал на мысль о том, чтобы поручить эту работу мальчишкам, дом мог бы еще строиться и по сей день. Мальчишки превратили сбор камней в игру, и вокруг нас, подпрыгивая, покатались камни такой лавиной, что пришлось спасаться бегством. К тому времени как закончилась работа грузчиков, я уже знал, кто из рабочих ест свой хлеб даром. Оставив у себя на работе четверых, отпустил остальных. Позвольте представить вам эту четверку.

Янус Эйверт Енс Николай Упернангиток — имя его обличает в нем нарушителя закона, который ограничивает число имен гренландца тремя. Во всех остальных отношениях он был мирный, скучный, дисциплинированный, почтенный гражданин, пользовавшийся несколько недостаточным уважением сограждан из-за незначительной провинности — он прибыл в Игдлорсуит вместе с Троллеманом. Это был самый темнокожий из эскимосов. У него было прозвище Дукаяк.

Людвиг — впрочем, зачем перечислять все его имена, — Людвиг Вилле отличался маленьким ростом и слезящимися глазами. У него умелые руки, и работал он усердно. Он не был охотником, поэтому не имел ни каяка, ни саней, ни собак. Это был веселый, славный юноша, из которого, вероятно, никогда ничего особенного не получится.

Томас Лёвстром считался стариком, хотя ему исполнилось всего пятьдесят шесть. Может быть, то, что он перестал охотиться, так как не мог плавать на каяке из-за приступов головокружения, навело его на мысли о своей бесполезности и заставило держаться тихо, со старческой покорностью судьбе. Он считал себя стариком, годы охоты прошли, и, следовательно, жизнь кончена. Пожалуй, я никогда не видал на человеческом лице выражения такой мягкой доброты, как у Томаса.

Карл Тобиас Паулюс Стрит, по прозвищу Олаби, — исключительное явление в Гренландии. Ни разу в жизни он не садился в каяк, никогда не бывал на охоте, не имел собак и совершенно не умел ими править. Вся область чисто мужской деятельности была вне сферы

его опыта. Однако Олаби был прилежный работник. Он ходил собирать топливо с женщинами, возвращаясь с таким тяжелым грузом, какой большинству из женщин был не под силу. Он носил воду, готовил пищу, выполнял домашнюю работу. Вместе с мальчишками и женщинами Олаби ловил акул, что и было основным источником его средств к существованию. Он превосходно умел шить, проявляя в придумывании фасонов и изготовлении одежды оригинальный вкус, отличавший его от других гренландцев, неуклонно следовавших давно установившимся модам. Он вышивал белье, вязал кружева, делал на заказ вязаные шапочки и шарфы, изготавливал вышивки из бус. Олаби был ладно скроенный, крепкий мужчина, среднего роста. Ходил он мелкими шажками, несколько жеманно, покачивая бедрами. Опыт его по части европейских манер не больше, чем у самых некультурных мужчин и женщин поселка, но манеры у него вообще и в частности за столом в моем доме были деликатные. Олаби жил вдвоем с матерью, дряхлой, но энергичной старой вдовой. Когда-то, много лет назад, Олаби жил у гренландца Ганса Нильсена и, так как дом был переполнен, спал на полу с сыновьями Ганса. Раз ночью он сделал попытку пристать к одному из них и тут же получил отпор. Кажется, в жизни Олаби это единственный известный явный проступок; о нем помнят. Волосы Олаби спускаются длинными локонами на плечи. Лицо усеяно преждевременными морщинами — ему всего тридцать девять лет. Можно было бы отметить, что лицо Олаби, когда оно спокойно, бывает грустно, но гренландские лица часто выражают грусть. Пожалуй, его улыбка смягчает грустное выражение. Об Олаби говорят, что он похож на женщину, но никто этим его не дразнит. Как будто жители поселка жалеют его за то, что он должен чувствовать себя одиноким.

Вот эта четверка замешивала и укладывала бетон, возводя стены моего подвала. Когда опалубки заполнились до половины, а наш запас цемента — две бочки — иссяк, мы были вынуждены прекратить работу. С этого времени значительную часть дня из длинного ряда дней, остававшихся до прихода шхуны, мы проводили на холме над гаванью, обозревая вместе со многими другими пятидесятимильное пространство спокойного моря между нами и Уманаком. Так я, последний из прибывших на остров, стал, как и все остальные, ожидать следующего прихода шхуны. Теперь, сидя на вершине холма в совершенном безделье, я расскажу историю своего прибытия — не так,

как я ее знаю, но в том виде, в каком она представлялась людям на берегу, в частности глазам одной девушки, вся жизнь которой странным образом изменилась под влиянием этого случайного события. Правильно будет начать рассказ о ней в этом месте, а начав, я должен буду довести его до конца, хотя это и заставит нас перескочить далеко вперед в нашей повести. Итак, начнем со дня моего приезда на остров.

V

Золушка

Июль в Игдлорсуите — ни одна душа ничего не делает.

Женщины не заняты домашней работой — ее нет.

Мужчины не охотятся — охотиться не на что.

Дети не в школе — каникулы.

И все на открытом воздухе.

Безветренный, пронизанный солнечным светом день. «Боже, что за день!» — сказали бы мы. Но они ничего не говорят. Они просто дышат его красотой, впивают ее, как можно делать или как делают в раю; как делают люди в течение многих веков летом на севере, где ничего не случается. Внезапный отдаленный пронзительный крик:

— У-ми-ат-си-ар-тор-пок!

Рев сотен голосов, подхватывающих его, рвет тишину.

К холму над гаванью беспорядочной толпой бегут все: старые и молодые. До вершины холма далеко, длинный, крутой подъем. Жители карабкаются вверх. Там, откуда их глазам открывается мир Гренландии, море и далекие горные хребты, они стоят и смотрят. И на этой спокойной, залитой солнцем водной глади они видят вдали крохотную, еле заметную точку. Лодка! Нужно жить на севере, чтобы понять, что это значит.

Что это за лодка? Кто едет? Хорошие вести, конечно, но какие?

Какое напряженное драматическое ожидание! Как медленно приближается это маленькое суденышко, и нет ничего, что бы позволило судить о его продвижении! Незаметно оно растет: оно возникает из ничего! Наконец становится слышно равномерное та-та-та — шум мотора! Как будто этот стук, похожий на тиканье часов в тихой комнате, существовал всегда. И вдруг внезапно с шумом от разбегающейся носовой волны лодка надвигается на людей, проходит мимо. Все поворачивают и бегут с холма следом за ней, вдоль берега; толпа сопровождает ее, как свита. И когда маленькая лодка бросает якорь напротив поселка, на берегу стоит, приветствуя ее, уставившись на нее, все население.

Прибытие чужого человека, белого, в отдаленный гренландский поселок, конечно, событие потрясающего местного значения. По какой-то непонятной причине оно заставляет прикованных к постели встать, калек бежать, слепых видеть, глухих слышать, а девушек прихорашиваться и умываться. Но мне никогда не забыть чувства удовлетворения, чистого глубокого наслаждения, которое охватило меня, когда, появившись на палубе, я увидел, с каким удовольствием глядят на мое лицо и на мою манеру держаться все жители вообще, а в особенности многочисленные ярко разодетые восхитительные девушки. О, принц Уэльский, у нас тоже бывают гордые, незабвенные мгновения!

Судьба благоприятствовала мне в тот день. В переполненной лодке негде было сесть. Меня доставляют на берег на веслах. Лодку вытаскивают из воды. Ступаю на сушу, не замочив подошв. С величественным видом, лишь изредка украдкой бросая взгляды направо и налево, прохожу сквозь ряды пораженных жителей к дому начальника торгового пункта — моему жилищу на две недели. То, что последовало за этим, я узнал лишь спустя несколько месяцев.

В одном из самых маленьких, самых ветхих и самых грязных домиков во всем поселке жил знаменитый охотник, почтенный человек и один из виднейших граждан, Абрахам. Вместе с ним жили его жена, четверо детей, приемный сын и бедная родственница — племянница, по имени Юстина. В этом однокомнатном доме размером не больше чем десять на десять футов и высотой едва в человеческий рост ютилась вся семья. Ели они из одного горшка и спали, тесно прижавшись друг к другу, — так теплее и уютнее, на одной большой постели, на нарах. Здесь были зачаты и рождены все дети, здесь со временем умрут родители. Жизнь гренландцев проходит на общей постели.

В этом неряшливом хозяйстве было мало домашней работы: полы мыли редко, одежду почти не стирали. Так они жили, беззаботно пренебрегая хозяйством по обычаю своего племени, сложившемуся издревле по необходимости. Тем не менее Юстина, таскавшая ведра из отдаленного грязного ручья, снабжавшего поселок водой для стирки, носившая с берега глыбы льда, из которого получали питьевую воду, ходившая за морской водой, в которой варили тюленьи ребрышки, а главное ухаживавшая за самым младшим ребенком, вытирая за ним

лужи, расстилая на солнце перину, промоченную младенцем, носившая на руках ребят и забавлявшая их, чтобы они не плакали, Юстина, исполнявшая всю эту работу, была на вид такая же домашняя прислуга, как Золушка, такая же забитая и грязная и, как показали события, столь же счастливая.

Юстина — скромная, державшаяся в тени девушка, так ревностно выполнявшая свои обязанности, что ее редко можно было встретить на берегу, где гуляли жители. Во всяком случае, ее редко можно было заметить, потому что детская нежность ее лица, тонкие восточные черты, белые безукоризненные зубы не в силах были преодолеть покров запущенности. Одежда на Юстине грязная, под цвет той почвы, из которой эта грязь образовалась.

Но, как это ни покажется невероятным, Юстина в шестнадцать лет не имела даже теоретического понятия о тех сторонах жизни, которые практически были известны нормальным юношам и девушкам ее возраста. В умственном отношении Юстина была ребенком, и все порочное отскакивало от нее просто потому, что она была неспособна его постигнуть. Недостаток разума оказывался добродетелью и в сочетании с рано пробудившимся чувством материнской любви придавал Юстине в противоположность ее распущенным подружкам характер непритворной святости и душевной чистоты. Ее мысли и чувства, проистекавшие из неправильного понимания действительности, не были глубокими, но они облагораживались теми усилиями, которые прилагал ее слабый ум, — их можно было прочесть на болезненно морщившемся лбу.

Юстина жаждала любви — бог знает, как она ее себе представляла! Она жаждала любви — мужчины пугали ее.

— Тасса! — говорила она. — Этого не надо!

Она отталкивала мужчин и уносила к мечтам об аистах (если бы она знала, что это такое), о младенцах, о друге-герое, об уютном собственном домике. Никто не мог знать мысли Юстины, можно было только догадываться о них по нежности, которую они придавали ей.

Девственнице Эльзе Брабантской^[5] герой ее мечтаний явился, когда она в нем больше всего нуждалась. Красота, благородство, сила — он был подобен гирлянде, сплетенной из цветов Асгарда.^[6] Так Юстине в Игдлорсуите, быть может, в тот самый час, когда кто-нибудь покушался на ее пугливую невинность, явилась лебединая ладья ее

рыцаря. В июльский день ушей ее достиг крик: «Лодка!», она вместе со всеми вскочила на ноги и побежала смотреть.

Лебединая ладья приблизилась; с бьющимся сердцем девушка услышала «та-та-та» двигателя, последовав за лодкой, увидела, как лодка стала на якорь. Юстина вместе со всеми стояла на берегу и смотрела не отрываясь. Из лебединой ладьи вышел я. Неважно, что думали все остальные в этой толпе. Что нам до всех этих нарядных девушек в ярко-красных сапожках и пестрых ситцах! Неописуемая Юстина, серенькая, оборванная, грязная, взглянула лишь раз. Взглянула — и почувствовала, что никогда, ни разу в жизни и ни в одном из снов она не созерцала такой красоты. Юстина взглянула и — полюбила. Для Юстины началась жизнь.

Обо всем этом, как уже говорилось, я узнал несколько месяцев спустя. Вспоминая прошлое, тот июльский день, когда я прибыл на остров, мне хотелось бы узнать, чем объясняется сокрушительное впечатление, произведенное моим появлением на Юстину. Конечно, она, я это понимаю, была глупенькая. Многие объясняется этим. Кроме того, все гренландцы путаются в определении возраста белых по их виду. Мы совсем не похожи на них. Например, лысина. Что думают о лысых эти люди с густой гривой? Юстине моя голова могла показаться похожей на головки очень, очень маленьких детей. Хотел бы я знать, почему прекрасная Юстина полюбила меня?

Но она полюбила меня и ничуть этого не скрывала. Она говорила об этом каждому. Говорила и показывала всем своим видом. Оповестила об этом весь поселок. Как они смеялись! Как жестоко издевались над ней! Какие шансы были у нее против всех остальных! И правда, какие? Весь день на месте гуляний днем и ночью на широкой прибрежной полосе, на их «бульваре», прохаживались яркие фигуры: яркие платья, яркие лица, завлекательные взгляды, смех, песни. Смотрю юности. И серенькая Юстина, время от времени проходящая тяжелыми шагами с полными ведрами: бедная, забитая служанка!

Но вот я приступил к постройке своего дома, моего однокомнатного деревянного дворца. Событие! Зрелище для всего поселка. Все бездельники толпятся на участке, сидят, смотрят, греются на солнышке, курят, сплетничают, смеются, помогают мне. Я знакомлюсь постепенно со всеми. Со всеми, кроме Юстины.

В поселке есть человек с большим весом по имени Рудольф. Он бондарь и работает круглый год, получает тридцать семь центов в день. Жена его Маргрета, как и полагается, содержит в чистоте аккуратный домик и хорошо одевается. Однажды к дверям их дома подошла бедная Юстина. Вошла, прикрыла дверь и остановилась, смущенная, опустив голову.

— Ну, что, Юстина? — спрашивает Маргрета.

Юстина бормочет что-то невразумительное.

— Ну, в чем дело? — снова спрашивает Маргрета.

Юстина пробует ответить. Она поднимает покрасневшее лицо и говорит, теперь уже вполне ясно:

— Не можете ли вы одолжить мне ваши серьги?

Маргрета смеется.

— Ты влюблена? — спрашивает она.

Юстина улыбается, улыбкой, проступающей, кажется, откуда-то из глубины.

— В кого?

Юстина отвечает со вздохом, как будто очнувшись ото сна:

— В Кинте.

Несколько минут спустя Юстина торопливо возвращается домой, крепко зажав в руке подарок — не пару серег, конечно (кто ей одолжит пару!), а одну-единственную, стеклянную, собственную серьгу.

Насчет зеркал в доме Юстины не богато, есть только один осколок. Она прислоняет его к переплету окна и, поймав в зеркале отражение части своего лица, начинает наводить красоту. Грязь! Она немного стирает ее грязной тряпочкой, поправляет выбившиеся волосы, ту же сворачивает узел. Розовые мочки ушей чуть видны, так и надо.

Юстина берет в руку серьгу, держит ее, колеблется. Она думает, решается. В левое. Укрепляет серьгу в мочке. Затем, взяв два пустых ведра, уходит.

Тропинка от жилища Юстины проходит не вблизи моего дома. Мой дом расположен вверху на горе, тропинка же от дома Юстины ведет вниз. Но, как я уже сказал, Юстина вступила в жизнь. Дорожки, по которым ходят другие, уже не для нее. Она поднимается в гору, в сторону моего дома, приближается к нему, поворачивает и проходит прямо мимо дома, который оказывается у нее — догадайтесь! — слева.

Юстина ушибает пальцы на каменистом горном склоне. Равнение налево! Глупый ребенок! Опять ушибает ногу. Ах, если бы он только взглянул на меня, молит она. Стеклянная сережка сверкает на солнце.

А в это время я работаю прямо на виду у нее, прибиваю стропила к балке. Забив четырехдюймовый гвоздь, я каждый раз выпрямляюсь, чтобы насладиться видом, порадовать глаз зрелищем гор, ледников, моря и льда, чтобы созерцать лик божий, обогатиться, облагородиться общением с ним. А богу на меня наплевать.

И Юстина проходит мимо незамеченная.

Около углубления, откуда набирают воду, Юстина ставит ведра на землю. Опустившись на колени, она черпает воду кружкой, наполняет ведра. Готово! Она вынимает драгоценность из левого уха, любовно разглядывает ее, держа сверкающую вещицу на ладони. Хватит! Юстина подносит драгоценность обратно к уху, прикрепляет ее. Нет, на этот раз не в левое, в правое. Вода в луже успокоилась. Девушка наклоняется, смотрит в темную поверхность. Оттуда на Юстину глядит ее собственное лицо, позолоченное отраженным солнечным светом. Если бог вообще видит что-нибудь, то он не может не заметить ее.

Но только один бог. Лишь по протоптанной тропинке, появившейся со временем ниже моего дома, я узнал, что у некоторых жителей существует странная привычка пользоваться этим кружным путем.

Когда мой дом наконец был закончен, я начал жить: знакомиться с людьми, принимать гостей, ходить к другим в гости. У меня появились друзья. Как-то незадолго до рождества я сидел со своей милой домоправительницей Саламиной (именем которой названа эта книга) в доме наших друзей Рудольфа и Маргреты. Какие это были приятные вечера! Рудольф играл на губной гармонике, я на флейте, и тем, кому наша игра нравилась, было приятно слушать. Саламина и Маргрета болтали.

— Кто эта Юстина, о которой вы говорите? — спросил я, опуская флейту.

— Как, — воскликнули обе, — вы ее не знаете? Да ведь она влюблена в вас, — и расхохотались.

Тут-то они мне и рассказали историю Юстины примерно так, как я пересказал.

— А теперь мы ее позовем сюда! — И они начали снова смеяться. Рудольф пошел за Юстиной.

Ух, грязна же она была, когда вошла в этот вылизанный чистый дом. Что за одежда — лохмотья! Бедняжка! И как она переносила все эти насмешки, хохот. Она привыкла к ним. Смущалась ли она? Да. Но держалась со странным самообладанием, как будто, даже находясь среди других людей, она сохраняла связь с внутренним миром, принадлежащим только ей одной. Мы смеялись, она улыбалась нам в ответ. У нее было только отдаленное подозрение, что мы смеемся над нею.

Ее заставили проделать все номера.

— Кого ты любишь? — спросили у нее.

Она пробормотала:

— Кинте.

— Ну-ка считай, мы послушаем.

Юстина получила ограниченное образование: в математике она не пошла дальше счета до двадцати.

— Раз, два, три, четыре, пять, — считала девушка (как считают у них) по пальцам руки. — Шесть, семь, восемь, девять, десять, — продолжала она по пальцам другой руки и остановилась.

— Дальше! — настаивали хозяева дома и Саламина.

Здесь-то и начиналось самое смешное.

— Нагга, — пробормотала Юстина, качая головой. — Нет, нет.

— Дальше, дальше!

Девушка уступает со вздохом. Крепко наступив на задник правого сапога, вытаскивает из него ногу; затем наступает на задник левого сапога и вытаскивает другую. С обнаженными до бедер ногами она стоит перед нами и считает по пальцам ног дальше, до двадцати.

У Юстины, оказывается, было полкроны — примерно десять центов. Она рассказала нам, что купит себе к рождеству кило кофе, кило сахару, кило сухарей, кило шоколаду, кило инжиру, кило рису, кило того, кило этого — по кило всего на свете... и сигару!

«Бедная девочка, — подумал я, приняв быстрое решение. — Ты получишь все это на рождество, даже если это обойдется мне в целых два доллара».

К моему удивлению, Саламина охотно приняла участие в игре «Веселое рождество для Юстины». Купив все, что перечислила

Юстина, мы стали покупать еще. А когда уже нечего было больше купить в лавке, обратились к запасу сокровищ, который преданная жена закупила для меня, упаковала и снабдила надписью: «Приманка для женщин». Что за запас! Бусы, брошки, браслеты, серьги, ожерелья, ленты, ситцы — самое отборное из того, что можно найти в универсальных магазинах дешевых стандартных цен. Мы отобрали самые шикарные вещи для Юстины. Мало того, у меня оказался кусок шелка. Саламина сшила из него рубашку для Юстины (как вам это нравится: шелковая рубашка на эскимоске?) И этого мало: мы заказываем лучшему в поселке сапожнику сапоги для Юстины и уговариваемся, чтобы он держал это в секрете. Рубашка, анорак из яркого ситца с шелковым поясом, сапоги, серьги, ожерелье и так далее. Что еще? Ах, да — штаны! Ну, штаны сошьет Саламина. Наконец все готово. Сочельник.

В десять часов вечера, когда большинство жителей уже легли спать (в Гренландии в это время полярная ночь), Саламина идет за Юстиной.

— Входи, Юстина, закрывай дверь!

В доме за задернутыми занавесками тепло, уютно. На плите стоят большие кастрюли с кипящей водой. На полу лохань.

— Ну-ка, Юстина, раздевайся!

Юстина знает жизнь и приличия не лучше математики. Собственно, даже хуже. В жизни она добралась только до шестнадцати. Не проходит и минуты, как вся одежда снята. А за это время мы наполнили лохань. Девушка стоит в лохани, а Саламина и я, каждый вооружившись щеткой, принимаемся за работу. Начинаем сверху и идем книзу. Когда добираемся до воды, то видим, что в нее перешло с Юстины все, что вода может вместить: это насыщенный раствор Юстины.

— Выходи из лохани, Юстина, вот сюда, за печь!

С трудом вытаскиваем большую лохань и выливаем ее.

Лохань наполнена чистой водой. На этот раз Юстина сидит, и я намыливаю ей голову. Занятно! Длинные, густые черные волосы все в пене от мыльной пасты для бритья.

— Зажмурь глаза. Так!

Я выливаю на нее ведро воды.

— Теперь встань!

Снова трем с головы до ног. И знаете — получилось отлично! Мы закутали девушку в мохнатые полотенца, усадили у самой печки сушить волосы, напоили горячим кофе со сдобным пирогом. И тогда, *тогда* — дали ей ее новое платье.

Триумф Юстины в церкви рождественским утром был лишь прелюдией к триумфу за обедом. В этот день мы кормили весь поселок, по двенадцати человек зараз, мужчин, женщин, ребят, сменами в течение всего дня. Мы варили пиво, пекли и готовили в течение десяти суток перед этим. Гороховый суп с овощами, с тюленьим и китовым мясом и с маленькими кубиками матака — сочной шкурой белухи! У нас была бочка супу. Гороховый суп, хлеб с маслом, джем, пироги и пиво, чтобы было чем промочить горло во время еды. И рядом с местом каждого гостя лежала груда аккуратно завернутых рождественских подарков. Да, это выглядело забавно.

Когда обедала Юстина, за столом собрались все сливки высшего общества Игдлорсуита: Рудольф и Маргрета, Абрахам с женой Луизой, брат Рудольфа Гендрик со своей Софьей и... словом, все лучшие и виднейшие жители поселка. А во главе стола — Юстина.

Рядом со всеми этими важными гражданами и нашими добрыми друзьями лежали груды хороших подарков, но рядом с Юстиной их было по крайней мере столько, сколько у всех остальных, вместе взятых. Так много, что пришлось поставить кругом стулья, чтобы груда не рассыпалась.

В эту смену гости собрались рано, так как все знали о сюрпризе, ожидавшем Юстину. Она же, главное действующее лицо, пришла последней. Как она была мила! Мы провели ее к месту:

— Вот, Юстина, это тебе!

У нее перехватило дыхание. Было слышно, как она быстро глотнула воздух. Затем стала спокойной. Снова приняла такой вид, будто принадлежит к далекому от нас миру, в котором мой приезд и это рождество не были неожиданными. Девушка начала по одному осторожно разворачивать свои подарки. И каждый подарок снова заворачивала, аккуратно откладывая в сторону. Казалось, этими движениями она овладевает вещью, делает ее своей нераздельно.

На этом можно было бы кончить рассказ о Юстине. Но у него есть продолжение. Все, что произошло на рождество, продолжает теперь жить в Юстине. Увереннее, чем раньше, она идет своим путем, тихая,

довольная. Мы сказали ей: соблюдай чистоту! И в грязном доме, где она жила, она стала мыться: это вошло у нее в обычай. Когда у нас бывали гости, мы приглашали ее.

— Заходи, Юстина. Ты мылась?

Девушка кивала головой.

— Вся целиком?

— Да.

— Ну-ка покажись.

Она подходила и поднимала рубашку, чтобы показать свой чисто вымытый живот.

— Умница.

И Юстина улыбалась с самодовольной гордостью.

Чистая, трудолюбивая, работающая девушка. Когда в июне в Игдлорсуит приехала из Уманака старшая сестра детской больницы, я рассказал ей о Юстине, о том, какая она чистоплотная, как любит детей и возится с ними.

— Покажите-ка ее, — сказала сестра.

Юстина пришла. Остановилась в дверях, одетая в свое лучшее платье, такая яркая, чистая, сверкающая серьгами, брошками, ожерельями, всякими украшениями. А как блеснули ее зубы, когда она улыбнулась!

Старшая сестра рассмеялась.

— Я возьму ее.

Сейчас, я пишу это в 1934 году, Юстина работает в большой Уманакской больнице, хорошо живет, хорошо работает, заслуженно получает свою заработную плату. За деньги она может покупать нарядные платья, а в нарядном платье ходит гулять, но не очень часто. Со временем, приобретя опыт в ведении домашнего хозяйства и уходе за детьми, Юстина выйдет замуж за охотника, поселится в собственном доме, народит кучу детей и будет жить счастливо. Дай ей бог!

VI

Дома

А время шло. Собственно, я рассказал об одном только годе, но предсказал, что будет на годы вперед. Пришла ли наконец шхуна? Да, с опозданием на две недели, то есть двумя неделями позже, чем было обещано. С ней прибыли мои ящики, мешки, корзины, тюки. Народ дивился всему. Я сложил весь груз в пустом доме, владелец которого был в летнем лагере. Шхуна доставила пиленный лес, казалось, в огромном количестве, цемент, печку, трубы для нее, толь, двери и окна, цементные блоки для печной трубы — кучу всякого материала. Все нужное для постройки дома полностью было прислано из Дании. «Прибыло все», — подумал я. Шхуна разгрузилась и отплыла. Теперь за работу!

Снова моя пестрая бригада грузчиков мужчин и женщин копошится на горе. Похоже на карнавал. Работа оживила поселок, словно жителям были нужны доски для игры, как детям кирпичики. Они играли, но как-то понемногу двигалась и работа. К тому времени, когда я кончил укладывать бетон в опалубки фундамента, пиленный лес уже лежал рядом, рассортированный и сложенный в штабеля. Теперь за каркас!

Угольник, пила, молоток, доски, гвозди. Где гвозди? Мы перерываем в поисках все, открываем все ящики, перебираем все мое имущество: гвоздей нет. Их оставили в Уманаке.

Было бы нечестно писать о Гренландии, о ее величественных фьордах и горах, о бесконечных летних днях, спокойном море, синем небе, цветущих лугах, зорях и звездах, о красоте весны-полузимы, о доброте гренландцев, о широком гостеприимстве гренландских датчан, о благотворительном характере этого датского предприятия и не сказать — раз это правда — о том, что зимой днем темно, что на море бушуют жестокие штормы, что морозы здесь сильные, цветущие луга часто заболочены, а в летние дни бывает нашествие мошки, что люди грязны, часто завшивлены и не всегда хорошие, а датчане, хотя и добры, но слишком часто ленивы и неумелы. Я надеюсь, что еще буду с восторгом описывать восхищавшие меня вещи, поэтому позволю себе излить

здесь свою злобу на неумение и глупость. То, что они существуют в Гренландии, не секрет и для самих датчан; то, что они вызывают раздражение, я могу засвидетельствовать. Тем, кто скажет мне, и вполне резонно, в ответ на обиженное нытье по поводу гвоздей: «А вы кто такой, что власти должны беспокоиться о ваших нуждах?», я могу только ответить: «Я ничего особенного собой не представляю», и в этом все дело. Власти не хотели причинить вред мне лично, никаких дурных намерений у них не было. Они забывали не только о моих гвоздях, но о гвоздях любого другого. И не только о гвоздях, но и об овсяной муке, хлебе, патоке, шоколаде, пиленом лесе, скобяных изделиях, спичках, один год забывали одно, другой год — другое.

Хотя у меня и не было гвоздей, но на несколько дней дела хватило. Дом мой, должен заметить, был датской конструкции. Я сделал эскиз и, не зная размеров датского пиленого леса, отослал рисунок в Данию талантливому молодому архитектору, да прославится его имя, который по нему сделал чертежи и составил подробнейшую спецификацию. В точном соответствии с последней Гренландское управление в Копенгагене аккуратно отправило — как я потом выяснил — все до последней палки, болта, гайки и гвоздя, конечно, вместе со спецификацией, которая застряла в Уманаке. Я видел ее одним глазом, когда был там, и попросил отдать мне. «А мы ее вам пришлем», — сказали мне. Я много раз писал и говорил о ней потом, но так ее больше и не увидел.

Итак, передо мной было огромное количество пиленого леса непривычных размеров. Задача состояла в том, чтобы узнать, что куда идет. Если мой дом в его теперешнем виде не совсем то, что предполагалось, тем не менее он хорошее, прочное, плотно сбитое, основательное маленькое здание, которое простоит долго, пока как-нибудь весной его не накроет обвал. Это произойдет. А гвозди? Через некоторое время прибыла арендованная мной моторная лодка. Я отправился в Уманак и получил их. Гвозди, которыми сшит мой дом, обошлись дорого.

Строительство здания было интересной работой, вызывавшей подъем. Таково вообще строительство дома, особенно собственного. Если бы я писал о работе в умеренном поясе, то сказал бы, что трудился с рассвета до темна. Так как не было темноты, чтобы ограничивать меня, то работал я неумеренно, сколько мог. Рабочий день ничем не

лимитировался, только постоянно возникали помехи, притом самого раздражающего свойства, в виде непрошенной помощи. Природа мудро дала нам две руки: этого вполне достаточно. Часто это даже больше, чем нужно, — вот почему появились карманы. Оказаться наделенным сразу дюжиной рук, из которых вы распоряжаетесь только двумя, в то время как лишний десяток не хочет оставаться в карманах, — это сбивает вас с толку хуже всего на свете. Вы протягиваете руку за доской — еще десять одновременно с вами хватаются за нее. Вы беретесь за пилу, ее тянут ненужные руки. Хуже того: руки эти соединены с телами на медлительных ногах. Вы стиснуты со всех сторон толпой людей. Вы пихаете их локтями, спотыкаетесь о них, когда двигаетесь, вы продираетесь сквозь них. Хуже того: они пялят на вас глаза.

Никогда не забуду, как я навешивал внутреннюю дверь. Сплошная стена лиц в проеме наружной двери, в четырех футах от меня, заполняла весь проход и заслоняла свет. Начиная с лиц малышей, глазевших на меня через порог, они шли ярусами, на манер масок, развешанных на стене. Чтобы заглянуть внутрь, люди становились на ящики, стояли и глазели, следя за каждым моим малейшим движением, не говоря ни слова. Я готов был под конец кричать от бешеного раздражения. Лучшим временем для работы был вечер, конечно, при дневном свете, но после ужина. Жители шабашили, как будто профсоюз установил для них девятичасовой день глаzenia, и отправлялись гулять. В это время я мог по-настоящему работать, продвигать стройку, видеть, что дело идет, заканчивать начатое, построить дом, въехать в него! Я отчаянно стремился к тому, чтоб переехать от Троллемана.

Мой хозяин — я был гостем Троллемана — вел себя чрезвычайно любезно. Когда он восклицал: «Садитесь, ничего не говорите, будьте как у себя дома!» — он говорил искренно.

Еда, питье, удобная постель — как хозяин, он просто рассыпался предо мной. Он говорил не переставая, его разговоры стали для меня мучением. Изобразим для примера вечернюю сцену перед сном.

Полночь. Столовая Троллемана. В углу диван, покрытый периной (моя постель). В комнату, пересекая ее, вливается сноп солнечного света.

Кент (зевая, потягиваясь, подчеркнуто устало вздыхая, говорит в третий раз). Что ж, мистер Троллеман, уже поздно. Пожалуй, я лягу

спать. Мне завтра рано вставать.

Троллеман. Да, мистер Кент, мне тоже. Рано вставать, в этом все дело. Все нужно делать вовремя, я этого придерживаюсь. Да, мистер Кент, вовремя. Все *должно* делаться вовремя. Я никогда ждать не буду. Когда-то, мистер Кент, я собирался жениться. Ну, я не могу сказать, чтобы мы были по-настоящему обручены. Обручены? Кажется, это так называется? Видите ли, дело было так. Мы познакомились на вечеринке в одном доме в Копенгагене, да, это можно назвать вечеринкой. Там собралось, пожалуй, с полдюжины гостей. Нет! Соврал, мистер Кент. Нас было только пятеро, и среди нас одна девочка. Собственно говоря, ее не совсем можно назвать девочкой, это была уже, конечно, взрослая девица. Она работала на... как эта улица называется? Вы знаете старый город в Копенгагене? Ну, неважно. И там был один мой друг. Собственно, мистер Кент, я не могу сказать, что он был моим другом, скорее другом моего брата, но мы часто виделись. Это было... Позвольте! Я как раз вернулся из Гренландии, из Восточной Гренландии, знаете, из той поездки — я вам о ней рассказывал. Еще в ту поездку я снялся с бородой, это было, когда угробили «Тедди». Да, можно сказать, что его по-настоящему угробили. У них были большие затруднения...

Стой, читатель! Не уходи. Я скоро кончу, если кто-нибудь хочет знать конец. История любопытная. Троллеману, оказывается, эта девушка нравилась, и они уговорились провести вместе вечер.

— Мы встретимся, — сказал Троллеман, — в центре площади перед вокзалом в восемь.

Наступил вечер. Без двух минут восемь Троллеман стоял на середине площади и глядел на часы. Девушки не было. Он ждал, минутная стрелка подвигалась. В тот момент, когда стрелки показывали восемь, Троллеман увидел девушку, бегущую к нему из выхода с платформы. Он повернулся кругом и пошел в обратную сторону; шел быстро, удаляясь от вокзала через сквер. Торопливо шагал все дальше и дальше. Наконец он услышал, как девушка, задыхаясь, нагнала его, но продолжал шагать. Она догнала его, схватила за руку.

— В чем дело? — воскликнула она. — Я ведь пришла.

— Разве? — спросил Троллеман. — Вы были на середине площади в восемь часов?

— Нет, не совсем, но...

— В таком случае у нас с вами все кончено, — сказал он.

Троллеман расстался с ней и никогда больше не видел ее. Любопытная история, в самом деле. В том виде, как он ее рассказывал, она была еще любопытнее.

Я жаждал закончить свой дом, въехать в него. Это случилось через восемь дней после укладки нижних балок на фундамент. Около полуночи я закончил все, подмел и привел помещение в порядок. Тогда я отправился в домик, где лежало все мое добро, и взял там постельные принадлежности. Вернувшись, разостлал свои одеяла, закрыл дверь и сел. У меня был дом в Гренландии.

Это произошло четырнадцатого августа.

VII

На сцене появляется Саламина

Те удовольствия, развлечения и увеселения, какие знает Гренландия, как будет видно дальше, все чрезвычайно просты. Прибытие лодки — событие, угощение кофе, так называемый кафемик, — празднество. Летом, в хорошую погоду, питье кофе на открытом воздухе — обычное занятие жителей, доставляющее им удовольствие. Они всегда охотнее бывают на воздухе, чем дома. Ничего удивительного, скажет всякий, кто бывал в их домах.

Однажды, в период ожидания гвоздей, меня пригласили на кафемик, я явился в назначенное место, на прелестный луг на склоне холма с видом на пролив. С десятков гостей уже собрались здесь, и синий дымок небольшого костра из веток мирно поднимался в поднебесье. На кафемик пришли Рудольф с Маргретой, Гендрик с Софьей — словом, много народу, мы познакомимся со всеми позже — и Анна, которой предстояло сыграть небольшую роль в маленькой семейной драме, относящейся к первым месяцам моей жизни в Гренландии. Анна не была ни молоденькой — я хочу сказать, что она отнюдь не была юной девушкой, — ни красивой. Она не была красивой ни в глазах гренландцев, которым нравятся светлые волосы и светлая кожа, ни в моих, не привыкших к косым глазам, маленьким носам и большим ртам. Чистокровная эскимоска на вид. В любом типе, четко и точно выраженном, имеющем определенный характер, есть своя прелесть. Пожалуй, именно поэтому Анна была привлекательна. Узкие глаза, как бы прочерченные твердой рукой мастера уверенно, точно, изящно; нос ее — пропустим его, почти так поступил и создатель. Рот — безусловно, огромный, на наш взгляд. Но так и было задумано, как будто бы создатель считал основательный рот и сильные челюсти наилучшей гарантией, что она вас съест. Рот хорошо вылеплен, губы резко вырезаны, ярко окрашены. А зубы! Зубы у Анны красивые — совершенно ровные, блестящие, белые и маленькие. Все же я не могу расхваливать ее внешность, экзотическую, конечно, но, на наш взгляд, с неправильными чертами лица. Однако, едва познакомившись с ней, я охотно согласился бы, чтобы все остальные были где угодно, только не

здесь. Она затмила всех. Но кто она такая и где живет, оставалось для меня тайной.

На следующий день после моего переезда в дом начались дожди, как будто хорошая погода держалась несколько недель подряд только для того, чтобы дать мне возможность закончить строительство. Лило как из ведра. Несмотря на это, я перевез свое имущество из помещения, где оно хранилось, и начал его распаковывать. Не обращая внимания на дождь, перед домом стояла большая толпа и через открытые двери смотрела на меня. Случайно подняв глаза и взглянув на дверь, я встретился глазами с Анной: вода стекала с нее потоками.

— Анна, войдите в дом! — крикнул я, и она вошла. Я заставил ее снять промокшую одежду и надеть мои сухие вещи. Наложил дров в печку, и в натопленном доме стало тепло.

— Помогите мне, — попросил я.

Умение Анны работать, быстрота, ловкость, приятная манера все делать бесшумно, любовь к порядку — все это заставило меня сделать предложение; сердце мое она завоевала уже раньше.

— Анна, — сказал я, — согласны вы быть моей «кифак»?

Один молодой американец, прикованный болезнью к постели, ставшей его смертным ложем, зимой, в хижине на безлюдном острове Врангеля, в Арктике, изливал в дневнике свою скорбь о том, что подумали бы родственники и друзья там, на родине, если бы узнали о его совместной жизни с эскимоской, которая ходила за ним, заботилась о нем.^[7] Странное основание для скорби. Лучше бы друзья посочувствовали несчастным, оставшимся по какой-либо причине где-нибудь без женщины. Нет ничего героического в жизни одиночки, разве что вы склонны считать домашнюю работу героизмом. Я не склонен. Меня уже давно беспокоила мысль, кто поддержит огонь в моем очаге, не даст замерзнуть моей еде? Кто подаст мне обед, когда я вернусь с работы? Кто будет мыть посуду, убирать, заправлять лампу вонючим тюленьим жиром? Шить мне из шкур одежду, чинить ее? Вышивать мою обувь, красивые гренландские камики? Друг Олаби? (я говорил о нем). Его предлагали мне. Ну, нет! Если бы женщины жеманничали, как Олаби, можно было бы сойти с ума. Кто же? И вот пришла Анна.

— Я согласна, — сказала она, — если муж позволит.

Кифак, скажем в пояснение, не значит ни жена, ни сожительница. Это также и не прислуга в том унижительном смысле, в каком мы

употребляем это слово. Наиболее близкое по значению слово — служащая.

На следующий день Анна явилась, ведя за собой своего Иохана, крепкого мужчину приятной наружности.

— Пусть она у вас работает, — разрешил любезно Иохан, — пока вы не найдете себе постоянную кифак. А за это я хочу получить стаканчик шнапса.

— Идет!

И я провел Иохана в дом. Там, поставив на стол два стаканчика, я налил шнапса, сначала ему, потом себе. Пока я наливал себе, Иохан выпил свой стаканчик, а пока я затыкал пробкой бутылку и убирал ее, он выпил мой.

— Сигарету? — предложил я, протягивая открытую коробку с пятьюдесятью штуками.

— Спасибо, — сказал Иохан. И положил коробку в карман.

Вот что значит ценить свою жену.

В этой повести, в которой Анна совсем не главное действующее лицо, я не намерен выходить за рамки описания той жертвы, принести которую, к глубокому сожалению, ей было суждено. Я придам здесь Анне лишь такую форму и телесность, которые смогут сделать конечное поражение ее самой и всех ее чар в какой-то степени столь же реальным и остро ощутимым для тех, кто об этом сейчас читает, каким оно было в то время для меня. Как описать те бесчисленные минуты нашего общего счастья, когда Анна, скромно и кротко выслушав мои подробные указания о приготовлении лепешек на порошке без дрожжей, подавала их мне прямо из печки, горячие, нежные, легкие, вкусные! Как беззвучно, словно мышь, она двигалась по комнате в своей мягкой обуви; тихие движения выражали самую сущность ее характера. Она появлялась беззвучно, как солнечный луч. Последняя ежедневная обязанность ее заключалась в приготовлении для меня постели. Прикосновением рук Анна освящала мое ложе покоя!

Часто мы обедали вдвоем, ибо Иохан, вначале очень неохотно даже приближавшийся к месту, куда он по договору отправил свою жену, наконец снизошел до того, что иногда обедал в нашем обществе. Раньше ему приходилось есть в одиночестве холодную пищу, которую Анна потихоньку приносила домой. И так получилось, что мы все с возрастающей грустью смотрели на неизбежное приближение уже

назначенного дня расставания, когда с моим отъездом на поиски постоянной домоправительницы окончится эта приятная интермедия в нашей жизни. И вот я встал с постели, в последний раз постланной для меня Анной, съел, быть может, последний завтрак, который она приготовила мне. Анна упаковала провизию на дорогу, завязала смену белья в свой собственный головной платок, и мы втроем уныло спустились на берег.

Я, плохо знавший жизнь, заверял их с жаром, что после моего возвращения все по существу будет как раньше, а они, знавшие, как потом оказалось, очень много, с безнадежностью хватаясь за соломинку, отвечали мне, что надеются на это. Мы пожали друг другу руки, и я отплыл. Они знали о Саламине: Гренландия — тесный мирок.

Мне говорили, что из всех женщин Северной Гренландии самой верной, благородной, самой красивой и вообще неотразимой была та, которая носила имя Саламина. Слишком хороша? Нет! Ведь это домоправительница однокомнатного дома. Если мое расставание с милой Анной и ее добрым Иоханом могла бы смягчить хоть одна мысль, то это была б мысль о Саламине. Наше судно отходит. Все меньше и меньше становятся фигурки на холме над гаванью, носовые платки, которыми они машут, превращаются в белые точки. Вот они исчезли — впереди Уманак.

Датчане в Уманаке проявили искренний горячий интерес к устройству моей домашней жизни. Домоправительницу? Непременно. Вам обязательно нужна домоправительница. Можно взять Карен, но она стара и слаба. Или Марту, но Марту я не хочу брать. Да, Дорте красавица, но избалована. А Антуанетта — «Афтенбладет», вечерняя газета, сообщает всем новости о *вас*. Что, Саламина? Да, она здесь. Нет, это бесполезно, она ни за что не пойдет. Вот, есть еще...

— Я хочу посмотреть Саламину, — прерываю их я.

Я знал одного молодого человека — хорошего парня, но с некоторыми низменными наклонностями. Он назначал по телефону свидания незнакомой девушке, а на назначенном месте прятался за колонну, чтобы сперва разглядеть, какова она. Парень действовал только наверняка; низкий, мудрый, гнусный способ. Я применил его.

— Сводите меня к ней, — попросил я. — Ни слова о том, для чего.

Теперь, оглядываясь назад на эту первую встречу с Саламиной, я вспоминаю свет, такой яркий свет, что он слепит мне глаза. Я знаю, что

солнечный свет лился в окно, сноп лучей пересекал затемненный фон и ложился сияющим пятном на чисто вымытый пол. Я знаю, что на подоконнике стояла красная герань и горела огнем на солнечном свете, как киноварь. Я вижу комнату, пронизанную светом, который золотит даже тени в ней. Золотой свет, и в нем его источник — женщина.

— Но у меня трое детей, — сказала Саламина, так как я, конечно, сразу выболтал, зачем пришел, — и я их не оставлю.

Конечно, она не должна их оставлять. Пусть они тоже едут.

В кухне стало очень тихо. Саламина думала.

— Что ж, — сказала она, — тогда я поеду. Я поживу у вас немного и попробую. А если мне понравится, я останусь совсем.

Ух, и буря же была на другой день! По земле бежали потоки, все овражки превратились в реки. А ветер! Он неистовствовал во фьордах. Буря бушевала с утра весь день, до четырех. Затем в затишье, похоже было, что погода успокоится, мы отплыли. Набралась полная лодка: трое мужчин, две женщины, несколько детей, семь собак. Пассажиры были счастливы, когда несколько часов спустя мы еле добрались до промежуточной гавани, гонимые по пятам остервенелым белозубым штормом. В эти бурные часы внизу, под задраенным люком, Саламина, бродя по щиколотку в мокроте среди больных морской болезнью ребят, показала, чего она стоит. Она ухаживала за ними, подбадривала стонущую женщину, поддерживала ей голову. В гавани Саламина все вытерла, вычистила и привела в порядок помещение. Замечательная женщина!

Наше прибытие в Игдлорсуит было не меньшим событием, чем прибытие любой другой лодки. Как всегда, кто-то лазавший по горам заметил лодку еще издалека. Он поднял крик, повторенный как эхо всем поселком. Из домов повысыпали их обитатели, и, задолго до подхода лодки к берегу, на холме над гаванью уже собралась толпа народу. Может быть, в первый раз за всю свою жизнь Анна при подобных обстоятельствах не стояла ни на холме над гаванью, ни на берегу. Дым из трубы моего дома объяснял ее отсутствие.

На гору к моему дому поднималась громадная процессия: я с ребенком за руку, моя семья, мои собаки и все население, среди которого мои вещи были распределены так, чтобы как можно большее число людей имело основание идти с нами. Все вместе мы поднялись на гору, и все, или все, кто смог, вошли в дом.

— Дети, Саламина, вот мы и дома! А вот Анна...

Перед нами стояла Анна, одетая в свое лучшее платье, в безукоризненно чистом фартуке, который я дал ей, чтобы оберегать чистоту ее одежды. Она скромно стояла перед нами и, опустив голову, исподлобья глядела на нас, робко улыбаясь. Затем пошла навстречу Саламине, подошла к ней вплотную, приветливо протянула руки и хотела поцеловать ее. Но поцелуя не было, его никогда не будет. Сколько зла, сколько непримиримой вражды может породить один быстрый, холодный, рассчитанный взгляд! Анна сняла фартук, бросила его на скамью и вышла. Она ушла первая.

VIII

О свобода!

Так мал дом, в который мы вошли всей семьей: одна комната! В алькове помещаются нары, а над ними люк, ведущий на низкий и узкий чердак. Под полом низкий подвал. Его пришлось сделать по необходимости, так как дом стоит на склоне горы. Зимой в нем было так же холодно, как на улице. Дом мой не рассчитан на семейную жизнь. В Уманаке, наняв Саламину со всем потомством, я сказал ей, что решил пристроить еще комнату.

Как-то вечером, вскоре после нашего возвращения, я рисовал, Саламина шила, а дети — их было только двое, одного ребенка она оставила в Уманаке, — дети уже спали, Саламина, опустив шитье, подняла глаза и сказала:

— Зачем вам пристраивать вторую комнату? Вполне хватит одной.

А я, в восторге, что избавлюсь от этой работы — мне еще нужно было строить сарай и кладовую, отозвался:

— Отлично! Будем и дальше жить как сейчас.

До сих пор Саламину беспокоило только то, что я сплю на полу. Она придирчиво относилась, как я впоследствии убедился, к соблюдению всяких приличий: для нее было важно, что говорят. То, что хозяин спит на полу, утверждала она, бросает тень на нее. Я настаивал, она плакала. Я сказал ей, что в Америке мужчины всегда уступают свой стул женщинам и предлагают им свою кровать.

Так мы жили вчетвером несколько недель, пока Фредерика, старшего ребенка, которому было около восьми, не забрали в Уманакскую больницу: у него начинался туберкулез. Теперь нас осталось трое. Пожалуй, лучше сказать двое: из уст маленькой, тихой, как мышь, молчаливой пятилетней Елены редко можно было услышать произнесенное шепотом слово, она никогда не кричала. Она отвечала «да» поднятием бровей, а «нет» тем, что морщила свой маленький нос. Таков гренландский обычай. Елена могла сидеть целый час на краю нар, не шевелясь, без единого звука. Милый, пухлый, здоровый ребенок, игравший на открытом воздухе. Она приходила и уходила когда захочет, делала что хочет, была предоставлена самой себе, за

исключением очень редких случаев, когда ей что-нибудь приказывали. Тогда она повиновалась немедленно, беспрекословно. Ее никогда не наказывали; гренландцы не наказывают детей. Не потому ли гренландские дети такие хорошие?

Я переложил на Саламину все заботы по хозяйству, взяв на себя только руководство кулинарным делом, что вызвало возражения с ее стороны. Она кое-что знала, научилась кое-где; все дело было в этом «кое-что». Саламина бывала довольна, когда ей показывали что-нибудь, о чем она не имела представления, — например, как печь бобы или готовить макароны с томатным соусом, но она не любила, когда я учил ее печь хлебы или говорил, что в соусе комки. Согласившись слушать, она легко выучивалась всему, но, выучившись, не терпела мужского вмешательства в дела, которые считала исключительно женскими. Из-за хлеба у нас происходили невероятные сцены. Я показывал ей, как печь хлеб: разводил дрожжи, приготавливал кислое тесто, давал ему подойти. Саламина никогда раньше не имела дела с кислым тестом. Я месил тесто, ставил его на ночь, тепло укутывал от сквозняков. Потом разделявал его на хлебы и выжидал, когда они поднимутся. Саламина презрительно наблюдала за всем этим. И стоило мне только на минуту уйти, как она засовывала наполовину подошедшее тесто в еще не прогретую печь и губила всю выпечку. Снова я ставил хлеб — и снова она портила его своим вызывающим непослушанием. Однажды, поставив хлебы подниматься, я строго приказал Саламине не прикасаться к ним. Когда же спустя десять минут она засунула их в печь, я так взбесился, что вытащил хлебы и вышвырнул их на улицу. Это на минуту укротило Саламину; она ушла из дому в слезах. Я замесил тесто и выпек новый хлеб. Он получился, слава богу, великолепным. Этот случай решил дело. Теперь Саламина из настоящего кислого теста — другого она не признает — выпекает белый хлеб высшего качества, лучший из того, что мне приходилось пробовать в Северной Гренландии.

Если вы беретесь что-нибудь делать, то лучше уж делать это хорошо. Это, пожалуй, можно считать девизом Саламины. Она все делала хорошо и очень этим гордилась. Если бы мои камики не были хорошо скроены и сшиты, если бы мои анораки — хлопчатобумажные рубашки с капюшоном, какие носят все в Гренландии, — не были хорошо скроены, сшиты по мне и чисты, если бы дом не был всегда

убран, а полы и скамьи чисто вымыты, она считала бы это позором для себя.

— Что обо мне подумают, — говорила она.

Саламина безупречно честно выполняла свою работу. Конечно, она была кифак, служащая, но служила она только так, чтобы делать все хорошо.

Саламина была больше, чем служащая, она не просто взяла на себя исполнение служебных обязанностей, а стала хозяйкой дома. При отсутствии другой женщины это было, по ее мнению, ее правом, обязанностью и привилегией. Немедленная и безжалостная расправа с Анной была первым шагом к очистке своего дома. Она не терпит вмешательства посторонних, она не хочет брать на себя старые долги или старые обузы. А может быть, она почувствовала, что Анна мне нравится? И до этого ей было дело. Дом и я, все целиком — имущество женщины, принадлежит ей. Свобода выбора друзей и гостей, свобода решения, с кем раскланиваться на прогулке или с кем прогуливаться, вообще свобода, которую я считал настолько само собой разумеющейся, что даже о ней не думал, вдруг стала чем-то желанным, объектом маневров, чем-то, что нужно отстаивать.

У человека, который вообще любит самостоятельность, возникает, мягко выражаясь, чувство смущения и удивления, когда он оказывается частью домашнего имущества, когда его преследуют, ходят за ним по пятам, следят и шпионят за ним, если ему захочется пройтись. То, что мы вместе ходили на кафемки или посещали по вечерам наших общих друзей, было естественно. Я столь же строго соблюдал установленные правила общественного поведения, как и сама она, вводившая меня в общество. Мы также ходили вместе гулять — иногда. Но, чтобы так было всегда, это меня угнетало. Меня донимала неизбежность ее милого общества на каждой прогулке, ее присутствие, стеснявшее меня. Потому что стоило мне только заговорить с кем-нибудь — да что заговорить! — улыбнуться, взглянуть на какое-нибудь существо, кроме мужчины, грудного ребенка или женщины старше шестидесяти, как оно бежало от ее взгляда. У Саламины был сильный характер, все это знали, чувствовали его силу. В отместку за свой страх перед ней они наказывали меня: мои друзья избегали меня.

Бежать! Нашлась одна лазейка к свободе на неделю, и у нас с Анной и Иоханом был задуман план, как добиться ее.

IX

Ловля лосося

Иохан с Анной, брат Иохана Мартин, их двоюродные братья Нильс и Петер да я — в такой компании отправились мы на ловлю лосося. Вместе с мотористом и матросами нас в лодке девять человек. Мы отплыли в семь в гаснущем свете золотого дня и шли в темноте до рассвета. Рано на рассвете, когда только посерело, мы прибыли на место. И, прежде чем мы успели перетащить наше скромное лагерное имущество со скользких скал на берег, лодка ушла обратно. Пятеро мужчин, одна женщина, высаженные на необитаемом клочке земли!

Земля после сентябрьских дождей промокла, превратилась в болото. Нагруженные лагерным имуществом и моими тяжелыми холстами, мы шлепаем по грязи, выходим на каменистый гребень и здесь на сухом месте разбиваем лагерь. Спустя десять минут мы жарим кофе на костре из потрескивающих зеленых веток ползучих растений. Хорошо! Как хорошо пахнут горящая хвоя, дымок от костра, земля! Мартин измельчает поджаренный кофе, толчет его камнем. Мы варим кофе, наливаем его, пьем. Как вкусен горячий кофе и как приятно ощущение тепла! Какое чувственное наслаждение — растянуться потом тут же на земле, раскинув руки и ноги, подставляя их восхитительно греющему, только что взошедшему солнцу!

Секрет довольства, по-видимому, заключается в отсутствии обязанности что-нибудь делать и в том, чтобы всегда иметь право — если вам захочется что-нибудь делать — заниматься именно тем, чем вы хотите. В соответствии с этим спустя примерно час четверо мужчин собрали кое-какие вещи и отправились на оставленной нам гребной лодке на другую сторону бухты к речке, где водятся лососи: им захотелось ловить рыбу. Я взял краски, холст и пошел вдоль берега: мне захотелось писать. А Анна осталась сидеть у палатки: ей ничего не хотелось делать.

Возможно — хочется найти оправдание для всякой неудачи, а мне оно нужно для моей утренней работы, — вполне возможно, что если б Анна не решила сидеть в такой привлекательной праздности, если б она не освежила свое лицо в холодной воде протекавшего рядом ручья, как

только мы прибыли на место, и не привела себя в порядок перед карманным зеркальцем, если б она не разоделась для «похода» в свое лучшее платье, если б она не была Анной или если б ее здесь вообще не было, то я полюбил бы пейзаж всей душой и писал бы лучше. Во всяком случае, на моем полотне великолепие этого дня отразилось очень мало. Поэтому после слабых и ленивых попыток что-то сделать с картиной я бросил писать, уложил все свои принадлежности и пошел назад, в лагерь. У палатки, в той же позе, в которой я ее оставил, сидела Анна. «Насколько лучше, — подумал я, — сидящая здесь Анна, чем море и небо, лед и рыжие склоны гор».

И насколько все окружение выиграло, когда, усевшись рядом с Анной, я стал смотреть на тот же пейзаж, который только что писал! Мы сидели молча и глядели. Не было нужды говорить: «Смотри! Гляди!», чтобы обратить внимание на то, что было перед нами. Каждый впивал окружающее как хотел, нам было хорошо. Если б жизнь всегда могла быть такой, нам не нужно было бы искусство. Поэтому не имело значения, что мое знание эскимосского языка ограничивалось несколькими неправильно произносимыми названиями наиболее употребительных предметов и пониманием еще меньшего числа слов. Мы не могли разговаривать, но никого это не беспокоило! В дни лагерной жизни, конечно, бывали минуты, когда участие в общем разговоре было бы для меня интересным, однако сейчас разговор с Анной мог бы только придать общепринятое выражение таким мыслям, которые не делаются более ясными от высказывания. Есть вещи, которые не выигрывают от того, что о них говорят.

Это именно относится и к горам, и к простору, и ко льду, и к морю. И ко дню и к ночи. «Тихая, как ночь», «глубокая, как море», «холодный, как лед», «огромный, как пространство», — все эти элементы окружения человека служат элементами мысли, эмоций, речи. Речь в ее высшей форме, художественное слово, метафоры и символы, ритмы и созвучия, настроения, формы, само слово человек извлекает из своего окружения. Что можно было бы сказать сидевшей рядом Анне? Разве моя, чуждая Анне, культура давала мне возможность указать ей на новые для меня красоты того мира, который принадлежал ей с самого ее рождения? Что мог я чувствовать такого, что бы не было в лучшем случае частью пережитого ею? Что я знал, что можно знать о самом существенном, о котором никто не знает? Мы не могли

разговаривать, но не чувствовали неудовлетворенности из-за этого. Наконец, мы прислушались к ворчанию наших пустых желудков и нехотя занялись приготовлением обеда.

Вареное тюленьё мясо! Мы сидели, поставив кастрюлю между собой, и пальцами вылавливали из нее большие куски. Затем, захватив мясо зубами и поддерживая его рукой, отрезали кусочек. Я порезал себе нос, и Анна, видимо, огорчилась. Я рассмеялся, тогда рассмеялась и Анна. А когда мы съели столько, сколько хотелось, то закрыли кастрюлю крышкой и вытерли ножи о траву. Выполнив таким образом хозяйственные работы, мы растянулись на солнышке, как досыта наевшиеся собаки, уставились на фиолетовое небо и думали о том, как глубоко пространство. Мы закрыли глаза от солнечного света, и красная прозрачность век вызвала в нас воспоминание о глубоком покое, предшествовавшем рождению. Мы заснули.

Я проснулся, как от толчка. Сел и, моргая, оглядел серый бесцветный мир. Я здесь валяюсь, а работа не делается! Еще опьяненный сном, я, шатаюсь, поднялся на ноги, взял свои художественные принадлежности. Анна пошевелилась, поглядела на меня сквозь полураскрытые веки, улыбнулась, устроилась поудобнее и через мгновение уже снова спала. Я зашагал прочь. Проклятая совесть!

«Во всяком случае, — думал я, спустя три часа разглядывая на расстоянии свою картину и убеждаясь, что написал небо, которое напоминает пространство, гору, почти похожую на каменную, море, похожее на воду, — короче, сделал двухмерное изображение похожим на трехмерную действительность, а краски заставил вызывать отдаленное представление о свете, — во всяком случае, я написал хорошую картину». Уложив на этот раз в ящик свою совесть вместе с красками и кистями, я побежал к Анне, которую вот уже час видел на склоне холма, занятую превращением ежевики в плоть и кровь. Она улыбнулась мне и показала руки, окрашенные в пурпурный цвет кровью ягод; показала руки и то, что эти руки сделали: наполовину наполненное ведро в один галлон. Мы стали пастись вместе. Анна последовательно переходила от куста к кусту, а я, как на соревновании, бросался на наиболее заманчивые находки. И когда мне удавалось собрать горсть особенно крупных ягод, я отдавал их Анне, а когда Анна набирала горсть крупных ягод, она съедала их сама. Может быть, она думала, что я отдаю ей крупные потому, что не люблю их.

Иначе обстояло дело вечером, когда мы сели ужинать, снова выуживая пальцами вареное тюленьё мясо. Теперь Анна, видя, что я оставляю ей лучшие куски, решила, вполне правильно, что я не понимаю, какие куски вкуснее. Она стала выбирать и давать мне самые лакомые кусочки, чтобы я, отведав их, научился есть сам.

Наступила темнота, подул резкий восточный ветер, брызнул дождь.

— Где наши мужчины? — спросил я.

— Да они сегодня и не вернутся, — сказала Анна, выуживая новый кусок мяса.

Должно быть, угадав, о чем я думаю, или услышав, как бьется мое сердце, она взглянула на меня и засмеялась.

Анна довольно долго заканчивала кастрюлю. Спешить нечего, Анна; вся ночь наша. Напихав в костер остатки ползучих растений, которые мы насобирали, и раздув пламя, я побежал при свете его, чтобы набрать еще топлива. «Отпразднуем», — подумал я. Сбросив большую вязанку так, чтобы она была под рукой, и подложив еще веток в огонь, я повернулся к Анне. Должно быть, глаза мои при зловещем свете костра пылали, сверкали, выдавая мысли. Я посмотрел на Анну. Боже мой!

— Анна, что случилось? — крикнул я, вскакивая со своего места, чтобы опуститься рядом с ней на колени. — Анна! Посмотри на меня!

Она повесила голову, схватилась за живот, застонала.

— О-ох!

Анна корчилась от боли, повернула ко мне измученное, искаженное лицо. Господи! Бедное дитя! У нее болит живот.

Я очень нежно поднял ее и повел в палатку. Там зажег свечу, постлал постель, укрыл ее, подоткнул одеяло. Анна лежала, скорчившись от боли, стонала и тихонько всхлипывала. Задув свечу, я лег рядом. Кромешная темнота. Слабый шорох дождя, падающего на брезент палатки, всхлипывания Анны. О ночь любви! Скорей бы рассвет!

Незадолго до рассвета боли Анны усилились. Что делать? Я встал, зажег свечу. У нас были кастрюля, кофейник, ведро для ягод и большая бутылка. Ведро для ягод оказалось дырявым, им совсем нельзя пользоваться. В бутылке был керосин. Я решил заняться им потом. Взял кастрюлю, добрался в темноте до берега и наполнил ее морской водой.

Вернувшись, зажег примус, поставил на него кастрюлю, чтобы вскипятить воду. Керосин перелил в кофейник. Вода согрелась, и я через бумажную воронку наполнил бутылку, заткнул ее пробкой и завернул в рубашку. Затем осторожно положил бутылку на больной живот Анны. Когда я очнулся, было уже совсем светло. Бутылка помогла.

Анна действительно заболела; на следующий день она выглядела плохо. Она была некрепкого сложения, даже более женственна, чем большинство гренландок. После перенесенной боли она похудела, побледнела, пала духом. У нее или не хватало силы скрывать свое страдание, или не было желания. Потратив все утро на ухаживание, подлаживаясь к ее плаксивому настроению, я наконец сделал Анне выговор, больше из желания заставить ее взять себя в руки, нежели потому, что потерял терпение. Собрав все, что нужно для рисования, ушел.

Я проработал несколько часов, а когда возвратился, то застал Анну сидящей в постели гораздо более бодрой на вид, занятой просмотром иллюстрированных датских журналов. Она встретила меня грустной улыбкой и с таинственным видом спрятала за спину журнал, который, по-видимому, смотрела, перед тем как я вошел. Поддерживая ее маленькую игру, в чем бы она ни заключалась, я уселся и, намереваясь добраться до спрятанного журнала, стал перебирать и просматривать один за другим остальные номера. В журналах были виды Копенгагена, портреты короля, королевы, Греты Гарбо, фотографии автомобилей и самолетов, солдат, пушек и танков (бог знает, что о них думала Анна!), картинки вещей и людей далекого мира. Я рассматривал все — может быть, слишком долго. Наконец, Анна, как будто стараясь сделать это незаметно, вытащила спрятанный журнал, чуть приоткрыла его и заглянула внутрь. Я весь превратился во внимание.

— Анна, дайте взглянуть.

Она захлопнула журнал и крепко прижала его к груди.

— Ну дайте посмотреть, — настаивал я, осторожно отнимая у нее журнал.

Открыл его. На этот раз это не Грета Гарбо, не король. Это я! Моментальную фотографию, которую я дал Анне, она спрятала между страницами и привезла сюда.

Анна опять опустила голову; она плачет. Но в тоже время и смеется.

Далеко на той стороне бухты на воде показалось темное пятнышко. Это была лодка с возвращающимися рыбаками. Медленно, целый час, она приближалась, приблизилась наконец к острову и скрылась за берегом. Когда четверо тяжело нагруженных мужчин, миновав болото, подошли к нам, ярко горевший костер приветствовал их ревом пламени. Мужчины приблизились, тяжело ступая; каждый тащил полный мешок. Они остановились четверо в ряд, сбросили свою ношу, облегченно выпрямились и осклабились. Затем все, как один, нагнулись и, подняв мешки за нижние углы, высыпали сверкающую рыбу.

Иохан направился прямо к Анне, и, пока эта нежная пара ворковала, мы занялись приготовлением обеда. Нарезав всю рыбу большими кусками, едва влезавшими в кастрюлю, набив ее доверху, налив до краев морской водой, подложив веток в костер и поставив на огонь кастрюлю, мы принялись за нарезанную ломтями сырую рыбу — в виде закуски. Вскоре вода закипела. Рыба готова. Иохан и Анна выходят, держась за руки, можно подавать обед.

Принесли два плоских камня и уложили их около огня. Достали из кастрюли и положили на один из камней несколько лучших кусков рыбы. Остальное вывалили одной большой кучей на другой камень. Я, по-видимому, должен был есть один и вскоре возблагодарил за это свою судьбу. Потому что, как только была выложена общая еда, эскимосы навалились на нее. С минуту длилось заглатывание кусков, обсасывание и выплевывание костей — и их камень чист. Они сидят, облизывая покрытые жиром руки, щеки и смотрят, как я тружусь. Разделавшись со второй кастрюлей, потом с третьей, мы считаем, что наелись. Мужчины устали. Темно и холодно. Ложимся спать.

Хлипкая неустойчивая палатка из мучных мешков поставлена ее владельцами с невероятным равнодушием к тому, что под ней окажется. Место было довольно ровное, но сухая возвышенность, на которой мы разбили палатку, оказалась по существу скоплением ледниковых валунов, и камни были разбросаны не только по поверхности земли. Под верхним рыхлым влажным слоем почвы всего на глубине нескольких дюймов тоже лежали камни всевозможных размеров.

Расчистка и выравнивание места, произведенные мной для нашего с Анной удобства, мало что значили сейчас при размещении в этом

тесном пространстве шести человек.

Полночи я мучился в бреду. Мне представлялось, будто бы я существо гигантских размеров с острой чувствительностью, возлежащее головой и плечами на Скалистых горах, а спиной на Сьерра-Неваде. Икры мои опирались на Береговой хребет, а ступни — шел дождь — были в Тихом океане.

Не удивительно, что подсознательно, устраиваясь поудобнее, как это делается во сне, я ухитрился забраться на перину к Анне и что сонная Анна, стремясь лечь посвободнее, спихнула Иохана под капель, стекавшую с края палатки, и что утомленный Иохан продолжал спать как ни в чем не бывало. Не удивительно и то, что спавшие по другую сторону от меня Мартин, Петер и Нильс притиснулись ко мне, чтобы согреться. Боже мой! Мы должны были сгрудиться. Вы думаете, эти ребята привезли хоть что-нибудь, на чем спать или чем укрываться? Почти ничего. Детскую перинку для Анны и мешки для себя. Поэтому широкая, к счастью, шкура ламы, взятая мной для себя, стала одеялом для всех. Рыбаки очень устали, и не мудрено. Вши — оказалось, немного вшей у них есть — делали все, что могли, чтоб разбудить своих хозяев. Но тщетно. Храп спящих доказывал это, и еще как! Я не подозревал, что люди могут так храпеть во сне и оставаться в живых.

Что за ночь, полная звуков! Дождь, ветер. Хлопали полотнища палатки, шумели набегающие на берег волны. Периодически раздавались громовые удары раскалывающихся айсбергов, которые буря сгоняла в кучу на мелкие места. Царапанье почти до исступления чесавшихся людей. Они храпели, как в агонии. Храп начинался с высокого носового звука, снижался до горлового, усиливался, вызывал удушье, удушье разражалось приступом кашля. Все это происходило в темноте, в переполненной палатке и во мраке казалось еще ужаснее.

Мы с Анной лежали рядом, бок о бок, и не спали. Как дети в сказке, заблудившиеся в бурю в заколдованном лесу, мы прижались как можно теснее, обхватив друг друга руками. В конце концов я, должно быть, уснул.

На следующий день я спросил Анну:

— Неужели все гренландцы так отвратительно храпят по ночам?

— Может быть. Да ведь вы тоже спали, — ответила она.

Пять мужчин, одна женщина, сорок рыб. Рыбы должно хватить на два дня. Через два дня мы будем уже на обратном пути, зачем трудиться

и ловить еще? Так, по-видимому, рассуждали гренландцы. Несомненно, они так настроились. И вот, хотя все предприятие было затеяно, чтобы наловить рыбы на зиму, рыбаки стали поедать улов. Они бродили по острову, собирали ягоды и спали. Я занимался рисованием, ел рыбу и ягоды, спал. В палатке было сыро, ноги мерзли. Отправляясь на рыбную ловлю, я взял с собой примус, уступив в последнюю минуту требованию компании, желавшей этого удобства, но я разрушил их намерения, захватив очень мало керосина. Мне хотелось прожить эти дни на гренландский лад. И мы, как истые гренландцы, обобществили наше телесное тепло, держась поближе друг к другу.

Все мужчины были в высшей степени внимательны к Анне, но вечером, когда мы сидели в палатке, она усаживалась между двумя лучшими местами. Эти почетные места предоставлялись Иохану и мне. А если случалось, что свободное место было только с одной стороны от Анны и его занимал Иохан, то он неизменно уступал мне место за небольшое вознаграждение в виде сигарет. Не такой был человек Иохан, чтобы упустить хоть малейшую возможность извлечь выгоду. Когда Иохан предложил мне жену в обмен на мою трубку, то этим только показал, как мало сделало христианство для изменения старинных воззрений людей его племени. Ему нравилась моя трубка.

— За эту трубку, — сказал он, — вы можете взять с собой Анну в горы и жить с ней сколько вам захочется. ^[8]

Можно сказать, довольно выгодное предложение, но я отклонил его, ссылаясь на особую привязанность к трубке. И он меня вполне понял.

Как чудесно, ритмично и гармонично пели эти люди! Как хорошо думается о драгоценностях, скрытых в темных океанских пещерах, о невиданных цветах, о фиалках у мшистых камней под аккомпанемент этой ночной музыки в пустыне! Взгляни, о боже, на северный мир, присмотришься внимательно. Пусть твое небесное око привыкнет к этой крошечной тьме, к ветру и дождю. Крошечная тьма? Нет, взгляни еще раз туда, где находится Гренландия. Видишь, вон бесконечная, извивающаяся, дрожащая светлая нить? Прибой? Он отмечает линию берега. За этой линией, за ее петлями и изгибами действительно тьма: это суша. Живут ли тут люди? Есть ли тут вообще жизнь? Посмотри еще раз внимательно — вон там, в темноте, что-то похожее на большой полуостров, взглядишь! Мы, люди, испытывая свою веру, всматривались

в даль, напрягая зрение, чтоб видеть бога. Мы всматривались в беззвездное небо, стараясь найти хоть какой-нибудь проблеск надежды, одну звезду. Смотри и ты! А, нашел? Да, он слаб этот свет сальной свечи в палатке. Ночь бурная. Свеча оплывает на ветру. Какие звуки! Ветер, рев прибоя на тысячемильном берегу. Это твой громкий глас, боже. Приклони ухо свое, как мы иногда приклоняем свое, чтобы услышать твой спокойный тихий голос. Наклонись к палатке и прислушайся. Слышишь? Песня! Она прекрасна. Слова непривычны для твоего воспитанного европейского слуха; мелодию ты знаешь. Ты любишь ее, господи. В этой пустыне она для тебя слаще, чем хоры соборов святого Петра и святого Павла. Что? Ты плачешь, господи? Понятно. Они действительно ближе к тебе, чем думают?

Этой ночью палатка завалилась. Что-то, должно быть ветер, проникло под полотнище, приподняло палатку и швырнуло ее в сторону. Мы очутились под дождем. Все продолжали лежать, смеясь над таким веселым происшествием, но я вскочил в бешенстве, чтобы поставить палатку снова. Это заставило встать и остальных мужчин. Не будь меня, они, чтобы не возиться, просто сгрудились бы потеснее и спали бы под дождем.

Проходили ночи и дни. На четвертый день мы, сложив все, сидели допоздна: должна была прийти моторная лодка. Легли, заснули. Наступило утро. Лодки не было. В этот день лодка не пришла. Небольшое количество кофе, привезенное нами, кончилось. Мы питались рыбой. Лососина съедена. Мужчины принялись ловить около берега треску. Мы питались только вареной рыбой. Шел дождь; палатка, наша одежда и обувь промокли и не высыхали. Ночью было лучше: мы сбивались в кучу и спали.

Наступила седьмая ночь. Который это был час? Кто знает? Темно, тихо. Мелкий дождь шуршит по палатке, волны лижут берег, храпят спящие мужчины, два сердца стучат. «Тук, тук, тук, тук», — работают сердца; так они бьются в течение многих часов полубодрствования. «Тук, тук, — бьются сердца, — тук, тук, та-та, та-та, та-та». Анна села.

— Ш-ш-ш, слушайте!

Пробиваясь сквозь все звуки до нашего слуха ясно донесся стук мотора: лодка!

Периодические посещения гренландским доктором отдаленных поселков его округа редко совпадают с моментами наибольшей нужды

во врача. Да и как бы это могло случиться? Самое большее, что он в состоянии сделать, это произвести общий осмотр, оставить местной повивальной бабке свежий запас лекарств, пожелать жителям всего хорошего и отправиться дальше. Совершенно неожиданно, очень поздно в эту бурную осень, доктор посетил Игдлорсуит.

— Хорошо, что вы приехали, — сказали ему жители. — В Умивике пять эскимосов и Кинте. Неисправная лодка стоит в гавани, и они никак не могут вернуться.

Домой нас доставила докторская лодка.

Ели мы продукты, щедро присланные доктором: хлеб и мясо. Пили горячий кофе. Когда наконец даже Иохан наелся и напился до отвала, я вынужден был отослать всех (сделав исключение для Иохана и Анны) в моторный отсек, на корму, где они уселись кучкой.

...Саламина была не из тех, кому какие бы то ни было объяснения кажутся удовлетворительными. Если в такой критический момент, как наше возвращение домой, она и снизошла до выслушивания моих дифирамбов моему собственному поведению, то ее скептическая улыбка при этом вызывала такое смущение, что моя вера в собственное алиби поколебалась.

— Имака, может быть, — сказала она, когда я, запинаясь, договорил до конца.

Вот и все. В тот день она встретила меня на берегу и повела домой.

— На мне кое-что есть, — сказал я. — Они кусаются. Их не так много.

Саламина быстро расправилась с ними.

— Вот, — сказала она, кончив работу, — вот что получается, когда водишь компанию с такими людьми.

Вечером, уложив ребенка спать, подоткнув одеяло на постланной мне на полу постели, она, погасив свет, подошла ко мне и опустилась рядом со мной на колени.

— Что... — начал я.

Но Саламина прервала вопрос, закрыв мне рот холодным мокрым полотенцем. Она вытерла мне полотенцем рот, наклонилась и поцеловала меня: спокойной ночи!

Х Белуха

Сентябрь, конец сентября. Холодно. Северное небо светится под тяжелым пологом низких, черных туч. Северный ветер проникает сквозь одежду, пронизывает тело, добирается до костей.

Рядом со мной, ошеломленный моим бешеным темпом, стоит, дрожа, засунув руки в карманы, тугодум, сын Тукаджака. Ну-ка, наступи на нее, Лукас! Оторви-ка эту доску. О бесценный Тукаджак, ляпай сюда краску. Что? Холодно? Доковыляй до дому и надень варежки. Но поторапливайся, работа не ждет. Мы сегодня все кончим. Я подгоняю и навешиваю две двери в кладовой, вставляю раму в подвале, проконопачиваю щели и зашиваю окно наглухо досками. Давай сюда все портящиеся продукты. Укладывай вот это и это в солому. Так! Теперь беремся за двор. Счистить лопатой лед с досок. Уложить их в штабель, прокладывая между ними бруски. Подмести стружки. Ух, как их носит! Вихри, поднятые северным ветром. Готово! Шесть часов, тридцатое сентября. Пусть теперь приходит зима.

Многим, наблюдавшим весь день нашу работу, пришло в голову, что подготовка дома к зиме здравая мысль и что сами они как-нибудь тоже этим займутся. Как-нибудь? Вечно будет лежать цветущий дерн на лугах, не нарезанный на зиму, а стены домов будут разваливаться. Наконец прищпоренные необходимостью, каждый год слишком поздно, полузамерзшие жители поселка отдирают от мерзлой земли несколько комьев, чтобы заткнуть ими дыры под застрехой, через которые свищет ветер, и на этот год тем ограничиться.

И все же в поселке достаточно беспорядочной возни, чтобы дополнить визгом пил, стуком молотков и видимостью работы осеннее зрелище надвигающейся перемены. Люди действительно работают. Некоторые из них восполняют недостаток заботы о своих домах проверкой и починкой снастей, которые потребуются в ближайшее время. Внизу на ровной прибрежной полоске расстилают и чинят сети, большие сети из бечевки с восьмидюймовыми ячейками. Видимо, октябрь обещает какой-то невероятный улов.

Странно, как мало наше воображение бывает занято миром под поверхностью моря; странно, что воображение парит и никогда не плавает. Мысленно мы охотно погружаемся в стихию, в нижних слоях которой не живут млекопитающие, а в верхних вообще невозможна никакая жизнь, но редко даже в мечтах представляем себе, что находимся в подводном мире, где обитают наши родичи. И в то время как поэты восторженно воспевают пернатых, низших позвоночных и украшают ангелов крыльями, близкие наши родственники по плоти и крови, как, например, *Delphinapterus leucas*,^[9] такой милый, гладкий и приятный (если судить по его глупой морде) огромный родственник, какого только можно иметь, рождается, к чему-то стремится и, проплавав всю жизнь, умирает. И никому до него нет дела.

Но если б мы мысленно последовали за ним в водную стихию, составляющую его мир; мысленно посмотрели бы из глубины вверх и увидели бы сквозь меняющуюся прозрачную толщу синее небо, солнце, луну, северное сияние, день и ночь, звезды; если б вознеслись мысленно на поверхность сквозь перевернутую пустыню льдов — опрокинутых айсбергов, этих сталактитами свисающих с неба гор, вышиной в восемь раз больше наших; если б прорвались, вспенивая воду, на ослепительный дневной свет и на мгновение почувствовали бы горячие лучи солнца, вдохнули бы воздух; если б мы могли постигнуть всю гамму этих переживаний и в мыслях охватить один день того, что составляет жизнь неразумного кита, то эта жизнь могла бы, пожалуй, оказаться не под силу нашему разуму. Не удивительно, что у китов тупой вид.

Может быть, мозг кита съезжился, а тело его увеличилось, чтобы он был в состоянии ежедневно выдерживать такое зрелище, подобно тому, как сокращается зрачок, когда мы смотрим на свет? В опасных условиях подводного существования киты должны иметь чудовищные размеры. Представьте себе, как осенью затуманиваются арктические глубины, когда над ними образуется лед, внезапное наступление гробовой тишины, угрозу, которую лед несет для всех плавающих существ, дышащих нашим воздухом. Тюлени устраивают себе отдушины и держат их чистыми ото льда. Киты этого делать не могут. Для них толстый лед означает смерть. Иногда эти чудовища в отчаянии скопляются в широком чистом разводье во льду и упорно держатся там,

выставив головы, чтобы дышать, несмотря на то, что их убивают. Это говорит о безвыходном положении китов.

Миграция на юг *Delphinapterus leucas*, белухи, происходит так регулярно и по такому неизменному пути, что не приходится удивляться тому, что с белухой происходит. Жира у нее много, и он вкусный, мясо хорошее, шкура сочная. Человек знает повадки белухи, помогай ей бог! Жители Игдлорсуита поставили сети 2 октября. Уже 3 октября раздались крики: «Катакак! Киты появились!» Одного поймали. Из домов высыпают все жители. Они бегут вдоль берега к месту, где в трех-четыре десятках футов от уреза воды над чем-то трудятся несколько человек в лодке. Утро мрачное, серое; пронизывающий холод. Холодно даже смотреть на работу людей, не говоря уже о том, чтобы погрузить руки в ледяную воду, как делают они. Медленно, сажень за саженью, вытаскивается тяжелая сеть из воды, передается дальше. Люди напряглись, тянут. Под их тяжестью борт опустился, и невысокие волны захлестывают лодку. Появляются белые плавники; вокруг хвоста обвязывают канат, закрепляют его. Кита освобождают от сети и опускают ее в воду. Передышка, чтобы растереть заочиненные пальцы. Теперь за весла. Они гребут вдоль берега до места против дома Троллемана, и здесь лодка врежется носом в берег. Толпа хватается за лодку, вытаскивает ее на сушу. Затем все — мужчины, женщины, дети, — ухватившись за канат, привязанный к киту, тянут его на берег, но... р-раз! Канат лопнул, и все повалились на землю. Взрыв хохота, но кит уже на берегу.

Из дома выходит только что вставший с постели Троллеман. Укутанный в меха, он важно шагает с гордым видом.

— Ну, ну! — кричит он. — Что тут такое? Что тут такое? Видите, как я работаю, мистер Кент?

— Как вы работаете? — говорю я изумленно, так как самый малый из ребят, видимо, имеет большее отношение к киту, чем Троллеман.

— Конечно, мистер Кент. Моя сеть — мой кит.

— Ах так, понимаю! Это ваша артель.

Троллеман остановился, все это время он важно шагал с гордым видом распорядителя.

— Артель? — восклицает он с возмущенным удивлением. — Никакой артели нет. Я ловлю китов. Я всегда ловлю их. Нет, мистер Кент, никакой артели.

— Понимаете, мистер Кент, — продолжает он конфиденциальным тоном, — если у вас артель, то вы с ней делитесь. Это не годится. Нет, нет. Я работаю сам. Ну, конечно, — произносит он несколько неодобрительно, — я позволяю помогать мне. Им это нравится. Нет, мистер Кент, нет, нет, нет, нет; никакой артели.

Тем временем кита искусно разделали: жир и мясо отнесли и сложили у хозяина в сарае, а шкуру, она называется матак, съели с такой скоростью, на какую способны полсотни челюстей. Хотя зрелище напоминало бойню и все до единого основательно измазались в крови, но я должен сразу же оговориться, что шкура белухи, сырая или приготовленная, — один из самых вкусных деликатесов на свете.

Но как описать матак? Жесткий? Сырая шкура идет на бичи и ремни, она почти так же жестка, как сыромятная кожа, упруга, как резиновая лента. Чтобы узнать, какое ощущение вызывает еда матака, пожуйте резину или представьте себе, что жуete ее. На вкус матак сладковат, напоминает арбуз. Конечно, это сравнение несколько неточно, но скажем так: сладковатый неопределенный вкус. Приготовленный матак совсем иной. В супе, нарезанный маленькими кубиками, он несколько напоминает зеленую черепаху. Нарезанный полосками величиной с мизинец и изжаренный, он красиво сворачивается в спираль и приобретает твердость довольно жесткого жареного двустворчатого моллюска, но вкус другой, хотя не менее изысканный. Тушеный с жирной подливой, просто вареный или, лучше, вареный с гарниром из риса в остром соусе, матак молодого кита настолько нежен, что его не нужно резать ножом, и настолько вкусен, что может навеки прославить французского повара. Но понимающие люди говорят, что лучше всего есть матак холодным, вынимая его из ледяной воды; захватывать зубами, отрезать кусок ножом снизу вверх, к носу, и глотать, почти не жуя. Именно этот великолепный способ и применялся, пока Троллеман не прекратил пиршество, унеся оставшиеся большие квадраты шкуры.

Когда убрали все, что интересует человека, подпустили свору собак, которую до той поры все время держали в отдалении при помощи бича. Собаки ринулись, послышалось рычание сотни глоток. Псы кишели в два ряда, они рылись в кишках, купались в лужах крови. С белухой было покончено.

Мою сеть — я, конечно, намеревался поставить сеть, добыть матак, жир, мясо для людей и собак, разбогатеть (широкие у меня были планы) — еще не сплели. Сезон лова наступил раньше, чем я понял, какое это имеет значение в жизни местного населения, и сообразил, что тоже могу ловить китов. Но я не собирался, как Троллеман, заняться этим делом в одиночку. Китоловный промысел представляешь себе как коллективную спортивную игру. Именно поэтому мне хотелось заняться этим делом. Как и полагается изучающему род человеческий, я прежде всего — ловец людей. Итак, начнем рассказ с людей, с артели, которую я заполучил.

Посторонний человек, попадающий в общество, занятое разными делами, не может рассчитывать на то, что в его распоряжении окажутся лучшие работники. Поэтому я удивился и обрадовался, найдя в Игдлорсуите именно в тот момент, когда мне были нужны люди и когда я меньше всего мог надеяться их найти, такого на редкость выдающегося человека, как мой ближайший сосед Абрахам Абрахамсен. Это порядочный, честный и прилежный человек, хороший охотник, вообще человек, шедший своей дорогой и не совавшийся в чужие дела. Я с первого взгляда почувствовал к нему доверие и сделал затеянное предприятие нашим общим. А кого он подберет в артель и будет ли, кроме него, еще один работник или два, сколько он будет им платить из своей половины доходов — все это его личное дело. Я брал на себя расходы по приобретению сети и прочего оборудования. Все совсем просто, как мне казалось.

Тем не менее я немного беспокоился, узнав, что подобранная Абрахамом артель состоит не из одного и не из двух, а из трех человек и все они люди такого рода, что в совокупности, при сложении их отрицательных величин индивидуальная ценность каждого не повышается, а понижается. Сын моего доверенного, Лукас, мог бы неплохо проявить себя в хорошей компании, такой, как он и Абрахам. Но что значило их не слишком горячее желание работать — предположим, что оно у них было, — против природной, врожденной, выпестованной и взлелеянной профессиональной лени Йорна и Йоаса, против инертности слабоумного от рождения в одном случае и бездельника по натуре — в другом. Держу пари, что не Абрахам выбрал Йорна и Йоаса, а они выбрали его. Они почуяли уютное местечко и расположились поспать на нем.

Предложение артели поставить сети в Ингии, в пяти милях от поселка, предложение, очень понравившееся мне вначале как проявление большой энергии, было попросту — поскольку дело касалось этой милой пары — хитрым планом разбить лагерь там, где никто не сможет помешать им отдыхать. Но даже такая заинтересованность не могла служить им опорой против угрозы гнева Исаака. Кто же такой Исаак?

Семья Исаака Зееба находилась в родственных связях с многочисленным и могущественным игдлорсуитским родом Нильсенов. Сам Исаак (хотя из-за преклонного возраста он уже удалился от активной деятельности) пользовался репутацией смельчака — тем более замечательной, что был он крохотного роста, — человека мудрого, высоких личных качеств. Это подтверждалось деловитостью его сыновей, их уважением к нему.

Его взрослых сыновей звали Абрахам, Иохан и Мартин. Старший, Абрахам, всеми уважаемый, умевший хорошо работать, честный, был старшиной поселка. Зеебы, действуя сообща под руководством Исаака, в течение многих лет пользовались северо-восточной оконечностью острова Убекент, называемой Ингия, как базой для лова китов. Они соорудили два грубо сложенных из дерна домика и жили в них в сезон лова.

Это была дальновидная забота о своих нуждах. Удаленность Ингии от Игдлорсуита и невозможность проехать туда сушей иначе, как в момент низшей точки отлива, сделали Зеебов исключительными обладателями одной из стратегических позиций для перехватывания белух. По этим же причинам они чувствовали себя собственниками всего северного берега, что привело к столкновению с ними нашей китоловной артели. Короче, Исаак запретил нам лов в Ингии. Во всяком случае, я сделал такой вывод из рассказа разношерстной артели, столпившейся в моем доме, явно смущенной и, как мне показалось, немного напуганной.

— Почему же мы не можем? — спросил я. — Как он смеет нам запрещать?

— Он говорит, — стал объяснять Абрахам, — что вы, как американец, не имеете права заниматься промыслом в Гренландии.

«Исаак Зееб прав», — подумал я.

Было совершенно ясно, что возражение это чисто академического характера. Оно не направлено против угрозы истребления белух моими сетями и выдвинуто не против меня лично, а против нас, как рыбаков, вторгающихся в Ингию. Просто старый Исаак хочет оставить за собой весь северный берег. Вся его аргументация подмочена, а сам он — эгоистичный старый черт, защищающий собственные исключительные права с хитростью заправского юрисконсульта акционерного общества. Похоже было, что мы получили шах и мат в один ход.

— Абрахам, — сказал я, — если б сеть была ваша, если б она принадлежала вам, вы бы поставили ее в Ингии?

— Да, — ответил Абрахам.

— Сеть ваша, — сказал я. — Вам нужно только выплачивать мне за нее взносы по пол-улова.

Все смотрели на Абрахама, стоявшего в раздумье.

— Нет, — сказал он, — я в Игдлорсуите новый человек и не хочу затевать ссоры.

Раньше у меня не было намерения отправиться в Ингию, но теперь ничто уже не могло меня остановить.

— Давайте поедем, — сказал я. — Сеть ваша. Я отвечаю за то, что мы делаем.

Возбудив таким образом подобие боевого духа в моей полудохлой артели, я отправил их собирать принадлежности для лова.

Итак, совершенно взбешенный, я распрощался со здравым смыслом. Час спустя мы сели в лодку. В эту грязную дырявую старую лохань, на которой мы отправились 19 октября, было погружено такое превосходное, ни разу не испробованное спортивное оборудование, какому было под стать служить украшением витрины магазина. О палатка девственной белизны! О блестящие кастрюли, о золотой примус! Какой профанации подвергнется все это добро! А продовольствие: кофе, сахар, сухари, пеммикан в банках, рис! Я буду кормить как следует своих боевых парней! Отчаливай!

Грести в гренландской лодке — нелегкое дело. Гибрид от плоскодонки и умиака^[10] домашнего производства, построенный людьми, среди которых не было ни матросов, ни плотников, неустойчивый, неуклюжий, наполненный водой. Уключины для весел: в одном гнезде ржавая шпилька, там кусок веревки, а там старая погнутая уключина, хлюпающая в безмерной дырке. Весла? Молоденькие

сосенки с привязанными к ним плицами от колес парохода «Миссисипи». Не забава и не работа. Грести сильно невозможно, я пробовал.

— Навались, ребята, навались! — крикнул я и опрокинулся на спину: моя сосенка переломилась. Мы расхохотались и кое-как связали ее. Вид у этого весла да и у всех прочих был как у старых штанов, которые иногда встречаются: сплошные заплаты, а штанов не видно.

Начало зимы. Стояла приятная погода, не холодная для того, кто работает, но пробирающая до костей праздного наблюдателя. У нас было три весла; мы мерзли по очереди. Наконец после двух с половиной часов беспорядочной гребли мы обогнули мыс Ингию и вышли из тени на свет предзакатного солнца. Здесь, сразу за скалистым мысом, стояла крепость Зеебов. Мы увидели их умиак, вытащенный далеко на берег, два дерновых дома и дым домашних очагов (не для нас), выходящий из двух труб. Продолжая грести, мы не поздоровались с женщинами и детьми, вышедшими поглядеть на нас. Не поздоровались и они с нами.

Больше часа шли вдоль северного берега — растянувшейся на много миль полосы песка или гальки. Мы прошли, продолжая грести, мимо трех сетей Зеебов. Наконец недалеко от того места, где песчаная полоса заканчивалась мысом, промерили глубину (оказалось ровно четыре морских сажени) и пристали к берегу. Тем временем поднялся сильный северный ветер, на нас стали накатываться все волны Баффинова залива; мы здорово промокли в прибое.

В этот день артель работала по-настоящему: холод заставил нас. Мы разостлали сеть на песке, прикрепили по всей длине снасти, пять поплавков, сделанных из тюленьей шкуры, а в углу большой поплавков из целой тюленьей шкуры. Подыскали два тяжелых камня для якорей и обвязали их проволокой. Для грузил отобрали камни величиной с кулак, приделали к ним петли и прикрепили их к сети. Готово? Ставить сеть!

Ветер и прибой все усиливались; было время прилива. Несмотря на все старания, мы не могли во время погрузки удерживать лодку носом в сторону моря, а когда нагрузили, не могли спустить ее на воду. За полчаса мы все запутали. Наконец, сняв все, что привязали, втащили по одному в воду камни, служившие якорями, уложили их и снабдили поплавками. Затем, по мере того как ставили сеть, привязали грузила,

все-таки закончив работу, и притом хорошо. После этого вытащили нашу неуклюжую лодку далеко на берег к гравийному холмику за береговой песчаной полосой, поставили ее на кучу камней, привязали и, взвалив себе на спину вещи, отправились разбивать лагерь. Я не знаю, как бы мы потащили все наше имущество, если б из «вражеской» цитадели Ингии не пришли, очень кстати для нас, два юноши. Один из них, Йозеф, от избытка сил и чтобы показать нам, на что он способен, взял груз, посильный лишь взрослому мужчине, и потащил его. Если б нас не вел Йорн, который, не взяв почти ничего, убежал вперед так далеко, что совершенно не слышал нас, мы бы не прошли весь путь до Ингии без остановки. «Йорн знает удобное место для лагеря, — думал я, — и ведет туда». Он действительно знал такое место: уютный, крепко сбитый с запасом топлива домик, который сдавался путешественникам за две кроны в день. Во всяком случае, Йорн стоял около дома, поджидая нас. Я же отказался дать разрешение поселиться в нем, чем глубоко разочаровал артель.

Все приключение начинало терять военный блеск. Мы не только собирались расположиться прямо у ворот врага, но и сам враг, казалось, не расположен был сражаться. Вы только послушайте: на полдороге к Ингии, когда тяжесть наших нескладных грузов становилась уже невыносимой, полуослепшими от снега и песка глазами мы увидели приближающихся к нам пять человек, пять Зеебов. «Сейчас начнется», — подумал я. Они приблизились, а я, свирепо уставившись перед собой, прошел мимо, не сказав ни слова и не взглянув на них. Что же сделали эти люди? Они повернули назад, нагнали меня, любезно поздоровались и настояли на том, чтобы взять мою ношу. Я был совершенно сбит с толку создавшимся положением. Опасаясь, что Зеебы окончательно испортят дело тем, что пригласят нас жить с ними, я заставил всех заняться установкой палатки, что и было сделано при помощи клана Зеебов, быстро и отвратительно.

Абрахам Зееб — приземистый, широкоплечий, широкогрудый человек, темнолицый с черными бровями, густой гривой; черты лица у него тяжелые, губы игдлорсуитских Нильсенов, как у Бурбонов. Внешность суровая. Он вошел, завязал входной полог палатки, повернулся к нам и приветливо улыбнулся. Суровая внешность? Лицо его просто сияло приветливым дружелюбием. Абрахам сел и разделил с нами то, что мы могли предложить гостю, — сухари, намазанные

маслом, кофе. Еда показалась ему, как и нам всем, вкусной. Из вежливости он посидел с нами немного, потом ушел. Час спустя вернулся и принес в подарок солидный кусок матака.

С этого момента между соперничающими артелями установилась самая тесная дружба. Полог все время поднимался, чтобы пропустить бурный поток посетителей, наших друзей. Сколько бы ни горел наш маленький примус, в палатке все время было холодно. Наконец, согревшись изнутри и насытившись пеммиканом и рагу из матака с рисом, мы соединили в одно целое все наши постели и растянулись, чтобы поспать.

Ночь была холодная, бурная. Полотнища палатки бешено хлопали под аккомпанемент непрерывного грохота моря. Тяжелые волны бились о северный берег по всей его длине. Мы расположились так, что я лежал между Абрахамом (не Зеебом) с одной стороны и Йорном — с другой, а Лукас и грустный Йоас с флангов. Абрахам захватил с собой нечто вроде большой подушки размером два фута на четыре, Лукас настоящий спальный мешок из собачьей шкуры. У меня был недошитый мешок из оленьей шкуры, шкура ламы, дополнявшая то, чего не хватало у мешка, и шерстяное пончо^[1] для подстилки. У остальных двоих не было ничего. Я дал им пончо. Они завернулись в него, обняв друг друга. Шкурой ламы я накрыл себя и Абрахама. Так мы и проводили ночи в Ингии.

Я говорил о ночных звуках: ветер, хлопанье полотнищ, шум моря. Все это не заглушало страшное бормотание и взвизгивание Йорна. Что за несчастная, истерзанная душа заставляла его визжать во сне! Несомненно, он мерз; во сне он так брыкался и размахивал руками, что я ради самозащиты наконец стал бить его. Но Абрахам не просыпался. При свете продолжавшей гореть свечи, в вязаной шерстяной шапке, натянутой на голову до бровей, в капюшоне анорака, закрывавшем его подбородок, он был похож на бронзовое изваяние доблестного благородного рыцаря, душа которого вкушает покой. Когда серый рассвет просочился в палатку, он уже не застал Абрахама: Абрахам тихонько вышел, чтобы осмотреть сеть.

Со всеми сетями дело было неблагоприятно. Буря продолжалась. Работа, которую нам пришлось проделать, чтобы спасти сети от повреждения льдом, показала, насколько рисковал я, вложив капитал в

это предприятие. Но к тому времени, как встали Йорн и Йоас, работа была уже закончена.

Ветер дул не ослабевая весь следующий день и всю ночь. Нам решительно нечего было делать, разве что спуститься иногда к берегу. Мы все время сидели в палатке. Сидели, время от времени пили кофе, готовили и ели пищу. Сидеть, курить и принимать гостей, то есть просить их войти в палатку, где они стояли, глазели на нас и курили наши сигареты. Сидеть или выскакивать из палатки, чтобы навалить еще камней, прижимающих края палатки к земле. Днем палатка была холодным убежищем. Вечером при свете свечей она становилась горячим рдеющим сердцем вселенной. Она вызывала в нас лень и настраивала на спокойное наслаждение трубками и обществом друг друга.

И вот, когда на второй вечер, уютно сгрудившись, завязав входной полог, мы все сидели в палатке с нашими *друзьями* Зеебами — Анна тоже была здесь, — молодой Лукас начал рассказывать историю:

— Вот, — сказал Лукас, — история о Далаге.

XI

Далаге

«Однажды пропала королевская дочь. Король разослал людей на поиски, но королевну никто не нашел. Тогда сын другого короля отправился искать ее по свету. Он шел и шел. Наконец однажды увидел замок с тремя башнями. Королевич приблизился к замку. Вокруг не было ни души. Он вошел внутрь и там заметил женщину, такую бледную и худую, какой никогда не видывал. Она спросила, что ему нужно.

Он ответил:

— Я ищу тебя.

Королевна рассказала ему свою историю:

— Меня похитил Далаге. Вот его изображение, — указала она на висевшую на стене картину, на которой было нарисовано существо, похожее на большую птицу с хвостом.

— Далаге можно вызвать, — продолжала королевна, — прикоснувшись к изображению. Если прикоснуться осторожно, он появится и будет очень добр, если же притронуться грубо, Далаге, появившись, будет очень сердит.

— А я его вызову, — сказал королевич.

— Нет! — воскликнула королевна. — Пусть, если он хочет, явится по собственному желанию.

Королевич протянул руку и, хотя королевна пыталась помешать ему, все же притронулся к картине.

— Скорей спрячься, — испуганно прошептала королевна.

Только королевич успел спрятаться под кровать, как появился Далаге. Он в бешенстве закричал:

— Зачем ты вызвала меня так внезапно? Когда я нахожусь далеко, твой вызов меня тревожит.

Далаге схватил королевну и бросил ее на пол так, что потекла кровь.

Увидев это, королевич вылез из-под кровати и сказал:

— Это не она тебя вызывала, а я.

— Что ж, все возможно, — ответил Далаге идохнул на кровь.

Только он сделал это, как королевна сразу ожила, но при этом стала еще бледнее, чем была раньше. Далаге схватил королевича и улетел с ним из замка.

Долгое время они летели и наконец долетели до такой высокой горы, которую нельзя было миновать. Здесь Далаге сказал:

— Теперь ты будешь обезьяной, — и, бросив пленника, улетел.

Королевич посмотрел на себя и убедился, что он в самом деле превратился в обезьяну. Он обошел гору кругом.

Ниже того места, где находился королевич, гору окружали скалы; вниз к фьорду вела речка. Королевич обнаружил, что внизу есть расщелина, в которую он мог бы спрыгнуть. Внизу были деревья, по-видимому плодовые.

«Я теперь большая обезьяна, — подумал королевич, — и что из того, если я погибну. Надо попытаться прыгнуть».

Он, ухватившись за выступ скалы, полз до тех пор, пока не достиг края расщелины.

«Могу ли я, — снова подумал королевич, — рисковать, прыгая в эту пропасть?» Но тут же отбросил сомнения: «Подумаешь, какая важность, если я умру?»

И королевич бросился в пропасть. Он упал на живот и совсем не ушибся. Встал, подошел к реке и долго пил воду. Потом в лесу он насытился плодами.

Королевич поселился на берегу реки, в лесу, в котором было много плодов. Однажды он увидел в устье фьорда мачты корабля. Королевич проследил за тем, как корабль вошел в устье фьорда и стал на якорь. Пока матросы набирали воду из реки, королевич-обезьяна сорвал несколько веток с деревьев. Часть их он бросил в воду, а часть разложил на прибрежных камнях. Затем, когда начался прилив, он взобрался на ветви и поплыл на них по ветру.

Матросы набрали воды и собирались уже поднять паруса, но шкипер, увидев плывущую по волнам обезьяну, велел команде взять ее на борт. Существует примета, что если на борту есть обезьяна, то всю дорогу будет дуть попутный ветер. Шкипер взял обезьяну к себе в каюту. Подул попутный ветер, и корабль отплыл. Примета оправдалась: попутный ветер дул все дни. В пути обезьяна, как и всякая обезьяна, подражала морякам.

Корабль прибыл в королевство, в котором только что умер секретарь короля. Король потребовал от всех находившихся на борту корабля, от юнги до шкипера, образчики их почерков. Если бы нашелся кто-нибудь, кто мог писать так же хорошо, как и умерший секретарь, король взял бы его к себе на службу.

Спустившись в свою каюту, шкипер сел за стол и начал писать. Обезьяна, находившаяся тут же, стала ему подражать. Услышав скрип пера, шкипер оглянулся и увидел, как она пишет. Ее почерк показался шкиперу очень красивым, ничей другой не мог бы с ним сравниться.

Шкипер собрал написанное всеми матросами, а также и то, что написала обезьяна, и отправился к королю. Он показал королю все образцы. Перед королем лежала бумага, написанная покойным секретарем, с которой он сравнивал представленные образцы. Но все они были отвергнуты.

— Тогда взгляните на образчик письма моей обезьяны, — сказал шкипер и протянул лист бумаги.

Король разгневался.

— Не делай из меня дурака. Незачем показывать мне образчик письма твоей обезьяны, — сказал он.

Но шкипер настаивал:

— Все же попробуйте взглянуть на него.

— Покажи! — согласился король.

Сравнив этот образчик с написанным покойным секретарем, король нашел, что почерки совершенно одинаковы. Он улыбнулся и сказал шкиперу:

— Продай мне эту обезьяну.

Так обезьяна стала королевским секретарем. Король осмотрел ее и убедился, что это необыкновенная обезьяна...»

При этих словах один из слушателей прервал рассказчика:

— А как можно узнать: настоящая обезьяна или нет? — спросил он.

— По волосам, — высказал кто-то предположение. — У настоящей обезьяны как полагается был бы мех, а не волосы.

— Нет, — сказал Йорн, — можно отличить по половым органам. У обезьяны они как у собаки. Ведь правда? — спросил он, обращаясь ко мне.

Я не знал. Последовало длительное серьезное обсуждение этого вопроса; он, несомненно, представлял большой интерес. Но так как из всех присутствовавших только я один видел настоящую обезьяну, а другие не видели даже поддельной, вопрос остался нерешенным.

— Во всяком случае, так было дело, — заявил Лукас и продолжал свой рассказ перед затаившим дыхание внимательным кружком слушателей.

«Король призвал свою дочь и сказал ей:

— Хочешь посмотреть обезьяну?..»

Йорн обвел нас взглядом, как будто бы вопрос решился в его пользу, но никто не обратил на это внимания.

«Королевская дочь, осмотрев обезьяну, сказала отцу:

— Это не обезьяна, это — королевич.

Тогда король спросил дочь, можно ли превратить обезьяну снова в человека.

— Это можно сделать, — ответила дочь, — но если мы это сделаем, то тот, кто превратил его в обезьяну, захочет драться с нами.

Но так как король настаивал на своем, дочь уступила и сказала:

— Уйдем отсюда.

Они пришли в сад и уселись лицом друг к другу. Из-за дерева появился петух. Когда петух дышал, из его клюва высовывался маленький меч. При каждом вздохе меч поблескивал и сверкал.

Вдруг дочь короля встала и вступила в бой с петухом. Сражаясь, они скрылись за деревом. Внезапно король и королевич услышали, как кто-то вздохнул: «ай, я», и обнаружили, что королевна уже снова сидит на своем стуле.

— Я победила его, но он скоро вернется, — сказала она.

Немного спустя вниз по склону поползла большая змея, самец. Каждый раз, как змея делала вздох, изо рта ее выходил огонь. Огонь этот поблескивал и сверкал. Вдруг королевна встала и вступила в бой со змеей.

Сражаясь, они скрылись, спустившись по склону, а немного спустя король и королевич услышали, как кто-то вздыхает: «ай, я», и обнаружили, что королевна снова уже на своем стуле.

— Я победила ее, — сказала она. — Но когда я уходила, змеядохнула на меня, и теперь у меня внутри огонь.

Едва она успела сказать это, как тут же превратилась в пепел.

Король собрал его в спичечную коробку. Пепла было так мало, что коробка оказалась незаполненной. Королевну похоронили в саду, там, где они сидели. Затем король вырвал глаза у королевича, один глаз у его кучера и один у его лошади. И в таком виде изгнал их в пустыню умирать с голоду».

— Вот такая история, — сказал Лукас.

Несколько секунд все сидели молча. Легкость и неподдельное красноречие, с которыми была рассказана эта история, повторяющийся ритм речи, вдохновенное выражение лица юноши — все это произвело глубокое впечатление. Какой, должно быть, силой обладали древние скальды!

XII

Киты и любовь

Так как у меня дела были помимо того, чтобы посиживать в холодной палатке в Ингии, ожидая, пока киты удавятся, запутавшись в сети, то на третий день я скатал свою постель, перекинул ее за спину и отправился с наступлением отлива в поселок. Меня сопровождали Йорн, который хотел забрать еще еды, Абрахам, собиравшийся навестить жену, Лукас, нуждавшийся в табаке, и Йоас, не желавший оставаться в одиночестве. Поскользнувшись не один раз на обледеневших валунах и пройдя несколько десятков футов в воде выше колена, чтобы обогнуть скалу, мы пришли в поселок. «В конце концов, — думалось мне, — я отправился в Ингию только из-за войны, а войны-то и не было. Теперь пусть справляются мои ребята, артель».

Абрахам нашел жену в добром здравии, довольную обществом молодого эскимоса, которому оставалось только перебраться в дом Абрахама, чтобы лучше заботиться о его жене; Лукас получил — от меня, конечно, — табак; Йорн — от меня — провизию; Йоас — еще запас провизии, а все они табак, кофе, керосин, еду — все решительно от меня, и вернулись назад во время следующего отлива. Если не считать частых случаев, когда один из них или все вместе опять приходили ко мне, чтобы пополнить запасы, я больше их не видел три недели — до конца сезона ловли белухи. Я выдержал все до конца, хотя терпение, гордость и мой бумажник почти истощились.

Наступил день, когда в море показался нагруженный умиак клана Зеебов, а позади наша старая, набравшая через течи воды, лоханка. Казалось, что она легко пляшет на волнах. Возвращение лодки домой было для меня приятным зрелищем. Я сбежал на берег, чтобы приветствовать прибывающих.

— Эй! — крикнул я. — С чем поздравить?

— Два кита, — крикнул мне в ответ Абрахам (у Зеебов их было двенадцать).

Неважно; киты большие.

— Тащите наверх мясо, — кричу я и бегу домой очистить место в кладовой: для китов же нужна уйма места.

И вскоре действительно появляется Абрахам. Он что-то несет в одной руке.

— Ак, — говорит Абрахам. «Ак» значит: я даю тебе это, возьми, это твое. И взяв «это», я вижу завернутую в кусок матака размером в один квадратный фут рубиново-красную драгоценность, кусок мяса.

«Особо лакомый кусок для меня», — подумал я.

— Молодец, Абрахам! Заходите. Выпейте кофе, шнапсу, вот сигары. Нет, берите все, всю горсть. — Он так и сделал. — Теперь несите сюда мясо.

— Вот, — говорит Абрахам, указывая на кусочек, блестящий на тарелке, — вот мясо.

— Нет, нет, Абрахам, мой милый, вы меня не так поняли. Я должен высказаться яснее. Я хочу сказать, все мясо китов. Вы поймали двух китов. Один принадлежит мне. Ну, выкладывайте его мясо.

Отпустив несколько растерянного Абрахама с этим поручением, я стал ждать.

Жизнь не драма. Если немного подумать о бесчисленных причинах, не имевших заметных последствий, о первых и вторых актах, оставшихся без продолжения, о неудавшихся намерениях, о несбывшихся надеждах, то начинаешь удивляться тому, как могло прийти в голову считать ее драмой. Я смотрю через окно своего гренландского дома на панораму моря, далекой земли и неба — на сцену, где разыгрываются события моей книги. Здесь, хочется мне думать, в самой природе, в этом окружении заложена драма. Когда на море, как вчера, — штиль, море, как стекло, а небо мрачное, свинцовое, угрожающее, — я знаю, что все это предвещает. Я могу предсказать: завтра будет буря. Наступает следующий день — боже мой! — какой солнечный, мирный, тихий, спокойный, какой прекрасный. Случилось так, что в истории о моей китоловной артели нет последнего акта — нет кита. Киты, оба кита, их плоть и кровь от головы до хвоста, их кишки, их шкура, мозг их костей и голов — все это было в Лукасе, Йоасе, Йорне и Абрахаме.

Палатка? Мои вещи? Кое-что я получил обратно. Палатка была черного цвета, глубокого, насыщенного цвета черного бархата, свойственного чистой саже. Неисправимо. Примус был испорчен. От кастрюль воняло. Их можно было почистить, что и было сделано. Кажется, это все, что вернулось...

Тем временем в странной связи со всей историей ловли белухи, может быть на самом деле как подоплека того, что казалось мелкой враждой, — этого я никогда не узнаю, разворачивалось действие романа. Анна? Да, конечно, она была в Ингии. Можно сказать, там сияло ее солнце, ее слава. Но это вздор; то, о чем я говорю, было реальным событием.

На следующий день после моего возвращения из Ингии несколько человек из семейства Зеебов, среди них была Анна, пришли в Игдлорсуит пополнить запасы. Анна, как сообщила Саламина, повредила себе руку. К моему удивлению, Саламина предложила привести Анну к нам в дом, чтобы я осмотрел повреждения и полечил.

Эти забота и доброта, даже привязанность к возвратившейся Анне, настолько расходились с обычным резким и беспощадным обращением Саламины с предполагаемой соперницей, что я преисполнился удивлением перед этой переменной и с удовольствием мечтал о грядущих безмятежных днях. Подумать только, эта ненавидящая друг друга пара сидела, смеясь и болтая за кофе, как милые подруги.

— Видишь, как Анна весела, когда ты с ней обращаешься по-хорошему, — сказал я потом Саламине, потому что она с удовольствием высмеивала Анну за унылую молчаливость, причиной которой в сущности была сама.

— Да, — ответила Саламина, но так рассеянно, что я, удивленный ее настроением, посмотрел вопросительно. Тогда Саламина мне все рассказала.

В этот день ей принесли письмо от Мартина.

— Вот оно, — открыв свою шкатулку, Саламина вынула его и подала мне.

Письмо было аккуратно написано карандашом и начиналось словами «Асассара Саламина» (дорогая Саламина), но тут же переходило на такой гренландский язык, что ни к чему было даже пытаться понять его без словаря. Саламина, конечно, и не хотела, чтобы я его понял, так как, когда, пользуясь словарем, я стал как будто немного разбираться, она забрала письмо обратно и немедленно сожгла его. Но кое-что я успел прочесть!

«Дорогая Саламина! Наконец-то, яблочко моего глаза (так нелепо выходило по словарю), я могу сказать тебе, что чувствую. Пришло время, когда ты должна приехать ко мне в Ингию...»

Она сожгла письмо.

— Так вот в чем дело, — сказала Саламина тоном человека, проникшего наконец в подлый замысел. — Вот почему они приглашали меня к себе пить кофе и посылали мне в подарок матак. Вот оно что, теперь я все понимаю. — И со слезами она подошла решительными шагами к своему сундуку с одеждой, сокровищнице всего, что ей принадлежало, вынула оттуда флакончик духов и презрительным жестом швырнула его на стол. — Это он мне прислал!

Да, возможно, так оно и было: Зеебы пытались помешать нам, не пустить нас. Невеста была одобрена, свадьба намечена на семейном совете, путь — северный берег — свободен для похищения, а тут как назло наша поездка в Ингию! Как она могла расстроить все планы! Они угрожают нам — тщетно; они ждут, выжидают подходящего случая. И только я выехал, тут же за моей спиной они подожгли запал. Что же — Саламина его потушила. Она задула его, утопила в слезах.

Теперь Саламина плакала по-настоящему, не в силах сдержаться. Но почему?

— Я отошлю ему обратно, — воскликнула она и, схватив флакончик, выбежала вся в слезах.

— Стой, Саламина, подожди!

Мартин, надо сказать, был хороший солидный человек. Я сказал ей это. Саламина только сильнее заплакала и посмотрела на меня укоризненно.

— И если ты выйдешь за него замуж сейчас или потом, — продолжал я, — то получишь этот дом со всем, что имеется в нем.

— Нет!

Что касается духов, которые, как я узнал из слов Саламины, Мартин купил и прислал ей, то, объяснял я, она *не может* теперь отослать их назад. Как это будет глупо! Каким дураком будет себя чувствовать Мартин с духами и без женщины. Наконец я убедил Саламину послать ему за духи сотню сигарет.

— На, пошли ему вот эти.

Саламина так и сделала. И так как вопрос с предложением, как она мне сообщила, был уже решен в длинном, ранее написанном ею письме и письмо это было отправлено, то она подчеркнула характер заключительной операции запиской. Саламина вбила гвозди в крышку гроба любви.

Как я узнал, поведение Зеебов в Ингии по отношению к моей артели было не вполне дружественным. В смысле общения все было в порядке: мой кофе способствовал этому. Но Кентов-китоловов бессовестно обманули. Мартин в отместку за то, что мы поставили свою сеть в одной миле от его, переставил свою так, чтобы она прикрывала нашу: в каких-нибудь пятидесяти ярдах от нас он ловил наших белух. Единственный возможный для моих ребят ход, который бы позволил нам победить в этой борьбе, они не сделали. Для этого нужно было поработать.

Мартин выиграл кампанию; это было его право. Но любовь его не прошла. Из-за этой любви я со временем хорошо с ним познакомился. И в итоге, благодаря великодушию Мартина, мы с ним тесно сдружились.

XIII

Анна уходит со сцены

Очень редко в эти дни мне удавалось взглянуть на Анну даже издали, так как взгляд Саламины не менее остро, чем мой, ловил соперницу. Приветливость Саламины пылала ярким светом: как бы хитро я ни маневрировал, чтобы устроить свидание, оно неизменно оказывалось встречей троих.

Жители Игдлорсуита имели обыкновение каждый вечер прогуливаться по берегу, даже в конце лета, когда вечерами бывало очень темно; здесь был их бульвар, их место для гулянья. И я и Саламина также нередко выходили на прогулку. Частенько мне бывало не так уж приятно маршировать взад-вперед в одиночестве с Саламиной за спиной. Без сопровождающей я веселился бы в беззаботно резвящейся толпе молодежи. И все же я привык к этому. Тропинка была узка, мы шли гуськом.

Однажды вечером, когда светили только звезды, я, как описано выше, маршировал по берегу. Меня обогнала гулявшая в одиночестве Анна. Она прошла мимо. Мы не повернули головы и не заговорили — побоялись. Я продолжал шагать вперед.

Я шагал, сохраняя прежний ритм, но увеличил шаг. Раз, два, раз, два — так ровно, медленно, чтобы она, моя Немезида-Саламина, следовавшая сзади в темноте, не могла заметить, что я пошел быстрее. Каждый шаг я увеличил вдвое. Я несея вперед. Вскоре, убежденный, что расстояние, разделявшее нас, увеличилось, я осмелился оглянуться: темно и пусто. Я остановился — ни звука. Один! Неслышными шагами я побежал вперед, туда, где совсем близко от дорожки стояло несколько бочек с жиром. Присел за ними, спрятался и стал ждать. Подошла Саламина. Я слышал ее быстрые, осторожные шаги, видел, как ее темная фигура приблизилась, прошла мима и исчезла в темноте. Теперь вперед! Держась несколько в стороне от берега, чтобы избежать встречи с другими гуляющими, не производя, как мне казалось, ни звука — гренландские сапоги такие мягкие, — я пошел вслед за Анной и нагнал ее в темноте. Она успела уйти далеко.

— Анна! — шепнул я.

Анна услышала, остановилась. Повернулась ко мне. Я видел только, что она насторожилась, вглядываясь мимо меня в темноту.

— Анна...

Она сделала мне знак молчать. Она слушала — не меня, вздрогнула. Я схватил ее за руку.

— Школа. Жди меня там, — прошептала Анна, высвобождаясь.

— Но почему? Почему ты уходишь? — спросил я, отпуская ее.

— Саламина, — сказала Анна. И исчезла.

Когда Саламина приблизилась ко мне, я, ни слова не говоря, прошел мимо по той дороге, по которой пришел. Саламина двинулась за мной следом. Я стал растягивать шаг, она шла по пятам. Я побежал, она тоже побежала. Черт возьми, я оторвусь от нее! Я понесся, как спринтер. Некоторое время Саламина держалась вблизи, но потом немного отстала. Я пробежал двести ярдов, добежал до бочек с жиром и спрятался за ними. Через каких-нибудь пять секунд появилась Саламина. Тяжело дыша, направилась к бочкам. Когда она завернула за бочки с одного конца, я выбежал из укрытия с другого. Саламина увидела меня, бросилась вдогонку. Я свернул круто вправо, побежал прочь от берега, заскочил за какой-то дом. Саламина обежала его с другой стороны и едва не настигла меня. Неподалеку находился большой разваливающийся складской сарай. Я направился к нему. Обежал вокруг него, круто повернул назад и на половине пути встретился с Саламиной! Она перехитрила меня.

Тогда, оставив поселок, я устремился в сторону холмов, Саламина продолжала преследовать меня.

По мокрым травянистым склонам трудно бежать в темноте, но я, оступаясь, продолжал двигаться вперед, вверх. Перевалив через гребень, пробежал немного вниз, свернул резко влево и, пробежав в темпе спринтера сто ярдов, бросился плашмя на землю за могильной насыпью на кладбище, которое было на вершине холма. Боже мой, я задышался.

Прошла минута. Затем на фоне звездного неба ясно вырезалась темная фигура Саламины. Она достигла вершины холма, остановилась и огляделась. Позади нее в темной долине мерцали редкие огоньки поселка. Впереди в полной темноте расстилалась «ничейная» земля: болота, сланцы, русла потоков, усыпанные валунами. Саламина

остановилась передохнуть, затем прошла *мимо* меня и скрылась в темноте.

Через некоторое время я наконец осмелился выйти из своего укрытия. Беззвучно, низко пригибаясь, боясь быть обнаруженным на фоне неба, я стал спускаться по противоположной стороне холма. Наконец-то я на свободе!

До школы можно было добраться, минуя поселок, так как она стояла выше поселка, у самой горы, нависавшей над ней. Место было темное и пустынное. Школа занимала лишь третью часть здания. В главной, центральной части помещалась церковь, а на другом конце здания — покойницкая. Всему этому хорошо бы подошла вывеска: «От колыбели до могилы».

Анна была здесь.

После усиленного упражнения в беге я приближался к школе не спеша. Направление, по которому я шел, так ясно говорило об успехе обходного маневра, что Анна, по-видимому, совсем освободилась от страхов, недавно терзавших ее. Она снова смеялась, как и прежде. Мы с легким сердцем, но все же шепотом приступили к объяснениям, которые я давно собирался высказать, выражая друг другу сочувствие и обмениваясь поздравлениями. Трудности объяснения на ее языке — ох, уж этот мой эскимосский жаргон! — не уменьшали трогательности и очарования высказываемого. Это была радостная встреча... Тсс!

Мы стояли затаив дыхание. Кромешная тьма. Полная тишина. Затем мы ясно услышали звук, подобный шороху мыши в тихой комнате, хруст мелкого сланца под ногами, звук осторожных шагов. Хруст прекратился. С быстротой мысли, беззвучно Анна повернула ручку школьной двери. Повернула ее, толкнула дверь и вошла. Я следовал за ней по пятам. Мы закрыли дверь, раздался скрип. Теперь, спрятавшись в передней, мы стояли и прислушивались, затаив дыхание.

Ясно слышались приближающиеся шаги, затихли у двери, потом удалились. Через минуту нам показалось, будто снаружи ходит на цыпочках уже не одна пара ног. Затем мы слышали шепот. В западне — но еще не пойманы.

Позади была другая дверь. Анна открыла ее. Беззвучно я вошел следом за ней внутрь и притворил дверь. Заперся на ключ, торчавший в двери. Это произвело шум.

Теперь по почти нескрываемому шарканью ног и голосам, доходившим до нас сквозь две двери, нам стало ясно, что снаружи ходят не двое: их там гораздо больше. Шум усиливался. До нашего сознания наконец дошло: перед школой собирается толпа.

Мы стояли в тесном коридорчике. Здесь было не светлее, чем в крошечной тьме передней, из которой мы пришли. Наши ноги упирались в лестницу. Одновременно нам обоим пришла одна и та же мысль: мы начали подниматься по лестнице. В потолке был люк. Мы открыли его, пролезли через него, опустили за собой и оказались на темном большом, не перегороженном чердаке. Во фронтоне над школой находилась дверь, а по бокам ее — два маленьких окна; на противоположной стене имелось лишь небольшое, грубо прорубленное под самой крышей отверстие. Через него виднелось звездное небо, но сюда, внутрь, свет не проникал.

Теперь уже не приходилось сомневаться, что вокруг здания толпится половина всего населения поселка. Стая загнала нас в угол. Хотя, видит бог, свидание было исключительно нашим делом и притом абсолютно невинным, мы своим необдуманном бегством в святилище не только возвестили всем о нашем романе, но еще и нарушили обычаи, если не закон. Мы были уличены по всем пунктам. Снаружи не стали немедленно штурмовать нашу крепость. Этот факт сам по себе подчеркивал, что мы дурно повели себя, проникнув в здание: штурмующие ждали разрешения, чтобы войти.

Самуэль, помощник пастора, уже лег, когда пришли за ним. Он вскочил, натянул штаны на свои длинные шерстяные кальсоны, обул камики, надел свитер и выбежал из дому. Не часто помощнику пастора в Гренландии, да и вообще духовным лицам в наше время представляются такие возможности. Распоряжаться? Самуэль обожал это. Толпа расступилась. Самуэль прошел сквозь нее решительным шагом, открыл наружную дверь, вошел. В передней, конечно, пусто. Всем это было известно. Помощник пастора попробовал вторую дверь, которая — мы хорошо знали — была заперта. Тогда он загремел:

— Эй вы, откройте! Спускайтесь оттуда, выходите!

Но с чердака не раздалось ни звука. Можете мне поверить? Я в это время думал.

Дверь во фронтоне находилась над классной комнатой на высоте десяти футов от края площадки, на которой стояла толпа. Выход

наружу был только по лестнице через дверь, которой мы воспользовались, забравшись на чердак. Карабкаясь через ящики, груды сетей и веревок — ими был завален чердак, — я пробрался к отверстию в другом фронте, над покойницей. Бесполезно и думать выбраться через него. Отверстие это сделано для того, чтобы можно было только просунуть руку, в случае если потребуется привязать новую веревку к висевшему снаружи колоколу. Колокол!

Уловка, так же как и способность укрываться от опасности — лучшие средства приспособления к окружающей среде. Самка-куропатка, спрятав своих птенцов, выходит из укрытия, чтобы увести преследователя в сторону. Об уловке не следует забывать, когда борешься за спасение. Моим птенцом, скажем, была Анна: спасти ее и себя!

В куче веревок, валявшихся на темном чердаке, нетрудно было найти кусок толстого шпагата, достаточно длинного, чтобы протянуть его от одного фронта до другого. На это, конечно, понадобилось время. Самуэль внизу бесновался. Ладно, пусть!

Взяв конец шпагата, я взобрался на фронт над покойницей, просунул руку сквозь отверстие и очень осторожно, чтобы не звякнул колокол, надел петлю на его рычаг, затянул ее. Затем я спустился, стараясь, чтобы веревка не натянулась, и чрезвычайно осторожно пошел к другому концу чердака, разматывая шпагат на полу. Беснуйся, Самуэль, беснуйся: у нас все готово.

Даже в такие критические минуты грозящей опасности все же сохраняешь ощущение драматизма положения; великолепно осознаешь необходимость поступать именно так, как ты должен поступить. В моем понимании это представление должно было начаться подобно бетховенской Пятой симфонии: никакого постепенного вхождения в тему. В соответствии с этим я взял другой конец веревки в обе руки и, прыгнув вперед, дернул ее. Начался адский шум. «Бум, дзинь, дзинь, бум!» Я продолжал звонить.

Как только начался звон, толпа ринулась к покойнице. И как бы втянутая в образовавшуюся пустоту, распахнулась наружу дверь нашего фронта.

— Ну-ка, Анна, скорей!

Анна выползла на животе ногами вперед, повисла, спрыгнула.

«Бум, дзинь, дзинь, бум!» — звонил колокол. Теперь моя очередь. Я бросил веревку, выкарабкался, повис на руках, отпустил их.

— Анна, — шепнул я, очутившись в объятиях.

— Да? — сказала Саламина.

Вот как бывает в жизни.

Саламина не была неласкова, когда вела меня домой, крепко держа за руку. Она не была неласкова и дома. Строга, невесела, но нельзя сказать, что неласкова. Невозможно побоями заставить собаку любить свой дом. Моя постель была уже постлана. Саламина стащила с меня сапоги, подоткнула кругом одеяло.

— Покойной ночи, Кинте.

XIV

О Троллемане

Тип этот стал надоедать мне. Конечно, он был замечательным парнем: умел показывать карточные фокусы, умел извлекать китов из океана, как извлекают кроликов из шляпы; умел делать множество разных вещей — причем казалось, что он не делает ничего, — и ничего не делать с сумасшедшей энергией. По существу он делал все напоказ: в его понимании быть начальником торгового пункта значило походить на начальника. Ух, с каким жаром он приветствовал утро — позднее!

— Ладно, ладно, ладно! — кричал он, как будто бы это вознаграждало людей за ожидание.

— Разговаривайте с ними, — говорил он, поучая меня. — Разговаривайте. Они это любят. Неважно, что вы говорите, они это любят.

С бодрым видом он орал чепуху, хлопал мужчин по спине, щипал девушек.

Более суровые стороны своего характера ему следовало бы показывать только в семейном кругу. На рев бешенства, когда кто-нибудь случайно задевал его, горы и люди отзывались смехом. Физическое насилие, хотя он довольно осторожно выбирал объекты, редко кончалось удачно для него. Канут поступил мудро, оставив в покое морскую волну.^[12] Троллеман поступал немудро с людской волной.

Волны людей, каждый вечер заливавшие прибрежную полосу, так строго следовали береговой линии, как будто бы они были подобием морских волн. Толпа текла там, где не было моря. И с той же неизбежностью, с какой море следует всем изгибам суши, эти людские потоки заливали те места, которые врезались в море. Таким выступом в ровной береговой линии Игдлорсуита была пристань, своего рода залив Фанди^[13] на суше, если судить по заливавшему ее приливу. И Канут-Троллеман, дурак этакий, запретил туда вход. Он написал объявление и приклеил его на столбе: «На пристань не ходить».

— Вот так, — сказал Канут-Троллеман и важно зашагал домой.

Наступил вечер, а вместе с ним и вечерний людской прилив. Толпа потекла из домов на берег. Люди шли погулять, поболтаться на берегу, пошвырять камушки в воду, половить рыбешку, погонять камни ногами, побездельничать — просто побыть там. Они шли туда, куда их влекло настроение, и оно приводило их к морю, на самый край пристани. Каждый вечер приливали и отливали эти людские волны. Наконец, затертый бесчисленными спинами, выгоревший на солнце и вылинявший от дождя, приказ совершенно стерся. Людские волны продолжали набегать.

Однажды Троллеман, сидевший у окна за чтением прошлогодних копенгагенских газет, почувствовал скуку, зевнул, опустил газету и выглянул в окно. Прямо перед его глазами на пристани стояли три мальчика. Троллеман взбесился. Он вскочил, вылетел из дому и, прибежав на пристань, заревел громовым голосом, требуя очистить ее. Еще бы! Троллеман в гневе может напугать малых ребят. Во всяком случае, двоих он напугал, и они помчались, как будто за ними гнался сам черт. Но у одного из них, самого старшего, мальчика пятнадцати лет, в воде была удочка или какая-то веревочка. В общем он двигался так медленно, что черт нагнал его.

— Убирайся, я тебе говорю! — заревел Троллеман и набросился на него.

Может быть, гренландцы не дерутся потому, что это люди сильной породы? Может быть, поэтому они не шлепают детей и редко бьют жен? Якоб — мальчик этот был Якоб Нильсен, сын Арона, — за всю свою недолгую жизнь не подвергался такому обращению и не видел, чтобы с кем-нибудь так обращались. Он внезапно почувствовал сильное негодование и отпихнул нападающего. Троллеман, разозлившись, тряхнул его и швырнул наземь, схватил мальчика, когда тот, шатаясь, поднимался, и толкнул с пристани в воду.

Троллеман много распространялся о своей правоте в этом деле и с негодованием отказался уплатить отцу мальчика за порванный и испорченный анорак. Но эскимосское право восторжествовало. Муниципальный совет поселка пригрозил судом, и Троллеман заплатил. Если бы он только не ворошил старое, проявил благоразумие, забыл об этом. Но не таков Троллеман. Он стал ждать благоприятного случая, и, конечно, случай подвернулся.

— Вон отсюда! — заревел Троллеман, увидев однажды в холодную погоду юношей, забравшихся в угольный сарай. — Вон отсюда!

Они двинулись к выходу. Якоб неохотно шел последним.

Троллеман атаковал мальчика и вышвырнул его из сарая. Но сам оказался при этом в руках отца Якоба. Эти руки, большие руки, крепко сомкнулись на шее Троллемана. Они оттолкнули его назад, подняли, тряхнули, как пойманную крысу, и швырнули, будто мешок с собачьим кормом, на кучу угля. Против света, проникавшего с улицы, Нильсены, стоявшие над Троллеманом, казались черными и огромными. Нильсены были крупный народ, и Троллеману, если судить по выражению их лиц и их словам, лучше всего было лежать тихо. Он так и сделал. Опасность миновала.

Но в качестве примера того, как ненадежны исторические свидетельства, как по поводу всякого события всегда найдутся два толкования, я приведу слова Троллемана.

— Я только толкнул его, — сказал он, говоря об Ароне Нильсене, — и он свалился в кучу угля. Я не хотел причинить ему вреда.

Это было разумно со стороны Троллемана, потому что Арон очень силен.

Две стороны, две различные точки зрения. Несомненно, это было основой трений между мной и Троллеманом, которые привели в конце концов к полному разрыву дипломатических отношений. Что такие разногласия часто встречались в жизни Троллемана, было ясно из характерного выражения его лица — не то изумленного негодования, не то негодующего изумления. Я думаю, что в разговорах с ним мое собственное лицо временами выражало то же самое, хотя вскоре я перестал удивляться чему бы то ни было. Но мы были совершенно разными людьми: мы отличались друг от друга, как красный цвет от белого, я был мастер, а он торговец. Я имею в виду не только то, что он управлял торговым пунктом, выдавал бобы в обмен на сало, вел торговые книги; в этом заключалась его работа. И не то, что он с ней хорошо справлялся. Наоборот! Он был слишком торговец, чтобы не извлекать выгоды даже из заключенной им сделки по продаже своего времени за жалованье. Купить дешево — продать дорого; давать мало — получать много. Троллеман жил ради прибыли и гораздо меньше

думал о своих официальных обязанностях, чем о самой ничтожной возможности, представлявшейся ему в Игдлорсуите, нажить деньги.

Я, конечно, попал к нему, как овца на стрижку. Несмотря на презрение, испытываемое рабочим к тому, кто, ничего не производя, торгует тем, что создает рабочий, я и сейчас еще краснею от стыда за почти идиотскую наивность, с которой я, впервые прибыв в Уманак, допустил, чтобы торговец Иохан Ланге с помощью и при поддержке торговцев Нильсена и Троллемана и приказчика Бинцера продал мне семь собак по пятидесяти крон за штуку. Хорошая собака стоила только десять. А каким дураком я оказался в деле с Тукаджаком — тем самым, который работал у меня по найму. Посмотрите, как действовал Троллеман.

— Великолепный работник, — говорил он, — как раз такой вам и нужен. Я с ним поговорю вместо вас.

— Вы будете платить ему, — сказал Троллеман, сообщая об успешном выполнении поручения, — сто крон в месяц (установленная плата составляла одну крону десять эре в день). И вот что, — продолжал он, — у меня есть план. Этот народ ни за что не хочет откладывать сбережения. Они должны откладывать. Вы будете давать половину платы Тукаджаку, мистер Кент, а половину мне. Я буду класть эти деньги на его счет в банк.

Неужели я такой осел, что попался на этом? Да, такой. Через несколько месяцев после того, как Тукаджак был выгнан мной за тупость и полную бесполезность, я узнал, что у него никогда не было счета в банке и он даже не нюхал этих денег. Торговля — любопытное занятие.

Но, чтобы сохранить мою репутацию, давайте перейдем к большой операции по закупке мяса для собак, потому что из этого дела я выпутался не так уж плохо.

Одна из первых потребностей, которую нужно обеспечить для жизни в Гренландии, — это корм собакам. Предупрежденный об этом еще в Дании, я привез с собой из Южной Гренландии солидный запас сушеной мойвы, но далеко не достаточный, чтобы прокормить собак осень и зимние месяцы. Мне нужно было еще мяса, и вскоре после приезда в Игдлорсуит я сказал Троллеману, что собираюсь начать закладывать запас мяса акулы, основного в этих местах собачьего корма. Летняя ловля доставляет его в изобилии.

— Не покупайте сейчас, — сказал он, — сейчас не надо. Оно еще не высохло как следует, и вы за свои деньги не получите полного эквивалента. Подождите. Я вам скажу, когда.

Что ж, совет был хорош. Я стал ждать.

Время шло. Вскоре я заметил, что полки у Троллемана начали прогибаться под все растущим грузом сушеного акульего мяса.

— Покупать сейчас? — спросил я Троллемана, потому что он в то время был и старался быть моим советником по всем вопросам местной жизни.

— Как сейчас? — воскликнул Троллеман, глядя на меня с негодующим изумлением. — Нет, нет, мистер Кент, нет, нет, только не сейчас. Я сказал, что сообщу вам, когда. Подождите.

И я ждал. Время шло.

Наконец, видя, что полки прямо трещат под тяжелым грузом мяса, я решился спросить еще раз.

— Ну да, конечно! — воскликнул удивленно Троллеман. — Как! У вас нет мяса для собак? Да ведь сейчас, мистер Кент, вы не достанете, его нет. Нет, мистер Кент, сейчас вы мяса для собак не достанете. Мясо кончилось.

— Но, — прервал я его, — вы же говорили, чтобы я подождал; вы говорили, что скажете мне...

Он просто задохнулся от изумления и негодования.

— Что? Я вам это говорил? Подождать? Я сказал вам? Ну да, мистер Кент. Я что-то такое припоминаю. Нет, нет, мяса для собак нет.

И действительно, мяса не было. Верьте мне, и сейчас, когда я пишу эти строки, мне стыдно. Проклятый дурак! Я продолжал доверять ему.

Случилось так, что вскоре я поехал в Нугатсиак — торговый пункт, находящийся в двадцати двух милях от нас по ту сторону Игдлорсуитского пролива и Каррат-фьорда. И там, слава богу, оказалось, что у великого хвастливого нугатсиакского торговца с пиратской серьгой в ухе гренландца Павиа Корцена есть для продажи излишек акульего мяса, и продается оно дешево, всего по шести эре за кило, тогда как установленная цена в Игдлорсуите была восемь.

— Я возьму четыреста кило, — сказал я.

— Может быть, там столько и не будет, — ответил он.

— Тогда, все что у вас есть. Скол! (За ваше здоровье!) Павиа! (он любил пиво).

Оставив мясо, чтобы его забрала первая же шхуна, перевозившая товары в поселки, я с легким сердцем отплыл домой.

Конечно, если бы я об этом ничего не говорил, если бы на радостях не разболтал об этом Троллеману, если бы у меня хватило на это здравого смысла, то никаких осложнений не было бы. Но так как здравого смысла у меня не было, то два дня спустя, когда Троллеман попросил у меня одолжить ему моторную лодку для поездки в Тартусак (там была почтовая станция, которую он, как начальник торгового пункта, обязан был каждый год обеспечивать углем и мясом для собак), я сказал: «Конечно, пожалуйста», — и больше об этом и не думал.

Шла третья неделя сентября. Каждый день приплывали льдины из Ринк-фьорда и при первом сильном ветре с севера разворачивались, как маневрирующая армия перед наступлением на Игдлорсуит. А моя моторная лодка стояла с неисправным двигателем, беспомощная перед надвигающимися событиями. Напрасно я просил уманакские власти одолжить мне такелажные приспособления, чтобы в случае опасности вытащить лодку на берег. Они обещали и не прислали ничего. Снова пришла шхуна — такелажные приспособления не прибыли. Очень обеспокоенный, я решил отправиться на шхуне в Уманак, забрать такелаж и вернуться на этой же шхуне, которая пойдет назад через десять дней. Заодно я бы прихватил мясо для собак, так как ближайшим портом, куда должна была зайти шхуна, был Нугатсиак.

Но Троллеман, услышав о моем намерении, стал возражать самым энергичным образом.

— Нет, нет, не надо ездить. Нет, мистер Кент, не ездите. Они пришлют такелажные приспособления. Нет, не ездите.

Вначале я был даже озадачен бурным волнением этого легко возбудимого человечка. Он всегда любил поговорить, теперь говорил без умолку. Он всегда был добродушным парнем, веселым, открытым — «здорово, друг», «располагайся как дома», — а сейчас просто любил меня.

— Ну-ка, мистер Кент, давайте, выпьем. Да, да, вы должны выпить. Заходите!

Валить вину на соседа — неблагоприятная привычка. Перекладывая часть ответственности на Троллемана, я должен признать, что тем не менее сам был виноват в происшедшем, во всяком случае, содействовал наступлению катастрофы.

— Я не могу зайти и выпить с вами, — сказал я, — потому что до отъезда должен поставить свою лодку еще на один якорь. У меня времени в обрез.

— Ну вот, мистер Кент, ну, ну, ну, я бы этого не делал, мистер Кент. Это для лодки совсем не нужно. Давайте, мистер Кент, заходите.

— Держу пари, что второй якорь будет нужен, если начнет задувать. Нет, пустите.

Но он не пустил меня, просто прилип ко мне — таким я стал дорогим гостем.

— Я поставлю за вас якорь, — сказал он, — я его поставлю. Сделаю это, как только ваша шхуна отплывет. Ну заходите же, мистер Кент, заходите.

Я как дурак зашел, выпил с ним стаканчик, два, три, четыре, я не считал. А Троллеман, веселый парень, просто захлебывался от дружеских чувств. Все в порядке, пора на борт, и я встал. Нет, он меня проводит.

— Я вас отвезу на лодке, я хочу вас отвезти.

У Троллемана были плохие отношения со шкипером шхуны. Пока Троллеман, взошедший вместе со мной на борт, изливал на меня остатки своей глубокой привязанности, судно подняло якорь и тихо отошло.

— До свиданья, до свиданья, — плакал Троллеман, не обращая на это внимания, — счастливого плавания, скорого возвращения. Ах, да, кстати, передайте вот это Павиа Корцену; тут кое-какой мой должок. — И он сунул мне в руку запечатанный конверт. — А теперь, счастл... О господи! Да мы отплыли.

Шкипер был непреклонен. Лечь в дрейф, для него! Он расхохотался. А Троллеман, спускаясь со шхуны и отчаливая, едва не опрокинул лодку.

— Не забудьте поставить якорь, — крикнул я.

— Поставлю, — отозвался Троллеман.

В тот же вечер в Нугатсиаке я записывал...

«Великолепие дня, солнце, синее море, золотые заснеженные горы, резкий, холодный, чистый северо-восточный ветер...» Я и сейчас помню красоту этого дня, золотой снег, который я писал, фиолетовые тени на нем, золотое и фиолетовое на фоне бирюзового горизонта неба. Помню ветер, крепкий ветер: моторная шхуна, идя прямо против ветра,

с трудом добралась до Нугатсиака. И как дуло всю ночь! Мы оставались на борту шхуны.

— Это вам от Троллемана, — сказал я Павиа на другой день, передавая ему конверт.

— Мне? — у него был удивленный вид.

Он вскрыл конверт, в нем оказались деньги. Снова удивление:

— Мне? За что?

Я не знал.

— Теперь, — сказал я, — я возьму мясо для собак.

— Оно у вас, — сказал Павиа, — это все, что у меня было. Я так и сказал Троллеману, когда он приехал забрать его.

Мое мясо для собак пошло на создание запаса почтового пункта в Тартусаке.

— Теперь в Уманак, — сказал шкипер Ольсен, отодвигая тарелку и вставая. — Спасибо, Павиа.

И мы втроем пошли вниз, к берегу.

На берегу собрался народ. Только что приплыл человек на каяке. Он переступил через борт своей лодочки, нагнулся, засунул по локоть руку в кокпит, легко поднял каяк и, отнеся его вверх по склону в безопасное место, осторожно опустил на землю. Затем направился прямо к Павиа и передал ему письмо.

— Это вам, — сказал Павиа, взглянув на адрес. Я распечатал письмо и прочел:

Игдлорсуит, воскресенье 20-е 11 ч. утра.

Дорогой Кент! Вашу лодку прошлой ночью прибило к берегу; в ней есть пробоины, но трудно сказать, где и какой величины. Мы останемся здесь и попытаемся вытащить ее, когда будет прилив. Вам следовало бы попросить уманакскую шхуну зайти в Игдлорсуит и забрать лодку в Уманак. Она, наверно, не сможет долго продержаться на воде, а у нас мало времени, и мы должны скоро уезжать отсюда.

Ваш И. О. Б. Петерсон

(Петерсон был канадский геолог, производивший разведку для датского правительства. Он приехал в Игдлорсуит как раз вовремя,

чтобы спасти мою лодку от полной гибели. Спасибо, Петерсон! Он уехал на следующий день.)

Ночь была темная, бурная. Полоса света от фонаря, который держал кто-то, падала на игдлорсуитскую пристань, плясала на бурной воде. В этом свете было видно скопление льда, прибитого к берегу. Моя лодка стояла на якоре, на борту горел тусклый свет. На берегу нас ждала толпа и Троллеман. Они рассказали нам о пронесшейся здесь буре, о том, как пригнало лед, сметающий все перед собой, о том, как лодка стояла беспомощная в месиве льда и волн прибоя. О том, как с помощью лодки Петерсона они оттащили мою, о том, как она стала наполняться водой. Где-то в ней образовалась течь, и теперь она держалась на плаву только потому, что воду непрерывно откачивают.

Я повернулся к Троллеману:

— Вы поставили второй якорь?

— Вот, видите ли, вот как было дело. Ну, я, говоря по правде, — нет, мистер Кент, я...

— А как насчет моего мяса для собак?

А, это другое дело; да, он прямо сиял. Торговец потирал руки.

— Ну, это другое дело, мистер Кент. Видите ли...

— Идите к черту!

Так произошел разрыв, наши пути разошлись. Началась война, которая, вместо того чтобы превратить меня в отверженного, покинутого всеми друзьями, бросила прямо в объятия жителей поселка. Отверженным оказался начальник торгового пункта.

Но в тот момент, когда лодка моя была негодной скорлупой, а я неоперившимся изгнанником из официального гнезда, обстоятельства казались мрачными, как эта мрачная ночь. Меня поддерживало бешенство... и Саламина. Если в прошлом я отклонял ее постоянные предупреждения относительно Троллемана и отвечал на неоднократные жалобы на жульничество, что это не имеет значения, то теперь ее гордое «я ведь вам говорила» доказывало не только ее лояльность ко мне, но как-то давало мне чувствовать, что за ней — и за мной — стоит вся армия ее племени. Я сделал выбор, я примкнул к ней.

— Саламина, пакуй вещи, свои, детей, мои. Мы едем в Уманак!

Было около полуночи, когда шхуна отплыла, буксируя мою моторную лодку. На борту лодки два гренландца и я. Двоих вообще

хватило бы с избытком. Но в момент, когда мы садились, Тукаджак, мой красавец, стоивший сто крон, забастовал.

— Я и еще двое, — сказал он.

— Ты, еще один да я.

— Нет, еще двое или мы не едем.

Вокруг стояла толпа; ожидавшая нас гребная лодка колотилась о ступеньки пристани. Сейчас не время для сцен и споров.

— Ладно. Оставайтесь дома все.

Сытый по горло неприятностями, я спрыгнул в лодку, отчалил. Они чуть не потопили лодку, прыгая в нее. Итак, мы трое стояли на вахте и поочередно откачивали воду всю ночь.

А утром на корме шхуны появилась Саламина, держа в руках бумажный сверток. Сделав веревочную петлю, она нацепила на буксирный канат этот сверток и отпустила его. Он соскользнул вниз с высокой кормы к нам в протянутые руки: наш завтрак.

О Троллеман, о мясо для собак! Так как всякая вещь имеет свою цену, то я объявил в Игдлорсуите, что буду платить по десяти эре за кило, и получил некоторое количество мяса. Поднял цену до двенадцати, и мясо стало поступать в изобилии. Закупив в точности столько, сколько было куплено у Павиа, я прекратил заготовку; этого мне было достаточно. Со временем, рассчитываясь с Троллеманом — за то, за се и за аренду моей моторной лодки, — я поставил ему в счет за лодку, как было условлено, стоимость бензина, масла и обслуживания. Плюс к этому точную разницу между стоимостью мяса, которую я должен был уплатить, считая по шести эре за кило, и той, которую я уплатил.

— Я не буду платить, — визжал Троллеман.

— Как хотите, — сказал я, — если понадобится, я доведу дело до датского короля.

Он заплатил. Душа торговца была безутешна.

XV

Пятнышко

Ежечасно мы переходим от малого к великому. Давайте оторвем свой взор от Троллемана и меня, от Саламины и детишек, от Анны, Мартина, Абрахама, Йорна, Лукаса, Тукаджака, от вопроса о том, платите вы за корм собакам по шести или по десяти эре, от человеческой любви и ненависти, от жизни и смерти людей, от человеческих отношений и обратим его на чистейшую беспристрастность — лик божий. Взглянуть? Чем же мы живы день ото дня, как не этим?

У этого зрелища два атрибута: конечное и бесконечное. Это обширная область деятельности человека, арена его борьбы за жизнь; это неизмеримая бездна, в которую человек изливает свои мысли, стремления, всего себя. Человек *теряется* в ней. Быть может, вся жизненная деятельность человека не имеет иной цели, кроме возмещения того, что, безвозвратно улетучиваясь, восходит к богу. Что происходит, когда улетучивается наша энергия? Что истекает из нас? Художник, поэт ставят себе целью уловить эту эманацию, дать ей реальность, весомость. Тщетно, это невозможно, как невозможно, бодрствуя, видеть сны.

Удовлетворение от самого факта существования, какое мы все иногда испытываем, составляющее для многих нетребовательных людей их будни, представляет собой, может быть, самую совершенную нашу связь с окружающим миром, который мы называем богом. Что мы при этом *думаем* и достаточно ли оформлено происходящее в нас, чтобы назвать это мыслью, — сказать трудно. Может быть, все переживания лежат в области чувства, и только; но, будучи чувственными, они от этого не менее возвышенны. Отдаться бездумно тому, ради чего, благодаря чему мы созданы: солнцу, луне, звездам, их свету — я пишу о Севере, — падающему на покрытые снегом горные хребты, на плавучие горы белого льда, на море; отдаться шуму ветра и волн у берега, *ощущению* солнца, ветра и холода, проявлению всех наших чувств, которые составляют многогранное эстетическое единство. Перестать думать и отдаться всему этому. Если разум все же

хочет действовать, то пусть мысли просто текут как попало, свободно расплываются в воздухе, подобно дыму, и теряются. Мне кажется, что мало кто размышляет о боге. И славу богу.

Есть у бедных жителей Донегола^[14] (возможно, у ирландских сельских жителей вообще) несвойственная нам манера придавать даже самым штампованным выражениям внушительную серьезность. «Как вы поживаете?» — спрашивают они, здороваясь. Надлежащий ответ на это — не безразличное «спасибо, хорошо, а как вы?», но что-нибудь вроде: «Хорошо, только вот вчера немного побаливал зуб. К вечеру стало полегче, и я надеюсь, может быть, сегодня все пройдет».

У гренландцев, насколько я мог заметить, отсутствует формальное приветствие. Человек проходит мимо другого, кивнув ему, а то и без этого. Вообще они скорее склонны молчать, чем болтать о незначительных вещах. Но замечание о погоде для них обязательно. Прежде всего гренландцы, заговаривая о ней, произносят: «Хорошая погода». Слова «хорошая погода» — «сила пинака» — примерно так же выразительны, как ирландское приветствие. В это замечание вкладывается особый смысл. Прежде всего слово «сила» значит не только погода, но все, что под открытым небом, — мир, вселенная. Чтобы перевести это замечание, передать на нашем языке его тон и выразительность, нужно было бы сказать: «Ей-богу, мир прекрасен».

Это правда, даже сейчас, в холодные октябрьские дни. Погода зимняя, морозная, бодрящая. На берегу меньше болтающегося без дела народу. Тень горы накрыла нас и так и останется до марта. Солнце уходит, океан превращается в лед. Величественные картины смены времен года превосходны поразительной красотой.

На берегу маленькие фигурки. Что они там делают, почему бегают? Вот они спускают на воду лодку, набиваются в нее, гребут как сумасшедшие. Два человека отплывают на каяках: гонки? Смотрите! Вон третий показался из-за мыса. Это действительно гонки: он перегоняет их. Гребцы в лодке бешено гребут в сторону моря. Люди взобрались на холм, стоят толпой, куколки на фоне неба, и смотрят. На что? Что там происходит? Достāju бинокль, навожу его на воду. Бинокль сильный, поле зрения у него маленькое. Одно за другим я ловлю: лодку, каяки, один, два, три. Если это гонки, то у лодки нет шансов, она далеко позади. Один каяк намного опережает всех. Куда он направляется? Зачем? Осматриваю водную поверхность в направлении

движения каяка: ничего там нет. Ах, есть! Что-то, почти полностью покрытое водой, темнеет на поверхности. Вот в чем дело: мертвый морж или что-нибудь в этом роде, и люди мчатся наперегонки, чтобы заполучить свою долю добычи. Но что это там? Беловатое, шевелящееся? Да это... Боже мой! Теперь я узнал это трепыхающееся пятнышко. Это — тонущий человек.

В отчаянной гонке люди в каяках и в лодке, не останавливаясь, гребли громадными взмахами, несмотря на то, что им нужно было покрыть расстояние в две мили. Стало ясно, что люди в каяках, сидя низко в воде, правят вслепую, руководствуясь только направлением, взятым на берегу. Они значительно отклонились от правильного курса. Еще несколько ярдов в подветренную сторону, и ведущий каяк прошел бы мимо цели. Казалось, он минует ее, но вдруг, резко повернув, направился прямо к ней! Как призывно прозвучал оклик для тонущего!

Что происходило при спасении, с берега нельзя было видеть: каяки, люди, а затем и лодка для наших глаз казались сплошной шевелящейся массой. И даже когда лодка, отделившись, направилась к берегу, было неясно, удалось ли спасти тонувшего или нет. Как медленно для ожидавшей толпы возвращалась лодка? Кто тонул? Никто не знал!

Вот они приближаются, народ столпился у края берега. Люди расталкивают льдины, чтобы было где пристать. Лодка подходит на низких волнах прибоя и врезается в песок. На корме, меж ног другого человека, поддерживающего его, сидит Давид. Его поднимают, как неодушевленную вещь, и несут в ближайший дом, к Енсу. Давид в сознании: он приподнимает голову и пытается — ему это удастся — улыбнуться. С него снимают намокшую одежду. Как трогательно мало на нем надето! Камики, но без обычных носков из тюленьей или собачьей шкуры; один камик он потерял в борьбе за жизнь. Хорошие штаны из тюленьей шкуры, но нижнего белья нет. Два свитера. Тело у него как лед; десять человек растирают его с головы до ног. Напротив меня Мартин: с его толстого лица дождем каплет пот. Давид с трудом проглатывает ром, который я вливаю ему в рот. Но вот он приходит в себя; мы смотрим, как на его бледном лице медленно появляется краска жизни.

Давид пробыл в воде около сорока минут, лодке понадобилось полчаса на обратный путь. В третий раз он был близок к смерти.

Застрелив тюленя, Давид втопил его в каяк, тюлень лежал позади него. Вдруг крупный тюлень вынырнул по левому борту. Давид вонзил в него гарпун; сыромятный ремень размотался и зацепился. Каяк опрокинулся.

Гренландский каяк, быть может, самая изумительная вещь из придуманных человеком. Это не лодка и не каноэ, а скорее продолжение тела человека, делающее его амфибией: каяк и человек составляют одно целое. Одно целое в самом прямом смысле потому, что в «полной куртке», которую человек на каяке надевает в бурную погоду, он соединен со своей лодкой, привязан к ней. Одежда из тюленьей шкуры с капюшоном плотно завязана вокруг шеи, у кистей рук и привязана за кокпит каяка. Волны перекатываются через гребца, так случается, но вода может проникнуть только через рот и нос. Пусть человек опрокинется, часто бывает и так, но он умеет ловко принять снова правильное положение.

В обычную погоду эскимос на каяке одет в «полукуртку». Это цилиндр из тюленьей шкуры, привязанный к кокпиту каяка и поддерживаемый под мышками ремнями. Кажется, что человек сидит в смотровой башне, высунув из нее голову и плечи. Так был одет и Давид, когда его каяк опрокинулся. Перевернувшись головой вниз, Давид не смог выправить каяк: к каяку был привязан убитый тюлень, а другой, раненый, тюлень метался в агонии на ремне гарпуна, тоже прикрепленном к каяку. Как Давиду удалось спастись, никто не знает; может быть, и сам охотник.

Давид остался жив. Его заставили просидеть этот день дома; на следующий он опять убил тюленя. Таковы гренландские охотники.

XVI

Развлечения

Когда стоишь на склоне прибрежного холма в Игдлорсуите, то открывающийся вид похож на сцену громадного театра. Ровная поверхность моря образует пол этой сцены, огромный круг неба — арку авансцены, два мыса — боковые кулисы. Не меняющиеся декорации — море, горы, льды; освещение — солнце, луна, звезды. Тема бесконечной развертывающейся на этой сцене драмы — безразличие природы к человеческой жизни. Но именно эта тема, внушаемая бесчувственной грандиозностью сцены, лишь углубляет в людях ощущение важности человека для человека. Несмотря на то что человек выглядит таким маленьким на этой сцене, стоит ему только появиться, выйти на сцену, и взоры всех, насколько видит глаз, направлены уже на него. Это пятнышко — событие. Давид, борющийся за свою жизнь, был для глаз на берегу пятнышком. Глаза увидели его.

Глаза видят, что происходит вдали, а глотки провозглашают новости. Возвращение охотника с добычей, поимка белухи, нарвала, моржа, медведя; возвращение охотников за оленями, людей из лагеря на нагруженном умиаке, мужчин, женщин, детей, каяков, собак — все это новости. Прибытие в зимнее время из внешнего мира моторной лодки, шхуны, почты — важные новости! Как грандиозность окружающего заставляет зрительно выделяться живое пятнышко, так долгое однообразие времени усиливает значение событий дня.

Если б дома не были придуманы для защиты человека от стихий, то до них, возможно, додумались бы, чтобы сужать, когда потребуется, окружение человека. Они служат для обеих целей. И подобно тому, как большое пространство иногда становится невыносимым, так бывает и со временем: «чтобы убить его», люди развлекаются.

Мы, проводящие большую часть своей жизни в домах, даже разъезжающие в отапливаемых комнатах на колесах, мы, сделавшие развлечения чуть ли не назначением и целью жизни, воспитали в себе предчувствие предстоящего конца и поэтому вынуждены бежать от его устрашающего лика. Конечно, гренландец, лишенный романтической подкладки нашего мышления, не склонен, как мы, видеть «на усеянном

звездами лике ночи гигантские туманные романтические символы». Мне кажется, у него не бывает таких мыслей. И лишенный их, он может созерцать грандиозность окружающего так же, как дети, не воспитанные на сказках о привидениях, могут выносить темноту. Во всяком случае, ему это нравится. И, может быть, поэтому ни дома, ни развлечения не занимают в гренландской жизни того места, что у нас. Доказательством этому служат отчасти теснота в их домиках и полное отсутствие комфорта. В такие игры, как карты и шахматы, знакомые многим гренландцам благодаря общению с белыми, здесь играют редко, потому что эти люди действительно не нуждаются в них, чтобы убить время. По крайней мере не так уж сильно нуждаются. Их домашнее развлечение — гости. Приходят ли они на кафемик или потанцевать, развлечения представляют собой такое проявление дарований и энергии, что они совершенно несравнимы с нашими играми, вроде игры в карты, когда бесполезно тратится масса времени и сил. Не то, чтобы их дарования стоили многого, на наш вкус, или чтобы в их танцах проявлялось особое искусство — совсем нет. За это они должны быть благодарны мастерам скуки — пасторам. Вместо разгульного общего веселья языческих времен, пиршества с танцами и песнями, нынче у них... одним словом, осталось одно: кафемик.

Прежде всего приходит приглашение: вы слышите, как оно приходит. Оно возится со щеколдой у двери, шаркает ногами в передней, берется рукой за дверную ручку, робко поворачивает ее и медленно открывает дверь. Оно появляется, как мышь, входящая на разведку в комнату, полную кошек. Наконец оно перед вами: с умытым лицом, разодетое. Это маленькая девочка. Едва слышным голосом она бормочет, что сегодня день ее рождения, и приглашает вас на кафемик. Происходит это не в такой час, когда вы хотели бы кончить работать и пойти провести вечер в гостях. Девочка приходит в десять часов утра или в половине третьего, или в полдень — вы как раз собираетесь сесть обедать. Но когда бы она ни пришла, вы бросаете все, что делали, и идете. Прежде всего — подарок; чего ради, вы думаете, они вас приглашают? Подарок — не торопитесь, за год в Игдлорсуите бывает сто восемьдесят дней рождения или около того. Подарок может быть какой угодно: кусок мыла, плитка шоколада, банка сгущенного молока с сахаром, лента, пара варежек, ожерелье из бус — почти любая вещь. Возьмите ее и заверните. Считается, так приличнее. Годится любой

клочок бумаги, лишь бы не очень грязный. Газета? Отлично! Заверните подарок и передайте девочке. Она поблагодарит вас, может быть. Теперь следуйте за ней. Она поведет вас в свой дом. Больше вы ее не увидите. Праздник для взрослых.

Прогнав с дороги в узких сенях несколько собак, вы пробираетесь в темноте, пытаетесь определить ощупью, где дверь. Находите ее, распахиваете и входите. В один из лучших домов, например. Комната-дом в таком случае может быть размером двенадцать футов на двенадцать или даже больше. Вы можете стоять в ней, выпрямившись во весь рост. В доме чисто, ну, достаточно чисто. Пол, нары, стул — если он имеется — все вымыто. Стены и потолок выкрашены, довольно давно, в голубой цвет. Старый комод. На нем коллекция музейных редкостей. На вышитой крестиком салфетке расставлены все имеющиеся в доме безделушки. Грустное зрелище — эти вещицы, эта бережно хранимая жалкая яркая дешевка: выцветшие фотографии в отвратительных рамках, якобы художественные пепельницы, вся эта поддельная, претенциозная заваль, худшее из всего, что выпускают белые. И будто этот комод — алтарь (на нем даже стоят маленькие елочные свечки), над ним висит гнусная хромофотография, низкопробное подражание низкопробной картине Гвидо Рени^[15] — плачущая Магдалина или Христос с агнцем. Эта картина не икона, не символ. Она висит здесь не потому, что ей поклоняются. Хуже — она им нравится. А по обе стороны этой алтарной живописи расположены с геометрической точностью попарно одинаковые «художественные» открытки из остатков старых серий, продававшихся в лавке.

Нары с откинутой вниз, поворачивающейся на петлях доской занимают треть комнаты. В одном углу стоит печь, посередине маленький стол. На столе скатерть, на скатерти три чашки с блюдцами. Не слишком ли много всего для одного дома?

На нарах и всюду, где можно сесть, сидят, а где нельзя сесть, стоят. Когда вы входите, кажется, будто идет деловое заседание; дело, которым люди заняты, по-видимому, молчание. Чувствуется, что это вынужденное молчание, потому что замечания, изредка нарушающие его, делаются вполголоса. Большей частью кто-нибудь из женщин обратится к другой с вопросом вроде: «У тебя красивая вышивка на камиках, а как тебе нравится моя?» Иногда какой-нибудь случай может вызвать негромкий смех или трое-четверо вдруг заговорят

одновременно, но общий разговор — редкость. Однако молчание исполнено добродушия: это милый, любезный народ, всегда готовый ответить вам улыбкой на улыбку.

Пожалуй, кофе начали пить уже довольно давно, так как вся печь уставлена кофейниками, принесенными из нескольких домов. Участие владельцев этих кофейников в празднестве заключается в том, что они жарят сырые кофейные зерна и ячмень, предоставленные хозяйкой дома, и готовят из них напиток. Во всяком случае, для вновь прибывших кофе готов. Готовы и чашки. Их только что сполоснули в миске с грязной водой и вытерли испачканной тряпкой. Хозяйка дома наливает две чашки, нет, три: только что вошел еще один гость. Она наполняет чашки так, что кофе переливается в блюдце. «Ак!» — бормочет она и отходит назад к печке. Вы протягиваете руку, берете чашку и сахар, сколько вам нужно, с тарелки, что стоит на столе. Усевшись, бросаете кусочек сахару себе в рот, наливаете полное блюдце кофе и пьете из блюдца. Кончив пить, ставите чашку и блюдце обратно на стол, садитесь и, как и все остальные, молчите. Тем временем несколько гостей, которые, выпив кофе, высидели положенное время, поднимаются и уходят. Выждав нужное время, вы следуете за ними. Праздник продолжается таким манером большую часть дня. Гости приходят и уходят до тех пор, пока наконец не перебивает весь поселок. Затем, вечером, танцы.

В старое время, когда Гренландия была изолирована от всего света, образ жизни населения, их обычаи и верования представляли собой однородную культуру, в условиях которой желания и средства осуществления соответствовали друг другу (счастливое состояние! Мы заботимся о том, как достичь счастья: ключи к нему — полное соответствие). В те времена каждая вещь имела свое место и подходила к нему. Не могло быть такого положения, чтобы люди хотели танцевать, а танцевать было бы негде. Какие осложнения приносит с собой прогресс! Он научил гренландцев обзаводиться вещами: «плохенькая, да моя», — гласит поговорка. Такой плохенькой вещью стали маленькие конуры. Люди строили их, чтобы сидеть в них и обзаводиться вещами. Прогресс научил их, или пытался научить, добродетели; непристойный сильный танец под пение хора сменился массовым танцем обнявшихся пар. Прогресс научил их целоваться и множеству вещей, на которых мы не будем здесь останавливаться.

Давайте танцевать, но где? Несомненно, в прежние времена миссионеры приглашали наиболее облагороженных эскимосов в дом пастора, где в больших комнатах пастор и дама, его жена, подавая пример хороших манер, обучали проворных людей па европейских народных танцев. Может быть, в то время, как и сейчас, в распоряжение жителей предоставлялось какое-нибудь свободное помещение в здании конторы торгового пункта, чтобы все могли танцевать. Это всегда делается в колониях, в торговых центрах. Но мы пишем не о таких показных поступках администрации. Мы в Игдлорсуите, отдаленном пункте, в производительном центре Севера, где мужчины — охотники, которые стоят на собственных ногах, танцуют на собственных ногах, и где предполагается, что у них есть место для танцев. И, правда, оно есть. А ключ от него у начальника торгового пункта Троллемана. Он несколько прижимист в предоставлении помещения, и прижимистость его зависит от настроения. Никогда не знаешь, как он поступит. В этот вечер он дает ключ.

Внизу близ берега стоит полуразрушенная хижина из дерна с широкой дверью и окном без стекол. Стены из дерна высохли и осели, крыша подперта деревянными столбами. Между дерновыми стенами и застрехой свободное пространство в несколько дюймов. Через эту щель светят звезды, проникают снег и дождь. Эта хижина из дерна, темная, сырая, унылая дыра, — бондарная.

Домишко мал — десять футов на двенадцать. Часть площади занята верстаком бондаря и материалами, еще ровно половина загромождена мешками с солью, наваленными до самых стропил. Нет никакой необходимости держать соль здесь, однако она тут. Из соли сочится влага, образуя лужи на полу. Мокрая грязная площадка в шесть футов на десять в продуваемой сквозняком дыре. Милости просим сто человек, танцуйте, веселитесь! Ужасно, что они в самом деле веселятся.

Легко одетые для танцев в зимние вечера, они набиваются в эту ледяную пещеру и толпятся снаружи. Внутри стоит туман от выдыхаемого пара и испарины; в слабом свете оплывающей свечи блестит пот на лицах танцующих. Протискивайтесь внутрь и танцуйте, танцуйте, танцуйте! Вперед — назад, поворот; раз, два, три, четыре: ноги их выписывают па в четыре такта, отбивают дробь под марш. Танцуйте, играй, гармония! Снаружи сияют луна и звезды; северное

сияние разворачивает прозрачные завесы. Холодный ветер пронизывает вас; ветер, звезды, ночь — как красиво!

XVII

Сторож

Однажды ночью, поздней осенью, когда на земле лежал свежавывающий снег, когда полная луна сияла на небе, чуть затуманенном облаками, разливая яркий свет неземного дня, когда бездыханная ночь утихла, как будто притаившись в ожидании чего-то, молодежь прогуливалась большой компанией по берегу и пела хором. Пение было восхитительно, как сама ночь.

Поздней осенью, ночью, когда резкий северный ветер продувал поселок, с чистого неба сияла луна. Освещенные ее светом высились стройные очертания прибитых к берегу айсбергов. От них на блестящую водную гладь падали черные тени. Внезапно в небе вспыхнули громадные снопы света. Месяц, звезды, северное сияние; беспокойное, освещенное лунным светом море; лед, лед; а вдалеке сквозь светящуюся дымку видны высокие, покрытые снегом гряды гор. Люди, прижавшись друг к другу, чтобы было теплее, стояли и смотрели.

Вечером — в ноябре уже большая часть суток ночь, — когда в сумерках угасал свет, а на южном склоне гряды еще оставался отблеск дня, над хребтом на севере вдруг показалась луна. Ночной мрак сгустился, обдуваемый ветром залив почернел; в лунном свете айсберги сияли, как драгоценные камни. Возшла планета, огромная, красная, и повисла на горной вершине, как фонарь.

Что скажешь, сторож?
Господи, не знаю.

XVIII

Много шуму...

Однажды вечером — погода была ветреная, темно и холодно — я, как обычно, отправился погулять на берег. С трубкой в зубах я шагал по песку. Мне встретились и поздоровались со мной повитуха Марта и Сара, молодая жена юного охотника Бойе. Марта несла на спине годовалого сына. Мы зашагали рядом — вперед, назад, вперед, назад, — пока моя трубка не потухла и я не соскучился.

— Ну, — сказал я, остановившись там, где от берега к моему дому вела тропинка, — пора домой!

Дав таким образом им понять, что желаю спокойной ночи, я направился к себе.

Но мое гренландское произношение в то время было, да и сейчас осталось чудовищным. Поэтому нельзя винить моих друзей за то, что они приняли прощание за приглашение. Когда же я увидел, что они идут за мной следом, у меня не хватило духу прогнать их. А почему бы им действительно не зайти со мной в дом, если им так хочется? «Но, черт возьми, — думал я, — будет невероятный скандал, когда я войду в дом с ними вместе. Саламина, конечно, дома, она была дома, когда я уходил, а ее привязанность ко мне, я думаю, это следует так назвать, стала необычайной».

Итак, поворачивая дверную ручку, я дрожал. Но какова была моя радость, когда, войдя, я увидел, что никого нет.

— Заходите, девушки, заходите! Закройте дверь. Садитесь. Вот мы и дома!

По-видимому, в том, что мы дома, и было все дело. Гренландки довольно молчаливый народ. Сара и Марта с мальчиком на коленях уселись по одну сторону стола, я по другую. Горит лампа, в доме тепло; компания не веселится, но в комнате уютно. В такой вечер и этого достаточно.

Что это? В доме тихо; услышав легкий звук, мы оборачиваемся. В комнату через окно заглядывает множество глаз. Я совершил роковую ошибку, инстинктивно отреагировав на подобное нахальство так, как это сделал бы любой из нас, — задернул занавески.

И пошло! Казалось, будто темнота, раньше довольствовавшаяся созерцанием нас сквозь стекла, внезапно пришла в ярость. Как первый внезапный порыв ветра в бурю, сотрясающий ставни и завывающий под застрехами, прокатился вокруг дома глухой рев: его окружила толпа. Топот, шарканье бесчисленных ног. Было слышно, как толпа трется о стены, толкается в них: заглушенный прибой толпы! Мои гости перепугались.

— Не уходите, милые гости. Успокойтесь, садитесь!

Вдруг открылась и захлопнулась наружная дверь. Быстрые шаги. Распахнулась дверь в комнату. А! Это Саламина с нахмуренным лбом.

Что случилось? В чем дело? Почему она стоит с таким сердитым видом?

— Саламина, — говорю я, — пожалуйста, дай нам кофе.

Должно быть, редко бывает, чтобы из гостеприимства требовалось выгонять вон уважаемых гостей. И все же вряд ли было хорошо удерживать двух растерявшихся, испуганных женщин, чтобы они выпили чашку яду, поданную моей ведьмой.

Да, Саламина повиновалась. Она подала нам кофе, но как! Она толкала стол и стулья, с треском ставила тарелки и чашки, топала по комнате, глаза ее горели. И молчала все время. О нет, она бесновалась.

— Прекрати это, Саламина, прекрати, хватит!

Нет, она продолжала бесноваться.

— А что, — вставил я наконец в ошеломляющий поток ее слов, — что, если позвать сюда Мартина, Петера, ну и... Бойе?

Какое отношение к происходящему имели Мартин и Петер, кроме того, что оба они раньше добивались ее руки, я не знаю.

Но, да, Бойе она согласна.

— Отлично, сходи за Бойе.

И действительно, Саламина ринулась исполнять это поручение. Гости мои ухмылялись. Становилось весело.

Что именно было передано Бойе, я не знаю, но приглашали его срочно прийти. И он скоро пришел. Вид у него был дикий и отчаянный, такой же, как и мой призыв. Я приветствовал его с жаром, он казался удивленным.

— Садитесь, — сказал я, усаживая его рядом с собой. — Саламина, еще кофе!

Бойе через стол напряженно, вполголоса заговорил с Сарой. Он был взволнован, рассержен, но сдерживался. Я восхищался его выдержкой. Бойе взял чашку кофе, но отказался от предложенной мной сигареты. Я положил перед ним сигару, но он к ней не притронулся. Наступило молчание. Саламина шагала по комнате. От этого было ничуть не легче! Шаги Саламины, толпа за стеной, тяжелое, невыносимое молчание. Но как прервать его? Как? Конечно, сладостными мелодичными звуками, музыкой — гармоникой и флейтой.

Я положил губную гармонику перед Бойе и стал просить его сыграть. Грустная улыбка появилась на его трагическом лице.

— Нет, — сказал Бойе. — Нет, незачем.

Снова наступило молчание.

Ребенок Марты, наливший уже на пол и ей на колени, начал капризничать и плакать. Под прикрытием этого меланхолического шума, когда внимание было сосредоточено на кормлении младенца, я рискнул настроить инструмент; начал играть. О серебряная флейта! Ты мало услаждала слух людей, и все же у тебя были моменты торжества. Такой момент наступил. Сидите, гости, погружившись в мрачные думы. Шагай, старая скандалистка. Молчите все, думайте, что хотите, но слушайте. Я играл, как будто моя жизнь держалась на тоненькой ниточке мелодии. Что я играл? Неважно что; я играл. Уши любят то, к чему привыкли. Я играл для них, играл вещи, которые они знали: «Дом, милый дом», «Ближе к тебе, господи», «Ах, мой милый Августин», «Встретимся ли мы за речкой», «Мне надоело жить одному». (О ирония слов последней песни!) Я играл, не смея остановиться. А когда мой репертуар таких вещей истощился, я с отчаянием стал рыться в своей памяти и извлек из ее глубин «Сон Эльзы» и «Грезы». Вдруг Саламина, чтобы снова обратить на себя свет прожектора, кинулась к задернутым занавескам, как будто она раньше не замечала этого ужасающего неприличия, и отдернула их. Я прервал «Милую, желанную луну» и снова плотно задернул их. Бешеный протест Саламины я задушил «Садом роз».

Тем временем Сара начала ублажать Бойе, показывая ему фотографии, которыми в начале вечера я занимал ее и Марту. Среди них была и моя фотография, ужасная, но Саре она понравилась.

— Хорошо, — сказал я тогда, — это будет Бойе от меня.

Теперь Сара отыскала ее.

— Вот эту, — сказала она, — Кинте подарил тебе.

Бойе, до сих пор не отвечавший ей ни слова, протянул руку, взял карточку, посмотрел на нее. «Сейчас, — подумал я, — он порвет ее», и заиграл веселую песню. Бойе посмотрел на фотографию, затем положил ее. Снова взял, долго глядел на нее, положил рядом со своей шапкой. Он принял подарок. Я перешел снова на «Ближе к тебе, господи». Бойе спокойно взял губную гармошку и стал играть. Потом играла Марта. Мы играли, а Бойе пел. Один гренландец, кажется помощник пастора или пастор из Годхавна, увидел во сне ангела, который стоял перед ним и пел. Мелодия и слова ангельской песни были так трогательны, что он проснулся и записал их:

«Гутерпут кутсинермио налагнарассингардле нуна
эркигссинекардле!»

(Слава в вышних богу, и на земле мир!)

Этими словами начиналась песня; а мелодия ее такая:



Может быть, этот ангел был Шуберт, который сделал на небе то, что не успел сделать на земле.

Бойе пел эту песню. Мы играли. Мир сошел на землю, и вечер окончился благополучно.

XIX

Люди

Очень много лет тому назад я ехал в гости в деревню. Последний отрезок пути предстояло проделать на лошадях. Меня встретил мальчик с коляской. Мы поехали. Вскоре проехали мимо домика с треугольным фронтоном, заросшего, видимо, выющимися бобами. Домик казался особенно очаровательным. Мне почему-то представилось, что он служит кровом милым, счастливым, культурным людям. Я воскликнул:

— Смотри! Вон тот дом, кто живет в нем?

Мальчик посмотрел на меня так, как будто я внезапно помешался, и сказал:

— Кто? Да простые, обыкновенные люди.

Это была отповедь, какой заслуживаем все мы, когда позволяем себе глядеть на окружающее глазами туристов.

Турист видит различия и преувеличивает их. Он замечает покрой платья, особенности прически. Он наслаждается живописностью и своеобразием, питается новизной. И, сосредоточив внимание на созерцании экзотических подробностей, подает нам во имя науки картину огромного несходства людей. До чего только не доходят люди, стремясь найти значительный смысл в мелочах!

Нетрудно заметить, что гренландки часто сидят, вытянув ноги вперед, или иногда с ногами забираются на нары, на стол, на скамью.

— Мне объяснили, — рассказывал один путешественник, — что женщины делают это из суеверия, будто бы под нарами прячутся демоны.

Почему ему не пришло в голову, что, может быть, женщины испытывают неудобство от жесткой шкуры сапог, образующей складки под голыми коленями? Или почему он не замечает, что ярко-красная краска, покрывающая сапоги, трескается там, где на коже получают складки? Что женщины стараются, чтобы красивые новые камики оставались новыми и ровными и не теряли формы? Или что пол холодный, а из-под нар дует?

Беда в том, что мы, считая несомненным рациональный характер всех наших поступков, даже когда они не рациональны, склонны

находить неразумными и странными, требующие объяснения, не похожие на наши обычаи других народов. И вот, прямое следствие всего прочитанного нами о нравах и табу, мы приступаем к самостоятельному изучению их, мало чем вооруженные против непонимания. Мы приближаемся к нашей цели, к сердцу, разуму, душе нашего брата по далекому кружному пути, начинающемуся от его манеры держать себя за столом.

Сделав такое вступление, надеюсь, я теперь могу сознаться, что я не интересовался выходкой Саламины как выражением свойственного якобы примитивной женщине представления о праве собственности на мужчину, а считал все это доказательством того (впрочем, я не нуждался в доказательствах), что она просто обыкновенная женщина. И при подведении итогов, которое вскоре последовало, я вел себя не с бесстрастной сдержанностью хранителя музея, но громогласно, напыщенно, гневно демонстрировал оскорбленное мужское достоинство. И, конечно, это подействовало. Мы жили замечательно!

Возьмем, например, наши вечеринки, которые мы еженедельно — или даже чаще — устраивали для ограниченного круга нашего общества, состав которого определила Саламина. Я считал разумным положиться на ее знание людей своего народа и, во всяком случае, должен был из осторожности по своему выбору не включать в число гостей ни одной женщины. Итак, все решала Саламина. В полном соответствии с ее характером и вкусами, с ее снобизмом выбор пал на «местную аристократию». Нашими друзьями стали лучшие люди и их благородные жены. Я должен благодарить врожденный здравый смысл Саламины за то, что избежал многочисленных ловушек, связанных со случайной дружбой. Перечислить членов нашего круга — значит, составить список игдлорсуитского общества.

Нашими самыми лучшими, самыми близкими друзьями, с которыми мы раньше, чем с другими, установили теплые отношения, были Рудольф и Маргрета Квист. Торговцы в Гренландии считаются самым высоким по происхождению сословием. Выше их стоят, может быть, только незаконнорожденные потомки важных датчан: таковы пэры Гренландии. И Рудольф, и Маргрета были пэрами, так как отец Рудольфа был по профессии бондарем и одно время торговцем, а мать — дочерью старого датчанина Нильсена, занимавшего некогда пост начальника торгового пункта в Игдлорсуите. Маргрета же была не

только дочерью торговца, но и сестрой Иохана Ланге, самого хитрого из торговцев округа Уманак. Хорошая кровь: как ни странно, это было в них заметно. Рудольф красив, с прекрасными темными серо-синими глазами под густыми бровями, широкоплеч, строен, высок. Держался он сдержанно и гордо. Рудольфу принадлежали две сети на китов и двенадцать собак, первая упряжка в поселке, а возможно, лучшая во всем округе. Дела Рудольфа процветали. Он работал бондарем при торговом пункте. Маргрета не выделялась красотой, но она умела держаться и обладала внушительной фигурой. У нее был тройной подбородок, и, когда она сидела, живот ее лежал двумя валиками, подобным спасательным кругам. Маргрете не нравилась ее полнота, но она смеялась над ней. Она хорошо одевалась, хорошо вела хозяйство, все в ее доме содержалось в порядке и чистоте.

Об Абрахаме Зеебе я уже говорил. Он тоже был внуком старого торговца Нильсена, маленького черноволосого датчанина, у которого от жены-эскимоски родилось целое племя рослых мужчин и женщин Игдлорсуита. Жена Абрахама, Луиза, — сестра Рудольфа и двоюродная сестра собственного мужа. Смотреть на нее было приятно, танцевать с ней легко, но разговаривать невозможно: она была непроходимо глупа.

Были еще Хендрик, брат Рудольфа, и его жена Софья, приходившаяся ему двоюродной сестрой. Рудольф разговаривал иногда, Луиза редко, Хендрик никогда. Низкого роста, он отличался невероятной силой, проявлял способности ко всему, включая обзаведение детьми. Но Хендрик принадлежал к тем, кто преуспевает. В Гренландии очень многое зависит от того, как ведет хозяйство женщина, а Софья не только постоянно рожала детей, но была еще хромой. На мой взгляд, это была самая очаровательная из игдлорсуитских женщин, возможно, единственная очаровательная, не так красива, как именно очаровательна.

К числу наших друзей принадлежали и мать Софьи, Элизабет, и ее муж Ионас. Элизабет, дочь старого Нильсена, обладала мужским телосложением, ростом и таким характером, какой нам нравится считать мужским. Характер этот за сорок лет вылепил черты ее, врезался в складки и морщины обветренного лица. Крупная, костлявая амазонка с прямой, как доска, спиной; Ионас обожал ее. И она могла гордиться тем, что ей принадлежит самый красивый парень в поселке. Хороший человек Ионас и джентльмен. Впервые прибыв в Игдлорсуит,

я воспользовался с согласия муниципального совета свободным в то время домом Ионаса и устроил там склад своего имущества. Ионас и его семья вернулись неожиданно рано и нашли свой дом занятым. Ионас сразу же пошел ко мне.

— Я пришел, — сказал он, — поблагодарить вас за то, что вы воспользовались моим домом. — И, не позволив мне убрать вещи, отправился с семьей жить в другое место.

Северин Нильсен не был похож на гренландца. Он так поразительно походил на одного моего американского друга, что как-то вечером на прогулке я подошел к нему и просто для компании привел к себе домой. Достав виски, налил ему и себе по стаканчику и, выпивая, сказал:

— За твоё здоровье, Джек!

Он был мал и худ, внешне приятен и чувствителен в высшей степени. Женой и двоюродной сестрой его была Саламина, сестра Рудольфа. Живая, веселая, разговорчивая, очаровательная, бойкая маленькая женщина, она нарушала обет молчания семьи Квистов.

Еще заходил к нам Мартин, но, увы, без жены, ее у него не было. Он был стойко и грустно предан моей Саламине и вследствие этого странным образом и мне. Лицо Мартина — как полная луна, улыбка — как восходящее солнце, а слезные железы — как Ниагарский водопад. Не один раз мы видели, как он при неудачном упоминании о его безнадежной любви вставал из-за стола и выходил, чтобы скрыть от нас слезы, которые не мог удержать.

Наш дом был действительно приспособлен к приему важных гостей, потому что после здания конторы Троллемана это несравненно лучший из всех остальных домов в поселке. Прежде всего он деревянный. Это производило сильное впечатление на жителей, которые, как и все люди, предпочитали мерзнуть в приличном доме, чем находиться в тепле в другом месте. Дом наш холодный, но во многих отношениях удобный. В нем было так много места для хранения вещей, что главная комната оставалась незагроможденной. Внутри дом выглядел очень милым, веселым. Розовые стены, оконные занавески и альков синие, а занавеси алькова пурпуровые. Вся мебель была изготовлена на месте; грубая, основательная, неказистая и удобная, она придавала комнате уютный непринужденный вид, и гости чувствовали себя в ней свободно.

Мы принимали гостей не так, как они привыкли. Им было бы неинтересно есть вареные тюленьи ребрышки прямо из кастрюли или же, придя разодетыми, как на торжественный прием, увидеть те же обычаи, что у себя дома. Наши гости, входя, видели длинный стол, накрытый белой скатертью, ярко освещенный лампами и свечами, сверкающий серебром (или тем, что сходило за него), стеклом и фарфором, ломящийся под тяжестью хорошей еды. Они входили — как они входили? Ну застенчиво, не зная, конечно, как себя вести. Но не волнуйтесь, оставьте их просто в покое. Не забывайте об их неуверенности в себе и подавайте пример того, как нужно вести себя. Усаживайте их:

— Луиза, сюда! Маргрета, садитесь здесь! Вы, Рудольф, в конце стола! София, рядом! Теперь, Саламина, передавай тарелки — мне, сначала мне...

Это очень важно: надо подать пример. Они следят за каждым моим движением.

Когда все наедятся досыта, стол отодвигается и превращается в стойку бара: на нем расставляется пиво. Начинаются танцы; они продолжаются, пока не кончится пиво. Время не дорого в темные ноябрьские и декабрьские дни: работы нет, делать нечего. Море — не вода и не сплошной лед: бушуют штормы. Долго спать, редко есть, гулять и танцевать — таков порядок дня. Мы танцуем. Каким-то образом благодаря еде, пиву, свету от лампы, уютной комнате, массе людей, жаре, духоте, табачному дыму, испарине, непрестанному ритму гармонии, головокружительному движению в танце, а больше всего благодаря открытому, беззаботному, веселому, добросердечному характеру наших гостей мы веселились на редкость хорошо.

И когда наступал серый рассвет и мы перед расставанием стояли на склоне горы, ощущая прикосновение чистого, холодного утреннего воздуха к нашим разгоряченным лицам, всем нам приходила в голову мысль: как хорошо! Мы обнимали за плечи друг друга, нам не хотелось расставаться.

Спокойной ночи, дорогие друзья!

XX

Слезы

Что ж, возьмем наши вечеринки: кто их устраивал? Благодаря чему я мог спокойно сидеть вот так, как сидел? Стоило мне постучать костяшками пальцев по длинному самодельному дощатому столу и крикнуть: «Столик, накройся!», как он действительно, будто чудом, оказывался покрытым едой. А затем, поев и угостив гостей, крикнуть: «Столик, приберись!», как столик тотчас же оказывался прибранным, мусор подметенным, комната превращенной в зал для танцев. Кто следил за тем, чтобы наши стаканы всегда были наполнены? Кто подавал сигары, прислуживал гостям, опорожнял пепельницы, смотрел за порядком, делал до последней мелочи все, что нужно было делать? Кто же, как не Саламина. Все хлопоты, связанные с приемом гостей, начиная от подготовки к их приему и кончая уборкой после их ухода, все, от мытья полов утром до мытья их на следующий день, — все лежало на ней. И как она все делала! С какой точностью и ловкостью, с какой неослабной энергией, с каким совершенством! Не как служанка, а как хозяйка дома, не поглощенная целиком работой, а умудряясь как-то и работать, и обедать, и танцевать. Спасибо за эти дни веселья и пиву, и еде, и тому, и сему, но главное спасибо Саламине. Абрахам, выражая мысли всех жителей Игдлорсуита, обращаясь от их имени к виновнику счастливых дней, сказал, пожимая мне руку:

— Спасибо, Кинте, за то, что вы привезли в Игдлорсуит Саламину.

Да, работать она умела. Взгляните на нее: прямая, как тростник, сильная, как бык, гибкая, как кошка. Руки у нее были шероховатые, загрубевшие. Когда она сгибала руку, то мускулы вздувались, как бейсбольные мячи, круглые, крепкие. Эскимоски скроены для работы, во всяком случае некоторые из них. Для таких женщин в работе вся жизнь. О них не думаешь как о слабом поле, кажется, им не должно быть свойственно понимание тонкостей. Трудно судить об этом.

Однажды, не помню по какому делу, к нам в дом пришла эта несчастная Карен, и я отругал ее за одну из ее мелких, низких, тайных проделок, за какое-то жульничество, ставшее возможным благодаря моему хорошему отношению к ее мужу Давиду. Как следует отчитав ее,

отправил домой. Саламина почувствовала, насколько отвратительна эта сцена. Она накрыла стол, мы поели. Она была очень молчалива. После ужина Саламина перешла на мою сторону, села рядом и положила руку мне на плечо. Немного спустя заговорила:

— В двадцать седьмом году умер мой муж. Это было ужасно. И двадцать восьмой был плох, а двадцать девятый немногим лучше. В тысяча девятьсот тридцатом я жила спокойно, и в моей жизни не было мужчины. В тридцать первом приехал в Уманак Кинте, попросил Саламину поехать в Игдлорсуит и жить в его доме. В тридцать втором Кинте уедет в Америку и никогда не вернется в Гренландию. И я не перенесу этого, потому что больше ничего не будет в моей жизни.

Я прижал голову Саламины к своей груди, и слезы ее потекли по моим рукам.

XXI

Саламина

Тридцатью милями дальше, за Уманаком, в глубине Уманак-фьорда стоит маленький поселок Икерасак. Как большая часть поселков в округе, Икерасак расположен на острове и, подобно Уманак, лежит в тени горного пика, вроде Уманакского, но поменьше. Маленький поселок, маленький пик; здесь правил, как король, маленький человек. Королем может быть совсем маленький человек, потому что преклонение вызывает королевский титул — всем американцам это известно, так как они отводят газетные шапки самым незначительным величествам.

Этот маленький человек благодаря своему острому уму, охотничьей ловкости и умению править собаками, благодаря власти, которой он пользовался как начальник отдаленного торгового пункта, своему королевскому гостеприимству, дружелюбному обращению с людьми и щедрости и благодаря собственному убеждению, что играло не последнюю роль, в своем происхождении от викингов — этот человек был почти настоящим королем. Происхождение его, от кого бы он ни происходил, имело значение. Мужчины из этой династии стояли у власти, девушки благодаря красоте и душевным качествам вступали в связи с видными датчанами. Их остролицые потомки сейчас составляют местную аристократию округа. Мы говорим, кровь много значит, но убеждение, что она много значит, имеет большее значение. И это убеждение маленького короля полукровки наконец в старости окрепло так, что он поднял норвежский флаг над крепостными валами своего замка со стенами из дерна. Сумасшедший? Да, немножко. Но как ни суди, это было очаровательное безумие. И хотя реквизиция властью короля королевских складов (складов датского короля) привела в конце концов к потере трона, он продолжал жить, окруженный до самой смерти любовью и почетом. Память о дяде Енсе будет жить долго.

Еще важнее происхождения дяди Енса было то, что он играл на скрипке и играл хорошо, что он исполнял песни Шумана и немецкие народные песни и менуэт Бетховена, что у него дома стоял хороший старый кабинетный рояль, и дядя Енс немного играл и на нем, что он

был тонким ценителем искусства. Это чувствовалось сразу, когда вы встречались с ним, разговаривали с ним, бывали у него дома в гостях. Короче говоря, он был джентльменом в самом настоящем смысле этого слова. И когда маленькая племянница его жены, Саламина, приехала к нему в гости из Караяка, поселка в глубине фьорда, она попала в более совершенную обстановку, чем ее домашняя — в общем хорошая, но бедная.

Маленькая Саламина сама происходила из семьи, какая даже в Гренландии считается хорошей. Она была дальней родственницей дяди Енса, дочерью человека, бывшего одновременно хорошим охотником и помощником пастора (редкое явление). Семья ее принадлежала к той счастливой части населения, которая, живя в отдаленных пунктах, смогла усвоить некоторые хорошие стороны датской культуры, не став жертвой пороков метрополии. Все это действительно много значит. Еще большее значение имело то, что у отца Саламины ненадежные средства к жизни, добываемые охотой, подкреплялись небольшим, но твердым окладом школьного учителя: Саламина ела досыта. Крепкая и сильная девочка переходила от игры в домашнее хозяйство с изготовлением пирогов из песка к беготне с мальчишками и командованию ими. Она была настоящим сорванцом, стреляла из лука в северных овсянок, подползая к ним, когда они перелетали с одного валуна на другой, стреляла, промахивалась и снова стреляла. Саламина лазала по скалам и бродила по горам. Как и другие гренландские дети, она вела свободную, ничем не стесненную жизнь. Случалось, набивала себе шишки, но не плакала. Так полагается в спартанской Гренландии. Она работала. Зимним утром, холодным и темным, мать расталкивала ее и, прерывая сны, будила:

— Вставай, вставай, растапливай печь!

Саламина встает, босая, позевывает. Ей десять лет.

Одетая как мальчик — в кожаные штаны и анорак, — она сопровождала мать в горы, где собирала в кустарниках хворост, тащила домой вязанки, шатаясь под их тяжестью. Это ежедневная работа в течение всего лета и ранней осени. А когда выпадал снег и белые куропатки в поисках пищи спускались с гор, Саламина брала отцовское ружье и в мужских штанах ходила на холмы охотиться. Да, она умела стрелять: убивала чаек, куропаток. Она даже застрелила нескольких тюленей — только на льду. Однажды Саламина попробовала плавать в

каяке: уселась в него, ее оттолкнули от берега. И тут, в панике бросив весло, начала кричать, схватилась за края кокпита и опрокинулась. Она все же была девочкой, хотя и носила брюки. С собаками Саламина управлялась хорошо и в светлые дни в конце зимы правила санями наравне с самыми искусными мужчинами.

Поездки в Икерасак всегда доставляли ей большое удовольствие. Большой частью они ездили туда в зимнее время, бесшумно скользя по гладкой, покрытой снегом поверхности замерзшего фьорда, на запад по слепящей глаза солнечной дорожке. Езда на санях! Весь мир сверкал белизной, небо было такое синее, такое прекрасное! А когда приезжали на место, то попадали в чудесный, просторный пятикомнатный дом из дерна со множеством вещей внутри! И дядя Енс, и Николена! Они обожали ее.

Енс наплодил множество сыновей и дочерей, в доме всегда было полно детей. Саламина, которая была младше их всех, стала общей любимицей. Шоколад дяди Енса, которым ребенок пачкал себе рот, стирала мокрой тряпочкой Николена. Это была ее обязанность — исправлять балованного ребенка. Важная дама! Она следила за тем, чтобы все шло по правилам: работать, ходить в чистом платье; вечером быть дома, не шляться, не флиртовать. Шоколад вытирался не только с губ. Один раз девочка, не довольствуясь тем, что съела, засунула шоколад за высокое голенище камика и побежала играть. День был жаркий, во время игры она совсем забыла про контрабанду в камике. Когда Саламина разделась перед сном, на ее голую ногу стоило посмотреть.

По мере того как Саламина подрастала, переходя от детства к девичеству, она все чаще и дольше жила в этом доме как член семьи, помогая по хозяйству. Их образ жизни стал ее собственным. Сноровка и взгляды Николены, ее требования совершенства во всех хозяйственных делах перешли к девочке и сохранились у нее на всю жизнь.

Можно сказать, что Николена обучала ее только читать и писать, этим мальчишеским занятиям, все же остальные знания Саламина впитала незаметно. Знания приобретаются легко, если отсутствует принуждение. Они усваиваются, как пища, как материнское молоко, в меру способности или потребности ребенка. Знания приходят сами собой, как чувство равновесия, как умение говорить. Все то, о чем мы пишем книги, о чем говорится в книгах, о чем умалчивают в книгах,

советы девочкам, советы мальчикам, советы новобрачным, советы, советы — все это гренландский ребенок просто узнает сам походя. Какие мы, оказывается, дураки! Семья живет в одной комнате. Жизнь, можно сказать, как на ладони. Тот, кто живет в таких условиях, узнает жизнь. Знание ее будет расти с ним вместе. Гренландский ребенок воспитывается на действительности и на ней строит свои игры. Какому ребенку понадобится кукла, если есть младенец, с которым можно играть в дочки-матери? Саламина растила свою маленькую сестру, когда та появилась на свет, одевала ее, раздевала, таскала на руках. А будь это кукла, она бы давно уже надоела Саламине или же от долговременного употребления у куклы отломались бы в суставах ноги или приклеенная голова. Младенец подрос и стал подругой в играх.

Саламина любила сестричку, все ее любили. С каждым годом сестра становилась красивее, все знали ее, все говорили о том, какой она будет красавицей, когда вырастет. Она росла так быстро, годы летели! Скоро уже ей исполнится девять лет. А какой аппетит у растущих детей, хороших, здоровых растущих детей! Она наедалась дома досыта тюленьим мясом, потом отправлялась к соседям и там снова ела кашу; соседи были добрые люди и много с ней возились. Они часто варили кастрюлю каши из овсяной муки, и Иов, съев свою порцию, постоянно оставлял тарелку с ложкой. (Бедный Иов! Он все болел и умер внезапно. Доктор сказал, что от туберкулеза.)

И на той самой постели, на которой Саламина родилась, на общей постели семьи, умерла ее маленькая сестра. Сказали, от туберкулеза. В Гренландии дети растут со смертью в груди.^[16]

Саламине было только двадцать лет, когда умер ее отец; в том же году умерла и мать. Как будто они слишком привыкли жить вместе, чтобы вынести разлуку. Пройдя всю жизнь рука об руку, они разделили и общую болезнь — туберкулез.

Брат Саламины был уже женат и давно переехал в Икерасак! Теперь и Саламина отправилась жить к дяде Енсу и Николоне. И было во всех отношениях очень хорошо, когда она, сблизившись со своим двоюродным братом Фредериком, вышла за него замуж, став таким образом по-настоящему членом семьи.

Дядя Енс был не таков, чтобы пренебрегать образованием детей. Культурный уровень и европейские связи семьи определили его склонности. Естественно, он хотел, чтобы сыновья его шли по тому же

пути. В этом состоит прогресс, так говорят им в Гренландии. И благосклонная администрация содействует прогрессу, открывая училища и средние школы, где из первоклассных охотников готовят третьесортных служащих и ленивых помощников пастора.

Возникает подозрение, что доходы людей этого класса, от мелких служащих до банкиров, представляют собой результат божественной справедливости, вознаграждающей их за то, на что обрекло их безумие общества. Как бы там ни было — вот вам Фредерик, служащий в Уманаке, с обеспеченным на всю жизнь местом и твердым окладом, с ним его жена, Саламина. Они вступают в жизнь, устраиваются. Он уравновешенный, спокойный человек.

— Если случались нелады, — рассказывала мне Саламина, — то виновата была я. Он всегда оставался одинаков, всегда добр.

Пошли дети. Сначала Регина, потом Фредерик, потом маленькая Елена, сейчас живущая с нами. Брак принял свою окончательную форму, обрел свою сущность — возникла семья. Вот теперь, могли бы мы сказать, жизнь начинается. Для Фредерика она скоро кончилась. Он умер от туберкулеза вскоре после рождения третьего ребенка.

Во всяком случае, для Саламины началась новая жизнь.

— В чем дело, Саламина?

Саламина, сидящая рядом со мной под лампой, опускает свое шитье и смотрит на меня странным взглядом.

— Саламина айорпок? Саламина плохая? — спрашивает она меня на своем жаргоне. Каким чудом она узнала, что я сейчас пишу о ней!

— Нет, — говорю я со смехом.

Она улыбается и снова берется за шитье.

XXII

Футбол

Ну, Мартин, пас, давай!

Маленький мешочек из тюленьей кожи, набитый травой, летит ко мне. Я бью по нему на бегу: удар, я скольжу, поскользнулся, хлоп! Падаю задом на твердый лед. Встать, встать на ноги и догнать мяч! Вокруг мяча борется плотная кучка. Врезаюсь в нее. Удар, удар, удар по моей ноге. Упал, опять встал. Бей головой, толкай, давай подножку, хватай руками — никаких правил игры, просто борись. Петер скользит молнией, Нильс ревет, как лев, Паулус стоит, как башня из замерзшего дерна: налетай на него! Сильные, проворные парни.

— Принимай, Самуэль!

Но Нильс с ревом несется на него. Ах, так? Ты, помощник пастора! Боже мой, смотрите на Нильса! Он хватает проповедника и бросает себе на плечо, как мешок с тюленьим жиром. Он бежит с ним в конец поля, проповедник болтает ногами в воздухе. Мяч у Нильса. Боже мой, смотрите на Нильса! Гол!

Сумерки, середина дня. На севере полная луна. И время от времени глупый мешочек с травой пролетает на фоне луны, как будто мальчишки швыряют камнями в небесное окно.

XXIII

Старое время

На, Олаби, передай!

Олаби с очаровательной, довольно приторной улыбкой жеманно берет у меня полную до краев чашку и передает ее своей матери. Она сама не может есть: бедняжка вот уже несколько недель прикована к постели. Это несчастье быть прикованным к постели в таком доме, в низкой, тесной берлоге, черной от грязи. Олаби элегантен, но в качестве «прислуги за все» он не придает элегантности дому. На полу около растрескавшейся старой печи лежат кучи золы, кастрюля покрыта слоем грязи. Впрочем, и сам Олаби не слишком чист: ему не мешало бы побриться, помыться. Не то, чтоб он не знал, что чистота — достоинство; на его художественных вышивках и кружевах, показанных нам, ни единого пятнышка. В эту работу он вложил душу; может быть, душа его безукоризненно чиста.

Шарлотта пьет из кружки и ставит ее на стул.

— Ая, ая, ая, ая, куя, куя, — выводит она старческим надтреснутым голосом. Она весело орет и закатывается в приступе астмы.

— Куя, куя, куя, — снова поет негибкая старуха. У нее, полумертвой от астмы, сердечной болезни, туберкулеза и бог знает от чего еще, больше душевной силы, больше умения радоваться жизни, чем у любого из жителей поселка. Она это знает, демонстрирует, выставляет напоказ — обломок старины.

— Куя, куя.

Она раскачивается всем телом, мотает головой; внезапно останавливается, яростно затягивается трубкой с обгрызенным мундштуком; раздражается хохотом и валится в приступе кашля.

Так, старушка, пусть разорвутся легкие, пусть лопнут бока; ори, наслаждайся, задохнись и умри. Ты уже пережила всех.

Мы были очень дружны, эта согбенная старуха и я. Мне нравились ее рассказы, она выкладывала их мне. Ей нравилась моя болтовня, я «заливал» ей сколько влезет. Большинство людей узнаешь постепенно; Шарлотта свалилась на меня внезапно. Никогда не забуду ее появления

в тот июльский день, когда я кончил крыть крышу! Жители степенно поднимались по тропинкам в гору к моему дому, каждый нес в руках чашку, готовясь приличным образом отпраздновать этот день, как вдруг небесный свод треснул от крика: боже мой, что это?

На горе, на полдороге к дому стояла Шарлотта, скрюченная, с согнутой от старости спиной и искривленными ногами, но с задранным подбородком.

— Ая, ая, ая, ая, — кричала она, заставляя двигаться свой живот, размахивая руками, потрясая чашкой для кофе и трубкой. — Ая, аяя, аяя, ая.

Толпа ревела от хохота.

— Ая, ая, аяя, ая, — раздавалось бесшабашно, громко. Вдруг бедная старуха остановилась, повернулась и с отчаянным усилием возобновила подъем на гору раскоряченными паучьими ногами. Она провозгласила свою радость.

Это был ее праздник — она отпраздновала его вовсю. Какие песни она распевала, сидя на склоне горы! Торнарсук^[17] проснулся, тролли^[18] слушали ее, сидя на горных вершинах, и скалили зубы. Бесшабашные, непристойные, вольные песни: народ гоготал, девушки прикрывали уши руками — может быть, держа ладони горсткой? Какой силой владела эта старая уродина, ломавшая преграду столетий!

Как приятно освежить память,
Как приятно, ия, ая.
Мана аяя, эйора, ая-а,
Я непутевая, я непутевая, я непутевая.
Ая, не прижила ни одного ребенка,
Ая, не прижила ни одного ребенка.
Ая, не прижила ни одного ребенка,
Девчонка, что не прижила ребенка.
Ая! Это я — ая,
Забава всех мужиков.
Мой дружок все трогает меня,
Он стягивает с меня рукавички,
Он стягивает с меня...

Невозможно продолжать. Мы не можем допустить, чтобы старый Торнарсук потрясал основания Манхаттана,^[19] чтобы горные тролли оставляли жирные следы своих лап на металлических панелях здания Крайслера.^[20] Мы не можем допустить, чтобы старухи рассказывали все, что они знают. «Ая, ая, ая». Веселая штука жизнь. Старые — они знают!

Возьмем, например, старую Беату — не такая уж она, собственно говоря, старая. Вернее будет назвать ее выдавшей виды. Милая, чудная, живая, очаровательная. Маленького роста, большеголовая. Две трети фигуры составляли голова и туловище; одну треть — ноги, искривленные не от дряхлости, а из-за привычки кривить их, они казались несоответствующими извивающемуся, как угорь, туловищу. Она-то понимала радость жизни! Извивалась от радости, плясала. Эти па по квадратам линолеума, эти позы из миссионерской гостиницы, эта пресыщенная небрежность современной молодежи — все это не для нее, она плясала. Ритмические извивы, судороги и скручивание ее гибкого тела были пантомимой страсти и смеха. Резкой, дикой, гротескной, безудержной, но подчиненной ее воле: совершенная артистка! Она танцевала, конечно, одна. Прошное в этот вечер ожило в моем доме — это был танец с барабаном. Ударяя в похожий на бубен маленький барабан, она поет страстным низким голосом:

Мой барабан — яия, я-я-я,
Моя палочка — яияя,
Мой голос — яияя.
Аия яя канаррая а — аияарра.

Этот ритм захватывает, гипнотизирует. Начинаешь топтать ногами и раскачиваться под него. Лишаешься разума. Ну и пусть!

Беата останавливается. Эмануэль, ее брат, берет барабан. Он старый охотник, один из самых знаменитых. Маленький, приземистый, с морщинистым лицом, черный, подвижный, как юноша. Он хвастается тем, что дед его был ангакоком. Если бы сейчас существовали ангакоки, Эмануэль был бы одним из них. Это человек с большим влиянием и неутомимый любовник. Мертвая тишина. Он начинает:

— Ая! (начинает он на высокой комической ноте, игриво выглядывая из-за барабана, барабанную палочку держит с

подчеркнутым изяществом)

А я! На севере и на юге,
Когда я был молод,
Меня тянуло к женщинам.
Ая, айя.

Внезапно Эмануэль делает дикий прыжок, вылетает в круг.

— Ая, айя, — кричит он, резкими движениями перемещая барабан то вправо, то влево, — там, там, там, там, ая, айя!

Он извивается в смехотворно непристойных телодвижениях, гримасничает как демон. Нагнувшись, задрав кверху подбородок, выставляет барабан сзади, как хвост: грубая клоунада. Толпа отбивает такт и поддерживает припев возгласами:

— У, ха! У, у, у!

Возбуждение растет; в доме бедлам. Если когда-либо у Эмануэля были какие-нибудь сдерживающие начала, то он от них освободился. Танец его уже более чем символичен.

И Мала плясала. Для Беаты, Эмануэля и Шарлотты пение и танец были выступлениями. Они играли роль. Они владели артистическим даром без труда войти в роль и, сыграв ее, сойти со сцены, как будто они просто снимали надетую маску. Другое дело — Мала. Это бедная старая женщина с подавленными инстинктами, полубезумная, и в танце полностью проявлялась ее больная душа. Она плясала с устрашающим жаром, с лицом, искаженным наполовину притворной, наполовину искренней свирепостью; голос ее напоминал лай охотничьей собаки. Она была великолепна, трагична.

И Абелона танцевала, и Петер Сокиассен. Только старики умели танцевать, хотя все мы от зависти и возбуждения тоже пытались подражать им. Это был вечер стариков — оправдание прошлого, ставшего незаконным, воскрешение и прославление его, проявление их гордой души. Вот, гренландцы, казалось, говорили старики, вот каковы были ваши отцы.

— Вы великолепны! — сказал я старой Беате. Лицо ее сияло, она протянула ко мне руки.

— Как-нибудь приходи переспать со мной, — сказала она с деланной бурной страстью. — Ого! Соображай побыстрее!

— Мне придется спроситься у Юстины, — ответил я.

— У Юстины! — она просто фыркнула от презрения. — Эти молодые ничего не знают. — И, наклонив далеко вперед свое смешное тело, она стала безудержно хохотать.

На один вечер старина ожила. Вспыхнули затоптанные тлеющие угли старого костра. При их свете, свете звезд и луны толпа разошлась. Эмануэль зашагал домой со своей маленькой старой женой. Беата пошла домой к дочери и ее детям. Мала, раба, на которой лежала вся работа в доме Кнуда, побрела туда, чтобы свернуться, как собака, в углу на грязном полу. Все возвратились в свои дома и уснули. А проснувшись потом в трезвой действительности, они, может быть, подумали бы, что эта старинная оргия была только сном, если б этот надутый осел, помощник пастора, не бегал разъяренный кругом и не угрожал адским пламенем всем, кто еще раз посмеет сплясать старинный танец.

XXIV

Друзья и финансы

Как все же стоит быть богатым: я в этом убедился. Если до поездки в Гренландию я этого и не подозревал, то там мне это сразу открылось. Увлекательная вещь деньги. Совсем не значит, что я составил себе состояние в Гренландии или нашел там клад. Просто я вдруг обнаружил, что в Гренландии я богат: самый богатый человек на острове Убекент и один из самых богатых в округе. Я пользовался деньгами, чтобы покупать себе друзей.

Купить друзей! Может быть, слишком грубо сказано? Скажем лучше, чтобы приобрести их. А делается это так легко и оказывается источником такого безграничного удовольствия и удовлетворения, что я не могу не удивляться, почему почти никто этого не делает. Идея, конечно, не нова, во всяком случае для эскимосов, живущих в Америке. В прежние времена они, сколотив себе маленькое состояние, растрачивали его на потлаче,^[21] покупая таким образом, точнее приобретая, дружбу всей общины в единой великой оргии растрачивания. Наверное, это было очень интересно, скупить одним махом все, что предлагается на рынке дружбы. Хотел бы я иметь смелость провести такую операцию. Христиане почему-то проявляют в этом деле робость.

Приятно, должно быть, также, когда у вас покупают дружбу, когда богат говорит вам: «Вот, возьмите чек. Прошу». Какое ответное дружеское чувство вызвало бы это у вас. Честный обмен удовольствиями. Сколько на свете дружбы, которая никому не нужна.

В Гренландии — это говорит робкий христианин — дружба стоит дешево. Можно приобрести друга за плитку табаку и дорожке. Господи, в Америке люди затрачивают десять тысяч долларов, чтобы получить нитку бус, притом не зная, настоящие ли они, а друзья большей частью настоящие. Во всяком случае, вы принимаете их на веру, не изучая, чтобы убедиться, что все это чистая шерсть, и не смотрите, есть ли у них сзади клеймо высшего сорта. Вы просто передаете свой дар, идете домой и записываете в книгу имя нового друга.

В Гренландии, кроме мелкой спекуляции друзьями, я еще открыл банк, стал банкиром. Приходится, когда попадаешь туда впервые. Со второй половины октября начались осенние бури, охотиться было нельзя. В конце октября, в темные месяцы ноябрь и декабрь и далее до самого марта жители поселка, испытывая нужду в пище и не имея денег на ее покупку, толпились у меня каждый день по одному, по два, чтобы взять займы в моем банке: я давал. Одну крону, две, иногда пять, иногда только пятьдесят эре. Сначала я вел записи на листке бумаги, потом завел книгу. Конечно, мы только играли в банк, так как не было никакого обеспечения займов и никаких процентов по ним, а председатель правления не получал ни оклада, ни премиальных. Я не хотел оказаться в Гренландии первым, кто предложил бы людям возвращать больше, чем они взяли займы. Более того, я был так доволен, когда они вообще возвращали мне долги, что платил им проценты сигарами и пивом. Это обошлось мне дорого, но вернули долг все, кроме одного.

Подшло рождество, и было похоже на то, что нам придется приостановить работу, закрыть дело. Банк просто атаковали, не потому, что возникла паника, как бы фонды банка не иссякли, а потому, что распространились слухи об их неиссякаемости. И я не мог сослаться на бедность, ведя такой образ жизни, имея такой дом с двумя медными кабинетными лампами, дюжину кастрюль и сковородок, сколько угодно еды. Их позиция определялась простой логикой: те, у кого есть, должны давать тем, у кого нет, и логика эта была, по-видимому, столь же неопровержима, как законы физики: природа боится пустоты, вода стекает на низший уровень. Почему бы и золоту не подчиняться тому же закону? Конечно, иногда так оно и бывает. Мы накапливаем золото, отбирая у тех, у кого его мало, — я не морализирую, откуда-то его нужно взять, — и устраивая запасы для тех, у кого его много, углубляя долины и нагромождая все на вершинах гор до тех пор пока, трах! — образуется провал, возникает оползень — и все нужно начинать сначала.

Я давал деньги займы, а безвозвратные ссуды только в таких случаях крайней нужды, как заболевание главы семьи в доме, смерть или праздники. Удивительно, что деньги эти вообще возвращали. Прямо чудо, что долги вернули все, кроме одного, как я уже сказал.

Кроме одного! Кроме несчастного, скулящего, как битая дворняга, Йоаса. Расскажу о нем.

Он и его жена, такая же жалкая женщина, их дети и, кроме того, Корнелия со своей семьей жили в одной общей, похожей на берлогу дыре. Здесь Йоас, здоровый мужчина в цвете лет, если о нем можно так выразиться, держал их в грязи и нищете, к какой они, несомненно, привыкли. Несомненно также, что она им нравилась. У них не было желания даже вытереть нос. Кошки умываются, свиньи, если есть хоть какая-нибудь возможность, ходят чистыми; но они — нет. Вонючий сброд, тьфу! Кому до этого есть дело?

Меня, как банкира, это не касалось. Они приходили ко мне: сегодня за полкроной, на другой день за кроной, потом просить две, потом пять и т. д. И каждый раз говорили, что деньги нужны Корнелии. Корнелия была из тех несчастных, которых люди, особенно мужчины, жалеют. У нее не было ни семьи, ни общественного положения, ни репутации, ни нравственности, ни очарования. Она принадлежала к числу тех покладистых девиц, которые одалживают себя любому мужчине, и поразительное число мужчин ею воспользовалось. И когда дело дошло до того, что нужно было назвать отца ребенка, она выбрала — несомненно, с достаточным основанием — надежного мужчину Северина. Пять крон в год: такие алименты обеспечил ей закон. А Северин, подчиняясь закону и обычаю, платит деньги и делает вид, что не знает ни матери, ни ребенка. Мне это казалось довольно жестоким. Для Корнелии я деньги давал.

— Зачем, — с возмущением спросила однажды Саламина, вернувшись из лавки, — зачем вы даете столько денег Йоасу и его жене?

— Я им не даю. Я даю Корнелии, она, бедняжка, нуждается.

— Корнелии! Да она уже давно не живет в их доме. Они на эти деньги покупают себе кофе, сахар и печенье.

Это была правда. Я стал ждать случая. Вскоре Йоас пришел опять: пять крон для Корнелии.

Бывают времена, когда тебе нужны слова, не хватает эскимосских слов. Как бы я был красноречив на английском языке! Я бы как следует отчитал его и закончил бы великолепно, крикнув:

— Ты, проклятый подлый лгун, убирайся вон!

Но по-эскимосски? Самое подходящее, что мне было известно, самое подходящее, кажется, что есть на их языке, было то, что я и сказал: я объяснил ему, какой он совершил грех, а затем в гневе воскликнул:

— Дурной человек, ты очень дурной человек. Уходи!

Йоас стоял мрачный, молчал. Потом повернулся кругом и вышел, с треском захлопнув за собой дверь.

Слава богу, избавился от него, не жалко, что такой ценой. Больше его не увижу. Ах, нет? Вскоре, дней через десять, он опять пришел. Нет, Йоас, для тебя нет. Прощай! Никогда больше — я пишу это в 34-м году, — никогда Йоас или кто-нибудь из его семьи... Подожди, читатель, извини, пожалуйста, одну минуту. Я сейчас. Кто-то, кажется, стучится у калитки.

Странное совпадение, это приходила жена Йоаса. Она не решалась подойти к двери дома, боится собак.

— Да собаки не злые, — говорю я.

— Нет, а вон та, — хнычет она, — я ее боюсь.

Мне казалось, что в Гренландии собак боятся только собаки.

— Что вам нужно, Луиза?

— Я хочу одолжить у вас денег.

У нее был ужасный вид: грязная одежда просто черна от сала. Камики на ней жалкие, все в складках, выношенные, и под ними нет чулок; с голыми коленями, зимой! И это слабоумное лицо со свисающими на него прядями волос, с приставшими к ним перьями. Недавно у нее шла кровь носом. Вся верхняя губа и подбородок были в засохшей крови.

Ну, я дал ей денег.

XXV

О женах

Те записи, что я вносил в банковские книги, могли бы служить пояснением к состоянию домашнего хозяйства в различных семьях поселка. В них отражался не столько заработок охотников, сколько умение жен расходовать его. Ни одна из семей моих клиентов не может служить лучшим примером этого, чем семья моего ближайшего соседа и служащего Давида и его жены Карен. Они были моими главными должниками, так как стоило им только убедиться в моей мягкости, как они стали непрестанно и почти неограниченно пользоваться тем особым кредитом, который я, как работодатель Давида, был готов им оказать. Этот случай заслуживает исследования со стороны банка.

Давид Лёвстром — сын того милого старика Томаса, о котором я уже отозвался с похвалой на одной из первых страниц книги. Сам Давид и внешне, и по своим наклонностям мог служить лучшим свидетельством достоинств отца. Кроме того, он был самым блестящим охотником в поселке и по записям конторы торгового пункта первым во всем округе по добыче тюленей. За это и за свой приветливый нрав Давид пользовался уважением и любовью всех жителей поселка, включая необыкновенную жену, и, мне кажется, особенно ее любовью. Голод и холод, усталость, опасность, жена — Давид был из тех, кто принимает все, что выпадает на его долю. Жаловаться? Ему такая мысль не приходила в голову. Пусть приходят невзгоды, одна за другой:

— Аюnguлак, хорошо! — говорит Давид.

И Карен действительно была необыкновенной. Она стала такой. Человек не наследует своего поведения, у Карен оно тоже не было наследственно.

Его особенности — заслуга Карен. Но по характеру и темпераменту она была дочерью своего отца, Эмануэля. Заслуживает внимания то, что в маленькой общине слабонаселенного округа, где бесчисленные поколения неограниченно скрещивались в родственных браках, где источники существования и образ жизни у всех одни и те же, различные семьи проявляли столь несходные черты. Зеебы, Нильсены, Лёвстрымы и семья Эмануэля, Самуэльсены, — все имели

свои явно выраженные особенности, отличались характером и внешностью. Самуэльсены, даже младшее поколение рода, казалось, представляют старую Гренландию.

В них было что-то старинное, не медлительность, не тугодумие, а какая-то упорная выдержка. Старый Эмануэль мог похвалиться прадедом ангакоком и чувствовалось, что все они вплоть до самого молодого члена семьи гордятся прошлым своего племени и сохраняющимся в них его настоящим. Неисправимая порода. Самуэльсены были крепкие, невысокие, ладные люди, замечательные охотники, не щадившие себя. Даже Карен умела править каяком, как мужчина. На ее счету был убитый тюлень. Немногие гренландки могли сравниться с ней.

Внешне Карен была скорее оригинальной, чем хорошенькой. Круглое, как луна, лицо ее сияло проказливым весельем, но иногда становилось отвратительным от бешенства. Маленькие глазки превращались тогда в щелки, кожа покрывалась пятнами, как лежалый сыр. Так бывало, когда ей в чем-нибудь перечили; это случалось не часто. А если кто и начинал перечить ей, к примеру Давид, то очень быстро прекращал: слишком хорошо все знали, что за этим последует.

Жители поселка забавлялись положением Давида, искренне жалея его. Он, несчастный, часто бывал дома, когда Карен, лежа в постели, брыкала ногами все, что подвернется, и выла, как стая собак. Никуда нельзя было скрыться от этого унылого воя, он заполнял весь поселок. И самое большее, на что решался Давид, — это тихонько выйти вон, прислониться к стене дома и ждать, если потребуется часами, пока она успокоится.

В их семье, состоящей из них самих и двух детей, жила Аннеке со своим ребенком от неизвестного отца. Аннеке — бедное, полусумасшедшее, неопределенного вида существо, никому не нужное и очень грязное. Она отрицательно влияла на ведение домашнего хозяйства и, вероятно, своей безалаберностью расхолаживала рабочее настроение. В маленьком доме было тесно и грязно, и что эти две женщины делали все время — никто не знал. Карен, быстрая и ловкая, умела работать, но не хотела. Она искусно шила, но тот, кто поручал ей работу, никогда не мог быть уверенным, что она будет выполнена хорошо и даже вообще когда-нибудь закончена. Она была транжиркой и обжорой, и большая часть основательного заработка Давида уходила на

вкусную еду из лавки для Карен и Аннеке. Карен довольно хорошо одевалась, а Давид часто ходил чуть ли не в тряпье. Постоянно можно было видеть, как ее маленькие дети шлепают в старых отцовских камиках. В Гренландии существует поговорка: суди о девушке по ее камикам, о женщине по камикам ее мужа. Это сказано прямо про Карен.

Спустить бы штаны и задать ей крепко и вдоволь палкой. Народ считал, что это прекратит ее припадки. Возможно и так. Во всяком случае, стоило бы попробовать. Но истребитель тюленей Давид был слишком мягок для принятия таких мер.

Рассказывают об одном человеке из Скансена, на острове Диско: как он женился на хорошенькой девушке из столицы Годхавн, как ей наскучила уединенная сельская жизнь и она начала шлаться и ездить в гости к своим родным и друзьям в столицу и подолгу жить там. Из-за непрерывных поездок в Годхавн и обратно и из-за того, что мужу все больше приходилось управляться дома одному, семейная жизнь его была не совсем такая, как хотелось бы. Ему надоело препираться с женой, и он в конце концов побил ее. Бесполезно, не помогло. Ага, кричат мягкосердечные, это никогда не помогает. Постойте. Через некоторое время, когда они только что вернулись из Годхавна, муж вывел жену на улицу и на глазах у всех среди бела дня избил палкой. Говорят, что с тех пор, а это произошло много лет тому назад, она стала примерной любящей женой.

Каждый год, весной, когда тюленей очень много, Давид и Карен, у которых еще свежа память о зимних холодах, принимают и приводят в исполнение решение: утеплить свою жалкую хижину, пристроив к ней сени. Давид обращается в муниципальную кассу за получением необходимого кредита в торговом пункте, покупает доски и возводит пристройку. Проходит лето, снова наступает осень. Теперь-то наконец сени пригодятся. В особенности потому, что Карен не собрала хвороста, не запасла дерну и не скопила денег на покупку топлива. Не скопила на топливо? Ну и что же, ведь есть сени. Итак, с наступлением зимы они сжигают их, доску за доской. Мудрое осеннее решение превращается в дым. Вот вам одна пара: отличный охотник и мотовка жена. Живут в нищете. А вот другая пара.

Ионас, маленький джентльмен, о котором уже говорилось, жил со своей женой, старой Элизабет, и двумя взрослыми детьми в одном из

самых больших домов поселка. Хозяйство в этом доме было одно из лучших. Из двух детей один, Исаак, не мог охотиться из-за случавшихся с ним иногда эпилептических припадков. Он зарабатывал немного денег ловлей акул, очень немного. Его сестра Дорте, шестнадцати лет, хорошая прилежная девушка, помогала, когда нужно, по хозяйству. Денег она не зарабатывала, а ела много. Ионас был настоящий человек, но из-за болезни глаз неважный охотник. Общая сумма доходов в этом хозяйстве составляла не больше половины заработков Давида. Семья жила хорошо, хорошо одевалась; зимой у нее было топливо и круглый год было что есть. Почему? Потому, что Элизабет хорошо вела хозяйство и умела все делать.

Повидав в Гренландии множество богатых, живущих прескверно, и множество бедных семей, живущих хорошо, самый убежденный женоненавистник женился бы.

XXVI

О вещах

Вернее, разговор пойдет не столько о вещах, сколько об их отсутствии. Если сравнивать здешнюю жизнь с нашей, то отсутствие вещей — одна из основных особенностей Гренландии. Вещи здесь не имеют значения; дома и жизненный уровень сравнивают здесь в основном качественно. Без торговли не может быть прогресса, без вещей нет торговли. Пренебрежительное отношение к вещам должно исчезнуть в Гренландии.

Но гренландец странным образом упорствует в вопросе о количественном значении ценностей. Он не видит какого-либо преимущества в том, чтобы у него было больше вещей, чем он может использовать, или в том, чтобы использовать больше вещей, чем ему необходимо. Довольно просто было отучить его от обычая изготавливать — с большой затратой любовного труда — деревянные ведра, инкрустированные резной костью, предложив ему ведра из оцинкованного железа. Железные ведра были лучше, и стоимость их, трудовая, ниже. Но заставить его пользоваться двумя ведрами вместо одного — это уже другое дело. Конечно, ружье ему нужно. Но не два! Ведро, ружье, кофейник, кастрюля, ночной горшок, печь, чашка нужны по одному предмету взамен тех, что он раньше изготавливал. Казалось бы, не так уж плохо, но это пока только начало торговли. Нужно создать у них спрос на множество вещей, вызвать потребность сидеть на стульях, есть за столом, иметь полные ящики столовых принадлежностей. Господи, их нужно цивилизовать: это значит, заставить иметь вещи. Но они очень упорны.

По-видимому, гренландцы не могут усвоить принцип владения собственностью ради самого владения, даже когда перед ними, как в Игдлорсуите в доме Троллемана, пример, дающий в миниатюре образец представляемой нами сегодняшней культуры, великолепной культуры безделушек, дешевых украшений, всяких механических мелочей. Смотрите, вот столовая-гостиная Троллемана: ее размеры десять или двенадцать футов на четырнадцать. В ней помещаются следующие вещи: два дивана; маленький обеденный стол; гарнитур из четырех

стульев, обитых красным плюшем; гарнитур из четырех стульев, по викторианской моде обитых декоративным желтым плюшем и увешанных кистями (этот гарнитур приставлен парами к стене); гарнитур из двух больших вычурных плетеных кресел и подходящего к ним диванчика; один большой, круглый, полированный, украшенный решетками и резными бордюрами стол из орехового дерева отличного качества (на нем: одна скатерть из зеленого сукна с бахромой и кистями, вышитая маргаритками; одна вязаная салфетка в середине; одна вышитая бисером накладка на этой салфетке; одна подставка с бумажными цветами; пять подобранных одна к другой ваз, две вазы из томпака; два медных флажтока с датскими флагами, завернутыми в папиросную бумагу; две пепельницы — бабочка и полярный медведь; одно пресс-папье); один столик с граммофоном; один столик с радиоприемником; один выпиленный кронштейн с отделанным украшениями громкоговорителем; один детский плетеный стол и два стульчика к нему; один матросский рундук — красавец; один ореховый комод с зеркалом; на комод... неважно, хватит... одна печь.

Кажется все. Ах, нет! Стены! На одной стене пять картин масляными красками, по словам Троллемана, «написанные от руки». И на всех стенах, повсюду, литографии, цветные репродукции, фотографии претенциозного вида людей, с которыми Троллеман не был знаком, и скромного вида людей, знакомых Троллемана. Там же ретушированный увеличенный портрет Троллемана с бородой (плохой) и другой его портрет без бороды (еще хуже); прекрасная фотография Регины с новорожденным ребенком — снята в больнице.

Мы заканчиваем описание комнаты кружевными занавесями и бесчисленными плюшевыми подушечками на диване с изображениями американских индейцев и... Нет! Нет! Мы еще не кончили. А потолок с люстрой! Люстра своим великолепием затмевала всю комнату. Это главная драгоценность: вся комната была только ее оправой. Может быть, это самый изумительный из всех шедевров из меди, которые когда-либо создавали человеческий ум и фантазия. Лабиринт завитушек, цепей и подвесок, как бы отходящих в стороны от основной цели устройства, от света, казалось, символизировал в изделии из символического металла, меди, эксцентричный ум Троллемана. Честное слово, это был символ. Потому что в самой середине, почти спрятанная в пышных убранствах из меди, висела абстрактная идея самого разума

— лампа. Эта лампа никогда не будет светить. Она не заправлена, это запрещено законом. Лампа керосиновая.

Вот вам комната. Большинство жителей Игдлорсуита видело ее. В субботу утром женщины поселка, вымыв или, возможно, не вымыв свою кастрюлю и не помыв полов, стоят без дела около лавки и смотрят, как Регина и Елена стирают пыль с этих вещей и чистят их, вытащив все на улицу. Женщины, прогуливаясь на солнышке, смотрят, как Регина работает. В их сердцах нет зависти. Они видят, как Регина стирает и развешивает на веревках свои платья — такое множество платьев, простынь, накидок для подушек и всяких вещей. Но они не завидуют ей. Они вполне довольны своими маленькими однокомнатными домиками. У них есть большая часть нужных вещей. Нужды их невелики, имущество так скудно, что все, чем владеет семья, можно перечислить в считанных строках.

Печь, лампа, кастрюля, кофейник, сковорода для поджаривания кофе, ночной горшок, деревянная ложка, зеркало и гребешок, чашка с блюдцем (возможно, две или три), миска, ружье, каяк и принадлежности к нему, снасти для ловли акулы и удочка, по одной смене одежды на каждого из живущих в доме (может быть, больше, может быть, и меньше), стол и комод (не всегда), деревянный сундук, несколько старых жестянок, пила, кухонный нож, карманный нож, часы (не всегда), сани, шесть собак, постели — вот и все.

Таким может быть имущество в хозяйстве со скромными средствами и одним работником в семье. У Давида и некоторых других имущества гораздо меньше; кое у кого несколько больше. Если в одних домах больше людей, то это не значит, что больше и вещей. Площадь дома Петера Сокиассена примерно восемь на десять футов, и я не могу выпрямиться в нем во весь рост. Так вот, в этом доме живет четырнадцать человек; конечно же, они не могут иметь много свободного места для вещей. В семье три охотника, у каждого из них каяк, однако на всех только пять собак и одни сани.

И все же как ни мало значат вещи в Гренландии, сама бедность, в какой живут многие из эскимосов, теснота домиков свидетельствуют об изменениях и, можно сказать, о прогрессе. Гренландцы постигли первый основной принцип прогресса: у них частная собственность. Все эти домишки отражают стремление людей отделиться, чтобы индивидуально пользоваться всем тем, чем в наше время они имеют

удовольствие владеть на правах собственности. Пусть это засвидетельствует один из них. Я приведу слова молодого гренландца, который в третьей четверти прошлого столетия писал следующее:

«В детстве я никогда не покидал Какертока и рос, совершенно ничего не зная об условиях жизни в других местах. Поэтому долгое время я не имел представления о бедности моих соотечественников. Но теперь, достигнув зрелости и много поездив, сделал следующие наблюдения: гренландцы начали жить более раздельно и соответственно уменьшили свои дома. Думаю, что в этом причина их упадка, потому и пишу эти строки, так как хочу, чтобы они как следует подумали над необходимостью снова жить вместе, взаимно любить друг друга и помогать друг другу. Когда ребенком я жил в Какертоке, там были очень большие трехконные дома, обитатели их любили друг друга, помогали друг другу добывать все, что составляет основу жизни. Если в каяках появлялись течи, их, бывало, вносили в дом по три штуки зараз, чтобы зашить и высушить. Когда каяк обтягивали шкурой, это делалось в помещении. Все жившие в доме оказывали друг другу поддержку, не обращаясь за помощью к европейцам. На всех была одна общая кладовая, и обычно самая старая женщина следила за запасами. Весной, отправляясь на далекие острова или в места рыбной ловли, они брали с собой палатки и жили в них. Видя, как хорошо живут мои земляки, я считал, что по всей Гренландии люди пребывают в таком же благополучии. Убеждение мое усиливалось во время прибытия судна. Все жители округи собирались в Какертоке, чтобы посмотреть на судно, и разбивали на берегу свои хорошие палатки.

Упадок гренландцев — следствие отказа их от прежней совместной жизни в больших домах; в этом причина их нужды. С другой стороны, некоторые считают, что причиной перехода гренландцев к раздельной жизни послужило то, что они стали покупать европейские лакомства и одежду. Родственников уже не устраивала взаимопомощь и общая собственность на вещи, от которых можно получить лишь кратковременное удовольствие. Когда для одних такое

удовольствие кончалось, для других оно только наступало. Первые сердились и обижались, и в этом, возможно, причина того, что они расходились. Но мы осуждаем такое решение, так как эти люди не принимают во внимание того, что следует за весельем и что за нуждой».

Ни того, что следует за так называемой цивилизацией, хотя я и пытался не раз рассказать им об этом.

— В Америке, — начал я, обращаясь к друзьям, задававшим мне часто множество вопросов о нашей жизни, о том, что у нас есть и сколько что стоит, — в Америке почти все работают на кого-нибудь. Есть, скажем, человек, которому принадлежит автомобильный завод, и на заводе сто тысяч человек, которые на него работают. Эти люди только изготавливают автомобили, вот как вы только охотитесь. Случается, что кладовщик человека, которому принадлежит завод, приходит к нему и говорит: «Автомобилей больше не покупают. У людей достаточно автомобилей». — «Хорошо, — отвечает этот человек, — пойди и скажи девяноста тысячам рабочих, что они мне больше не нужны». Тот так и делает. Тогда рабочие пытаются получить другую работу, но другой работы они делать не умеют. Да, кроме того, есть еще сотни тысяч других людей, ищущих и не находящих работы. Ну что ж, они идут домой. Они голодны. Но в Америке вы не можете пойти и убить тюленя или оленя: их там нет. Кроме того, вся земля кому-нибудь принадлежит. Ходить можно только по дорогам. Застрелить эти люди ничего не могут, поэтому они идут в лавку, чтобы купить еды. Хозяин лавки говорит им: «Если вам нужна еда, то вы должны мне за нее заплатить». — «Но, — отвечают они, — у нас нет денег, так как у нас нет работы». — «Значит, вы не получите еды». Они идут домой. А дома застают человека, который их ждет. Он говорит: «Вы должны заплатить мне, если хотите жить в этом доме».

— Как, — спрашивает кто-то из слушателей эскимосов, — разве дома не принадлежат этим людям?

— Нет. И вот им приходится уходить из дому, и они не могут пойти на чью-нибудь землю.

— Что же они делают?

— Ну, люди дают им несколько эре или они получают немного из муниципальной кассы. Вот и все. Им конец.

Собеседники сидят, уставившись на меня, смотрят друг на друга, пораженные, с недоверием.

— Ну, — говорит кто-то от имени всех, — я думаю, что в Гренландии все в порядке.

XXVII

О взаимопомощи

Та любовь и взаимопомощь, о которых писал молодой гренландец, должно быть, в свое время были трогательными. И та и другая составляют основные черты жизни первобытных общин; они исчезают с наступлением прогресса. В современной Гренландии от них сохранились лишь остатки. Тем не менее чужестранец поступит правильно, умерив гордость, испытываемую им при мысли о собственной щедрости, если он призадумается над бесчисленными случаями бесплатной помощи, которую ему постоянно оказывают эскимосы.

В Игдлорсуите выгрузили на берег прибывшие для меня вещи; их немедленно взваливает себе на плечи целая толпа и в одно мгновение доставляет ко мне в дом. Если даже предположить, что для жителей поселка вскрывать ящики и переносить их содержимое в дом интересное занятие, то все равно они помогают мне. Это обязательно должно быть интересным занятием: тот, кто получает от него пользу, должен сделать его интересным. Должен, да, но в обществе, стоящем на низкой ступени развития, когда помогают друзья и соседи, это не столько обязанность, сколько подходящий случай. Вы встречаете гостей, естественно, что за этим должно последовать угощение.

Празднество, каким была отмечена установка стропил моего дома, несомненно, ведет свое начало от пира, устраивавшегося в старину в Европе и в Америке по случаю завершения общинных работ по строительству каркаса дома. Постройка моего дома в Игдлорсуите была как раз такой общинной работой, потому что каждый день, а в последний особенно, моя маленькая наемная бригада пополнялась множеством бесплатных рабочих. Как девушки и женщины сбежались толпой в этот последний день, чтобы помочь убрать! С какой охотой они лазали по горам собирать ползучие растения и яркие цветы для гирлянд! С какой гордостью украшали дом! Это был их праздник.

К сожалению, всеобщий интерес к дому, бывший мне в тягость, вызывался любопытством, предвкушением удовольствий и пользой от созерцания работы американского плотника, тем, что я казался им

занятым, сигаретами и табаком, всем, чем угодно, но только не общинным духом. Потому что один из гренландцев, возводивший домик неподалеку от моего, сам копал тяжелые дерновины и таскал их на спине, накладывал их на стены, и никто не протянул ему руку помощи.

Но за работу, невыполнимую в одиночку, берется бесплатно столько народу, сколько потребуется. Все помогают вытаскивать тяжелую лодку на берег или отгонять лед, когда в начале осени он угрожает стоящей на якоре лодке или пристани. Работа по обтяжке шкурами каяка, о которой писал молодой гренландец, и сейчас производится бесплатно отборной бригадой женщин. Это срочная работа: шкуры мокрые, сшить их нужно раньше, чем они высохнут и сядут. Работницам может быть предложена на обед большая кастрюля полной комков тепловатой каши из овсяной муки. Такой обед — праздник.

В общем в Гренландии ненамного больше взаимопомощи, чем в других странах мира, где время стали мерить и мерой служат деньги. Но непривычность представления о времени, как о деньгах, для народа, лишь недавно освоившегося даже с самими деньгами, сказывается при найме рабочих. Они продают вам свое *время*, видимо не думая о подлежащей выполнению работе.

Гренландцы — народ сбитый с толку навязанными им новыми представлениями, не только отличающимися от старых, но не подходящими к условиям жизни в Гренландии. Можно, конечно, оценить время, выразить его цену в виде столько-то эре в час и напечатать эту цену в прејскуранте товаров, но кто будет покупать время? И хотя нам кажется резонным поставленный прогрессом вопрос: «Зачем расходовать драгоценное время на изготовление инкрустированных резной костью ведер, когда можно купить ведро за одну крону», но ошибка здесь в том, что время было драгоценным в Гренландии только тогда, когда приходилось делать инкрустированные костью ведра и тому подобные вещи.

Администрация, обладающая божественной мудростью, сказала бы гренландцам: «Мы будем покупать у вас нужные нам вещи, которые вы можете уступить, и продавать вам то, в чем вы нуждаетесь, но сами не можете изготовить». В чем они нуждаются, есть ли такие вещи? В

чем вообще люди *нуждаются*! Кто знает! И, во всяком случае, теперь уже говорить об этом поздно.

XXVIII

Сумерки

То, что называют полярной ночью, скорее не ночь, а растянувшиеся на весь день сумерки. Она наступает на севере не столько вследствие увеличения нормального для суток периода темноты, сколько благодаря такому постепенному удлинению предрассветных и вечерних сумерек, что они наконец встречаются. В момент встречи сумерек в полдень и наступает полярная ночь. Воображаемый зимний мрак полярных областей как контраст летнему полуденному солнцу так сильно владеет воображением людей, что большинству мало известно явление зимней полуденной луны. Непрерывный день и непрерывная ночь на зимнем полярном небе — это символы непостоянства. Зимняя ночь на севере — озаренные луной сумерки, в которых самая темная часть ландшафта, незамерзшее еще море, может быть не темнее самого неба.

Игдлорсуит обращен к северу, и горы, как уже говорилось, охватывают поселок с трех сторон. Даже летом солнце, проходя по небу, как будто становилось на цыпочки, чтобы заглянуть через горы. Скоро это ему надоело. В середине осени началась наша «ночь». Но еще целый месяц мы как бы глядели из затемненного зала на освещенную сцену, видели, как удлиняются солнечные тени и как на горные склоны снизу наползает долгое двухмесячное затемнение. Наступил последний день. Последняя вершина вспыхнула на мгновение и погасла. Настала полярная ночь.

Теперь не столько из-за темноты, сколько из-за совокупности других сезонных явлений у людей начинается период безделья, от которого можно было бы сойти с ума, если б долгая ночь действительно влияла на психику так угнетающе, как об этом иногда говорят.

Море — место их охоты — лежит в родовых муках преобразования, и, пока не закончится его превращение в сплошной лед, у охотника лишь изредка появляется возможность покинуть сушу. Сумерки и безделье. Прибавьте к этому угрозу голода, настолько реальную, что для наименее предусмотрительных наступление голода сдерживается только маленькими пособиями из обедневшей

муниципальной кассы и в период моего кратковременного пребывания здесь займами из банка. Эта угроза настолько реальна, что в соседнем торговом пункте, Нугатсиаке, в начале декабря многие жители были вынуждены есть своих собак, камики и шкуры, покрывающие каяки. Всех этих трудностей достаточно, чтобы вызвать подавленное состояние, если бы оно таилось в людях. Но зима здесь самое веселое время года. Чем темнее становится, тем веселее живут гренландцы. Веселье достигает высшей точки в рождественские праздники.

Подавленное состояние? Нет. Разве что загрустит в своем большом доме старый Троллеман, погрузивший красный нос в скандальную хронику прошлогодних газет. Он читал, размышлял, обдумывал свои обиды. Дни мрака донимали его. Троллеман вынашивал тайные планы, придумывал способ уморить меня голодом и холодом. Воспользовавшись нехваткой товаров в лавке, он отказал мне в продаже таких предметов первой необходимости, как масло для лампы, уголь и основные продукты питания. Дурацкий способ. Он мог бы сообразить, что я обойду его с помощью друзей. Здесь нам хорошую услугу оказал Рудольф, он помогал в лавке, знал, что есть на складе, и держал нас в курсе дела. Больше того, Рудольф делал для нас покупки. Мы смеялись над всей этой затеей, она помогала нам коротать темное время.

Конечно, у Троллемана были свои огорчения: во-первых, я поднял цены на белых куропаток. Он болезненно переживал это. В прошлом он закупал их по пятнадцати эре за штуку. Из-за меня цена поднялась до двадцати пяти — кстати, такова цена по прейскуранту.

— Вы нарушаете правила игры, — сказал торговец Троллеман.

— Чьей игры? — спросил я.

И все куропатки, подстреленные этой осенью охотниками, были мои. А куропатки — вкусная еда. То же было и с крабами: с пяти эре их цена поднялась до десяти; и то дешево. Гигантский северный морской краб — восхитительное блюдо. Наша великая война цен нравилась всем, кроме Троллемана.

А вот и еще история с бивнем нарвала. Позвольте мне рассказать ее полностью, сейчас пора развлечений — обычные занятия в темное время.

Когда-то в дни дружбы я сказал Троллеману:

— Мне отчаянно хочется достать бивень нарвала, чтобы отвезти его домой.

— Здесь, — сказал Троллеман, — их никогда не бывает. Но если попадетсЯ, будьте спокойны.

И вот как-то в конце ноября, в очень темную облачную ночь, когда Саламина, маленькая Елена и я сидели в уютной комнате и ели овсяную кашу, вдруг раздался многоголосый крик на берегу. Мы побросали ложки и выбежали на улицу.

— Эмануэль, — кричали отовсюду, — Эмануэль поймал нарвала!

Эхо еще повторяло этот крик, когда я отправил Саламину на берег купить бивень; я научился не доверять Троллеману.

— Стой там, — сказал я ей, — и встретить Эмануэля, когда он пристанет к берегу. Войди в воду, чтобы встретить его, если придется. Достань мне бивень!

Через полчаса она вернулась сияющая. Эмануэль — не тот старый внук ангакока, а другой — обещал ей бивень.

— И как раз, когда я уходила, — добавила Саламина с удовольствием, — прибежала взволнованная Регина.

— Мне кажется, — сказал я Саламине, — нам следует пойти туда опять.

Мы пошли. Зрелище было дикое: толпа, мужчины, наклонившиеся над гигантской тушей, которую они резали на куски, черная кровь на снегу, стая собак вокруг. И так как свет временами выхватывал только кусочки этой сцены, казалось, что ночь и весь мир полны толпами, собаками и кровавым мясом. Да, вот и Регина, в самой гуще. И Троллеман, поодаль с задраннЫм носом. О, этот нос — барометр. «Тут что-то затевается», — подумал я.

— Вмешайся и узнай!

Саламина, к чести ее, не из тех, кто проталкивается нахально вперед, но в тот вечер я пожалел, что она не из таких. Дождавшись, как и следовало, конца работы, когда Эмануэль освободился, и рискнув подойти к нему, Саламина узнала, что все-таки, несмотря на обещание Эмануэля, бивень — собственность Троллемана. Он потребовал бивень, основываясь на правах начальника торгового пункта.

Не думаю, чтобы Троллеман, который спустя полчаса снова погрузился в свои старые газеты, узнал раньше следующего дня, что я перехватил бивень, дав за него больше, и что в тот же вечер унес его к себе домой.

XXIX

День рождения Елены

А танцы в темное время! Все равно, холодна ли ночь, наполнена ли она ветром и снежной метелью, темна ли: если гренландцам давали возможность танцевать, они танцевали. В этой «танцевальной берлоге» танцевать разрешалось только тогда, когда у кого-нибудь был день рождения. С начала рождественского поста по распоряжению церкви танцы прекращались. Однако детей, родившихся в ноябре, было очень много; в их числе значилась и маленькая Елена. Ноябрь — посмотрим в записную книжку — двадцать восьмое. День приходился на субботу, Елене исполнялось пять лет.

В честь ее мы устроили большой прием. Мы не привыкли к празднованию подобным образом дня рождения ребенка, это был праздник, устроенный в ее честь, где все, между прочим и сама Елена, имели причины радоваться тому, что она родилась. Наверное, она получила удовольствие от праздника, хотя всегда было трудно прочесть мысли на замкнутом спокойном личике тихого, как мышь, ребенка. В этот день ей понравился пирог со свечками на нем, понравились подарки — хотя очень многие из них представляли собой кусок мыла или носовой платок — и новенькие, с иголки, камики, и чистое праздничное платье, в которое она была одета весь день. Кроме того, она была до известной степени хозяйкой: обошла знакомых и позвала их на кофе.

Праздник, конечно, был кафемиком, на который приглашались все жители поселка поочередно, партиями из стольких лиц, сколько наш дом мог вместить. Особенностью праздника был разукрашенный пирог, вернее два пирога, достаточной величины, чтобы каждый гость мог получить по куску. Пироги с горящими на них свечами и надписями «Елена», сердечками и всякими другими украшениями выглядели так красиво, что Саламина неохотно принялась резать их. Да, пироги были прекрасны! Но, как мы сообщили всем, не в этом состояло их главное достоинство, и даже не в их вкусе. Я не могу особенно похвалить его. Их прелесть была тайная — в них мы запекли деньги! То, что последовало после раздачи кусков, больше всего на свете

походило на золотую лихорадку на Юконе. Съесть пирог? Да, потом, но сначала раскопки. Гости разрывали ломти на части, растирали их в крошки. Два эре, десять эре, пять эре, пятьдесят — все это только мелкие приманки, а главный приз, крону, нужно еще найти. Гостям страшно нравилась эта игра, они оставались, чтобы посмотреть, как в ней будет участвовать следующая смена; дом был набит до отказа.

Слух об этой забаве распространился по всему поселку; не было нужды посылать Елену за гостями: они шли сами, толпились в передней, скапливались на улице. Возбуждение росло с каждым новым отрезанным куском пирога: крону еще предстояло откопать. Внезапно раздался пронзительный крик. Старая Абелона, ведьма с двумя зубами, громко кричала. Она держала крону в поднятой вверх костлявой руке.

— Ая, аяя! — пела Абелона, и все возбужденно орали.

В этот вечер нужно было обязательно устроить танцы. Когда пришло время, отправились к Троллеману просить ключ.

— Нет, — сказал Троллеман.

Невозможно пустить всех жителей поселка к себе в дом. Конечно, наш дом больше, чем берлога для танцев, а часть людей могла бы подождать, как и там, на улице; дело было не в размерах помещения. Дело было в самом характере помещения, в его чистоте, в том, что мы ее всегда поддерживали, и в том, что на полках стояли мои вещи, хорошие вещи. Мой рабочий стол, мои рукописи, мои книги — все это было открыто для грязи, которую натащит публика. Нет, мы не могли, конечно, позвать их всех — только некоторых.

— Давай, Саламина, позовем кое-кого на танцы.

Так как день рождения Елены пришелся на субботний вечер, а танцев не устраивали уже больше недели, то мы решили пригласить на маленькую танцевальную вечеринку несколько человек. Я думаю, мы пригласили, ну, может быть, человек двадцать.

Двадцати было предостаточно. Но едва лишь звуки гармонии Петера донеслись до поселка, как пустынная улица заполнилась толпой. Она скопилась у окон, запрудила вход, захлестывала дом, как прибой заливает риф. Мы задернули занавеси, закрыли двери и продолжали танцевать. Дым, пыль, жара стали удушливыми, невыносимыми. Задыхаясь от недостатка воздуха, мы ринулись на улицу. О чистый холодный ветер, о роскошная ночь, о луна, о сверкающие снег и лед, о север — твоя красота! И ты, большая толпа,

дружественно настроенная, с улыбками терпеливо стоящая снаружи! Я не мог устоять и пригласил с дюжину людей в дом. Вот когда стало тесно.

Елена сидела на нарах, молчаливая, с широко открытыми глазами, впитывая все это зрелище. Тобиас, наш мальчик, помогавший по хозяйству, тоже танцевал. Мы позволили ему начать, и никакие земные силы уже не могли его остановить. У него было пристрастие к крупным женщинам. Маргрета была в его вкусе. Он стоял с ней в паре, задрал подбородок; он доходил ей как раз до груди; все начали смеяться. Ну и толпа! Кто это? Боже мой, они сломали калитку и ворвались, как наводнение.

После того как мы вежливо, но решительно очистили дом примерно от двух третей незваных гостей, Абрахам в качестве председателя муниципального совета обратился к ним с веселой речью относительно их поведения, доказывая, что, так как дом не их и праздник не их и особенно ввиду того, что места внутри не хватает, им всем лучше спокойно оставаться на улице. Что они и сделали. А чтобы не произошло никаких недоразумений и путаницы, чтобы приглашенные на танцы и неприглашенные не перемешались, они перерезали шнурок от щеколды. Мы оказались в плену.

Мне не хотелось ломать старательно изготовленную щеколду, но другого пути не было. Я подналег на дверь и под треск раскалывающегося дерева вылетел на улицу. Ночь наполнилась громовым топотом ног разбегающихся в панике людей. Остался один помощник пастора.

— Это не я, нет, не я. Не я!

У, жалкий помощник!

XXX

Темнота

Мой дневник за 1931 год содержит следующую запись:

«Суббота, 19 декабря. К рождеству запаковано свыше 200 подарков, 45 мешочков с конфетами, 22 рога изобилия с конфетами (замечательной красоты!). Елка убрана. Ее скрывает занавес, подвешенный к потолку. Мы говорим Елене, что за занавесом спрятан человек. Она боится подходить близко».

Дальше идет длинная запись о Юстине, с которой я незадолго до этого познакомился, и список ее подарков. Потом:

«Воскресенье, 20 декабря. Неожиданная трагедия вчера вечером. Саламина сидела с работой за обеденным столом, я за письменным. Окончив работу, я перешел к обеденному столу, чтобы почитать. Свет был плохой; я недовольно воскликнул: «айорпок! гадость!» — и пересел обратно к письменному столу. Три четверти часа читал за своим столом, Саламина продолжала шить. Пора спать. Саламина положила работу и встала (в ее обязанности входит каждый вечер стлать мне постель). Заметил, что-то Саламина уж очень молчалива. Я заговорил с ней; она не ответила. Я подошел, внимательно посмотрел ей в лицо: оно было заплакано. Что случилось, Саламина? Она разразилась горькими упреками: я назвал ее айорпок».

Теперь, может быть, потому, что это как-то связано со слезами Саламины и несомненно с моими, а в особенности потому, что это имеет отношение к жизни в Гренландии, к моей жизни в Гренландии и жизни всякого человека вдали от родного дома, мы должны возвратиться назад и узнать правду о темном времени в этой стране. Между сгущавшимися зимними сумерками и усиливавшейся мрачностью моих мыслей существовала связь.

На восточном берегу Гренландии рассказывают легенду о старике, отправившемся со своим сыном на юго-запад в поисках лучших мест для охоты. Они отыскивали такие места на западном берегу в тени гор. Время шло, и на старика напала тоска, как нападает болезнь, он стал думать только об одном: еще раз, перед смертью, увидеть, как солнце поднимается из океана. Чтобы осуществить это желание, охотники отправились домой. Наконец, обогнув южный мыс, они достигли восточного берега и устроили здесь привал. Проснувшись утром, старик стал смотреть, как солнце поднимается над океаном, и от радости умер.

Какое наслаждение сидеть дома и мысленно странствовать. «Вот, — можем мы сказать, ткнув пальцем в карту, — вот сюда бы я хотел поехать. Здесь я мог бы жить». Кажется, нужна только свобода, какую могут дать деньги, чтобы отправиться чуть ли не в любое понравившееся место и жить там до конца дней своих. Имея свободу и средства или не имея ничего, кто не думал о лучших местах для охоты? Наша раса заплонила весь мир в поисках новых мест, нашла, заселила их. Но мало было среди эмигрантов таких, кто раньше или позже не испытывал бы тоски по родине. Нет лучшего символа, чем солнце для всего, связанного с тоской по родине. Оно часто занимает наши мысли; мы с такой теплотой ясно представляем себе его. Я старый путешественник, старый бродяга, ищущий все новых и новых мест, мне ли не знать, что значит каждый день ждать восхода солнца.

Может быть, не восхода солнца, а его отсвета, отблеска солнечного света на облаках, какой-то вести от солнца, какого-то знака, что оно еще существует. И когда с наступлением поздней осени я перестал получать какие бы то ни было вести, когда привозившие почту шхуны уже не доставляли мне больше писем, когда, прислушиваясь, я не мог уловить шепота, произносящего мое имя, — тогда, скажу я вам, мрак спустился по-настоящему.

Саламина вполне сознавала, насколько важно для меня мое солнце на моем горизонте, я был окружен его изображениями. Мне часто приходилось рассказывать о нем, так как Саламина и все наши друзья с удовольствием слушали о моем мире и его обычаях, о людях, его населявших. Мои рассказы расширили их горизонты, они познакомились с моими друзьями, с моей семьей, с моей фермой, домом, с моими лошадьми и собаками. Им по-настоящему нравился

мой семейный альбом. Их, замкнутых в такой тесный круг, вечно встречающихся только с немногочисленными людьми своего народа, с которыми они знакомы с детства, узнававших о других людях и их жизни только через самые отдаленные каналы, — всех их волновали рассказы очевидца о нашем мире.

— Будь я богат, — сказал я, — я бы купил пароход и приехал бы за вами, чтобы вы пожили там годик.

Этого срока было бы вполне достаточно, чтобы они затосковали по дому.

Саламина знала о моем мире, о моем солнце. Со свойственной ей быстрой безошибочной интуицией во всем, что сильно занимало мои мысли, она почувствовала наступившее напряжение. Она вошла в этот мрак, как будто это были ее собственные мрачные мысли.

Оглядываясь из света на эти дни мрака, я с трудом верю, что так действительно было. Сейчас мне кажется, что я нарочно закрывал глаза, чтобы стало темно. Теперь я понимаю полную нереальность тех дней. Это был кошмар, да. А полярные ночи, господи, до чего ж они длинные!

Можно много думать — я часто этим занят — о том, что нам нужно, что вообще человеку нужно, чтоб он был доволен. Нужны ли нам книги, искусство, или работа, или досуг, или свежий воздух, или же столько-то фунтов картошки, овсяной муки, мяса в неделю, или любовь? Что нам действительно нужно? Хорошо было бы это знать. Но приходишь к мысли, что нет специального перечня нужд, что они зависят от... от чего? От темперамента? Если так, то спорить не о чем. Мы не можем договориться с балованным ребенком. И все же, по-видимому, потребность зависит от индивидуальности человека, от его вкусов, если нам не нравится слово темперамент. Но вкусы воспитываются, они просто образуются привычкой. Неужели мы рабы по необходимости всего, к чему мы привыкли? Из самозащиты мы заявляем о своем «я»: мы не просто сенсуалисты.^[22] Наша способность оценивать вступает в действие, производит отбор, наш характер закрепляет отобранное. Однако то, что осталось, нам действительно нужно. На остаток мы опираемся ради счастья, может быть, ради самой жизни.

Наступило время, когда я должен был получить радиограмму. Прошло еще двадцать четыре часа — радиограммы нет. Я начал

задумываться. Это опасно. Через сорок восемь часов я удивлялся. Через неделю заработала моя способность воображать хорошее и дурное. Через две недели я отбросил, как мы все делаем, хорошее и сосредоточился на самом худшем. Перебрал все мыслимые страшные случайности, добавил несколько невозможных ужасов, некоторое время возился с этими мыслями и возвысил их до уровня в высшей степени невероятных событий. В ноябре я был уже вне себя. Доставить телеграмму на радиостанцию в Годхавн! Но как? Мне казалось, что от этого зависит моя жизнь. Может быть, на юг из Уманака пойдет зимняя почта, но как пересечь пятидесятимильное морское пространство, чтобы добраться туда? Никто не хотел ехать. Лучший во всем поселке гребец на каяке привел в порядок свое снаряжение, одолжил у кого-то водонепроницаемую куртку — он был беден и собственной куртки не имел — и два дня наблюдал за погодой и состоянием моря, стоя на холме над гаванью. Потом сказал: нет. Деньги? Я предлагал крупную сумму, но гренландец слабо заинтересован в благосостоянии своей вдовы.

Тем временем день ото дня холода становились все сильнее. Холод боролся с ветром, силясь заморозить море. Можно наблюдать, как замерзает океан, видеть, как он отвердевает, приобретает стеклообразный малоподвижный вид, как будто перед замерзанием вода стала заметно гуще, и вдруг покрывается льдом странного вида, похожим на блины на сковородке, края которых слились. Если день морозный и тихий, то скоро образуется сплошной лед. Вы молитесь, чтобы продержалась тихая погода. Один, два, три дня, неделя, все еще тихо. Лед в ноябре — вот удача! Охотники подправляют собачью упряжь, разминают заскорузлую сыромятную кожу, подтягивают потуже ремни на санях. Ежечасно наблюдатели с холма над гаванью сообщают, что, насколько хватает глаз, на море сплошной чистый лед. Лед! Это означает освобождение, двери тюрьмы открыты, заключенные на острове могут свободно общаться с миром. Свободно путешествовать, охотиться, работать. Освобождение обещает еду для всех и письмо из Америки для меня.

— Лед теперь на всю зиму, — говорят молодые охотники.

— Лед должен стоять всю зиму, — говорю я. А старики покачивают головами и бормочут привычное:

— Имака — может быть.

— Завтра? В Уманак? — спрашиваю я Давида, каюра моей санной упряжки, когда он возвращается с холма.

— Имака, — отвечает он. — Или послезавтра, может быть.

Боже мой, когда же мы сможем выехать? А какой был следующий день! Ясный, тихий, морозный. Только угрюмые старики качали головами. Старое дурачье!

Постепенное заволакивание неба тучами, наступившее во второй половине дня, было бы более заметно, если б вся округа не вступила уже 14 ноября в девятинедельный период жизни без солнца. Тучи, конечно, могли бы вызвать беспокойство, если б не бурный оптимизм по поводу льда, царивший во всем поселке. Облачность и мертвый штиль; это могло бы предвещать просто снегопад. Нет, это предвещало бурю. Она бушевала всю ночь, в абсолютной темноте; она бушевала и на следующий день. Когда в сумеречном свете полудня мы собрались на холме, посмотреть, что она наделала, то увидели чистое пространство взбаламученной бурей воды там, где был лед.

Я не сомневаюсь, что эти дни без солнца, сумеречный свет действовали на меня, навевали еще более страшные мысли. Но я приветствовал абсолютный мрак самых облачных ночей, так как он освобождал от постоянных напряженных усилий скрывать свое беспокойство. Только в темноте я мог оставаться один. И я часами шагал по прибрежной полосе, выискивая облегчение в разговоре с самим собой, в слезах, в полном отказе от сдержанности. Остаться дома временами становилось невыносимо. Саламина так много понимала, знала. От нее у меня не было секретов, а мое горе оставалось моей самой интимной тайной. Кому какое дело, если я не разговариваю, не улыбаюсь, не смеюсь? Разве я не имею права на собственные мысли? А Саламина, следившая за мной, вдруг поднималась и уходила из дому. Конечно, я все понимал, разве я не видел ее покрасневших глаз? Господи, до чего я ненавижу эти постоянные слезы!

Двадцать третьего декабря, когда мы ужинали при свете лампы, слуга Троллемана принес три листочка бумаги, три радиogramмы. Я дал мальчику сигарет и поблагодарил. Когда он ушел, я взял листочки, прочел один за другим, положил их, потянулся к маслу и начал намазывать ломоть хлеба. Внезапно рядом со мной оказалась Саламина. Она обняла меня за плечи, прижалась головой и судорожно разрыдалась. Она знала, что та телеграмма не пришла.

Я уже говорил, что все это было кошмаром, что я закрыл глаза и сам устроил себе темноту. Для меня, во всяком случае, она была так реальна, таким полным мраком, что единственный испачканный листочек бумаги, принесенный мне на следующий день, в сочельник, был как солнце в этой полуночной темноте. Взошедшее для меня солнце ярко сияло на рождество.

XXXI

Рождество

Тонким стволом рождественской елки служил бивень нарвала — сужающийся кверху костяной стержень высотой в шесть футов. Ветви елки были из изящно изогнутой проволоки. Сердцевидные картонные листья, выкрашенные в зеленый цвет, были прикреплены пучками и дрожали, как листочки осины, на своих тоненьких черенках из пружинившей проволоки. Елка казалась живой; она цвела разноцветными бумажными цветами, сверкала висевшими на ней украшениями из фольги и пылала свечами. Елка была очаровательна.

Подарки мы завернули в папиросную бумагу, которую собирали несколько месяцев, пакеты перевязали полосками цветной бумаги и красными ленточками от сигар. Подарков была целая куча.

Обед, мы готовили его две недели, состоял из (как бы это назвать?) целой бочки рагу, приготовленного из сушеной фасоли, сушеного гороха, пеммикана, бекона, тюленьего мяса, матака и, разумеется, мяса белухи. Рагу получилось вкусное. Мы запаслись десятками хлебов и наварили две бочки пива.

Саламина по случаю рождества надела анорак из жемчужно-серого шелка, пояс в полоску, в цветах которого преобладал красный, новые штаны с превосходными аппликациями из кожи, новые, конечно, ярко-красные камики, красные серьги с подвесками сверкали в ушах, на шее висело ожерелье из красных бус.

Рождественский наряд Елены состоял из новых камиков и яркого ситцевого платья поверх ее мальчишечьей одежды.

По случаю рождества я обул новые камики необычайной красоты, сшитые из тонкой черной тюленьей кожи; вверху кругом шла белая полоса в два дюйма шириной с вышивкой по краю; по голенищам спереди тянулись вышитые полосы; узкий белый кант отмечал край подошв. Молодежь любит франтить. На мне был бумажный анорак бледно-голубого цвета. Я постригся и вымыл шею.

Все приоделись по случаю рождества: на гору у церкви поднималась нарядная процессия. В полдень к нам в дом явилась премилая компания ребят: все они умылись.

Когда дети, получив конфеты и другие подарки и досыта поглазев на елку, вышли гуськом на улицу, там внезапно разразилось такое веселье, будто бы они в доме стояли, затаив дыхание. Гренландские дети — тихий народ, и они не становятся живее оттого, что родители тайком пугают их нами, иностранцами-путешественниками вроде меня, или доктором, или начальником торгового пункта.

Взрослые — другое дело. Они считают, что нами удобно пугать детей. Но сами не робеют. Они могут испытывать к вам самые различные чувства: удивление, зависть, дружелюбие и презрение, но, отправляясь к вам в гости, рассчитывают на пир и являются с хорошим аппетитом. Если усилием воображения можно заставить себя поверить, что у этих любителей тепловатой овсяной каши есть вкус, то ваша еда, ваши напитки, ваше угощение, Саламина и Рокуэлл Кент, были хороши. Им они понравились.

Как обычно, самыми веселыми были самые старые. Невольными нарушениями современного этикета, вызывавшими взрывы хохота у молодежи, или своей непринужденной веселостью они поднимали настроение.

— Аияя! — кричала Шарлотта, найдя среди своих подарков плитку табаку. — Куя, куя, куя!

Она разошлась, и никто не мог ее опередить. Если ж она не вызовет оживления среди собравшихся, то ничто не поможет. Я хотел бы, чтоб моими гостями были глубокие старики или жить в то время, когда эти остатки старины были молоды. Хорошо, наверное, жили те, кто сейчас, ковыляя к могиле, распевают: «Спасибо!»

Пообедавших в нашем доме гостей отсылали пить кофе к Софье — блестящий план, благодаря которому мы каждый раз освобождали дом для следующей партии. А если бы им захотелось там застрять — что ж, она знает, как с ними управиться. Впрочем, нашлось достаточно развлечений — кафемиков, конечно — в других домах, чтобы гостей потянуло в новое место.

К концу дня, когда темнота спустилась, весь поселок стал аренной празднества. Не знаю, может быть, оно длилось всю ночь, во всяком случае, на следующий день празднество было в разгаре. Едва мы успевали вернуться домой с кафемика в одном доме, как появлялся разодетый ребенок и приглашал в другой. Во всех домах сделали уборку, все они украшались доступными произведениями искусства:

бедные дома — простыми газетными иллюстрациями, богатые — цветными рождественскими открытками и литографиями. Все дома были увешаны самодельными бумажными гирляндами, а во многих стояли самодельные деревянные рождественские елки. Все дома были иллюминированы свечами и снабжены — думаю, по очереди — кофейными чашками и ложечками, и почти везде угощали пирогами, а кое-где сигарами и сигаретами. Короче говоря, хотя мы все сделали для того, чтобы гости веселились, веселья не было. «Мы все разделись, — казалось, говорили люди, — и не знаем, чем заняться». Вот вам сегодняшняя Гренландия!

XXXII

От рождества до крещения

Вот опять! Бух! Бух! Бух! Можно подумать, что сегодня 4 июля, но это только 30 декабря. Настраиваются к новогоднему вечеру. Завтра начнут по-настоящему.

Бух! Звук так силен, будто выстрелили в комнате. Дверь распахивается, в комнату врывается старая Беата.

— Крону, крону! Давайте ее мне! Я ее подстрелила! — И Беата квохчет от смеха, повертывая по своему обыкновению во все стороны забавное туловище.

— Вы не могли подстрелить крону, Беата, потому что в доме нет ни единой. Вот, может быть, вы подстрелили эти сигареты. — И я даю ей горсть.

Если бы я не спас банк от нашествия вкладчиков, то он бы лопнул. Нашествие вкладчиков? Это было нападение грабителей. Весь день перед самой моей дверью или под окном раздавались оглушительные взрывы, а затем входил стрелок, требуя чего-нибудь. Я спас свои лампы, флейту, спас множество ценных вещей, отдав взамен их значительное количество шнапса, табака, пива и сгущенного молока. Те, кто не стреляли в мою собственность, приобретали ее, приходя ко мне в дом с новогодними поздравлениями. Они шли поодиночке или группами, разодетые, большей частью парни. Войдя, каждый из них вежливо пожимал мне руку, а потом просто стоял и сконфуженно ждал.

А вечером, в канун Нового года, внезапно, как будто все торопились закончить до наступления Нового года все то, что оставалось недоделанным, на меня посыпался такой дождь довольно страшных изделий из тюленьей кожи: спичечниц, футляров для ножниц и часов, кисетов, кошельков, что я был растроган чуть не до слез. Я немедленно созвал всех женщин, поднесших эти подарки, и их мужей на ужин с танцами. Ну, скажу я вам, отпраздновали же мы канун Нового года! Наше дружеское веселье разгорелось, как пламя на начиненном фруктами, сочащемся ромом роскошном рождественском пудинге. Наконец не в силах сдерживать любовь к людям, мы вооружились бутылками млека доброты человеческой (90-градусной

крепости) и пошли по поселку от одного конца до другого, от дома к дому, поднимая тех, кто спал, и всех подряд поздравляя «С Новым годом, с новым счастьем».

Наступил уже Новый год, но рождество должно было длиться еще пять дней.

Я не знал, какой сегодня день, который час, где я. Я ничего не знал, а только слышал, как во сне, необычайную музыку, пение ангелов. Сон? Не может быть, я уже не спал. Открыл глаза, да, в комнате горела лампа. Я чувствовал, как до моего ложа доходит тепло от печки. Вон Саламина ходит на цыпочках по комнате. И все же слышна музыка: созвучно поющие голоса, близкие, но приглушенные, удивительно нежные. Они пели «Venite adoremus».^[23] Сознание вернулось ко мне, я вскочил. Взял лампу и поднес ее к окну так, чтобы свет падал на снег. Сквозь замерзшие стекла я разглядел стоявших под окном людей. Поставив на подоконник в ряд зажженные свечи, я вышел.

Вышел к ним как раз, когда пение кончилось. Было холодно, очень тихо и темно. Внизу, как будто от падающего снега, стояла завеса, вверх на небе светились несколько звезд. «Спасибо, спасибо», — говорил каждый, принимая от меня подарок. Было утро крещения.

К тому времени, когда певцы, закончив обход поселка, вернулись к нам, уже был готов завтрак — кофе с пирогами, на которые я их пригласил. Кофе и пироги на крещение в обществе ангелов! Едва они улетели, как пришло множество гостей: день начинался хорошо. Как следует согревшись, они ушли. Только затихло эхо их шагов, как снаружи донесся громкий говор, шум в передней, забарабанили в дверь. В комнату ворвалась толпа, толкая перед собой три бесформенные демонические фигуры, укутанные в меха, непристойно приплясывающие, с черными, жутко гримасничающими лицами: воплощение сладострастного кошмара. Крещенский вечер — начались танцы. Даже собаки разбежались в страхе перед тем, что бродило в ночи.

XXXIII

Лед

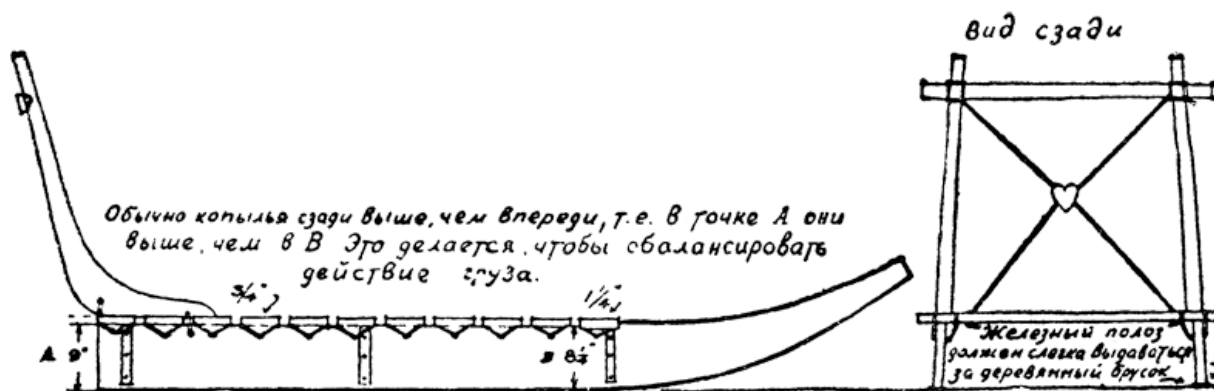
Тот новый год начался, как и следует, ледоставом. Весь декабрь продолжалось это неопределенное состояние: вот-вот, но не совсем. Каждый раз в тихую погоду образовывался лед и снова ломался. Сломанные льдины носились по течению или, гонимые ветром, с грохотом сталкивались, образуя в месте соприкосновения краев валы и заграждения изо льда, которые усталому путешественнику доставляют точно такое же удовольствие, как идущим на штурм войскам сооружения под такими же названиями. Но мороз беспощаден. Лед, образовавшийся после сильных морозов, держится крепко. Свободные ото льда участки постепенно уменьшаются, затем и они полностью покрываются льдом. Наконец 1 января Давид, зная о моем твердом решении ехать на санях в Нугатсиак, объявил, что можно уже спокойно попробовать.

Гренландские сани и гренландский способ впрягать в них собак заслуживают описания и даже иллюстрации более определенной, чем словесная картина. Поэтому на следующей странице приводим эскиз гренландских саней.

Мои сани имели в длину девять футов и в ширину три. Для придания им гибкости сани скрепляются ремнями из сыромятной кожи. Собак запрягают веером.

Может показаться, что при веерной упряжке часть силы тяги крайних собак теряется. Теоретически это верно, но в действительности потеря незначительна. Постромки имеют в длину от девяти до двенадцати футов, и хорошие собаки при умелом управлении бегут рядом. Просто поразительно, какой малый фронт занимает идущая компактно упряжка даже в двенадцать или четырнадцать собак. Упряжка веером имеет свои преимущества в условиях Гренландии. Деревьев там нет, другие препятствия встречаются редко. Снег на морском льду обычно так плотно наметен ветром, что нет надобности прокладывать путь. Гренландец-каюр сидит так, чтобы бич доставал до всех собак.

— Эу! Эу! — Давид хлопает бичом по сапогу. Мы трогаемся.



Обычно копылья сзади выше, чем впереди, т. е. в точке «А» они выше, чем в точке «В». Это делается, чтобы сбалансировать действие груза. / Железный полоз должен слегка выдаваться за деревянный брусок (вид сзади).

Нас трое в моих санях: Давид, Саламина и я. Мартин сопровождает нас на своих санях, один; Саламина не хочет ехать с ним. Мы выезжаем днем в половине первого. Прекрасный день: тихий, безоблачный, для нового года не холодно. На горах, к югу, розовый свет. Горы позади нас вырисовываются темными массами на светящемся небе. Нам предстоит сначала пересечь поле шириной в милю, покрытое преградами в виде нагроможденных одна на другую льдин. Мне, новичку, оно казалось совсем непроходимым. По такому льду нельзя ехать, удобно развалившись на санях. Езда по нему — работа, тяжелая работа. Поднять, толкать вперед, придержать, полегоньку спустить вниз; сбросить с ледяного выступа зацепившуюся за него постройку, вытащить собаку, провалившуюся в яму. Но Саламина ехала с нами, она сама захотела, ее это забавляло. Все кончилось благополучно. После области сжатия льдов мы попали на хорошую дорогу. Сани легко скользили по неглубокому снегу, собаки бежали ровной рысью. Когда наступила темнота — ночь была темная, — мы уже успели покрыть три четверти двадцатидвухмильного расстояния до Нугатсиака.

Но настоящая темнота была под нами: гладкая белая снежная равнина сменилась темным голым льдом; там и сям в нем чернели участки еще не замерзшего моря. На восток, в сторону суши, простиралась чистая вода. Нас беспокоило, что впереди. Подъехав к одному из бесчисленных айсбергов, возвышавшихся над ровной

поверхностью замерзшего льда, мы остановили собак. Давид с Мартином взобрались на айсберг, чтобы осмотреть местность. Плохо, сообщили они. Мы пересадили Саламину в сани Мартина и поехали дальше, но теперь уже на запад почти под прямым углом к нужному нам направлению.

Если бы сейчас, рассказывая об этих часах на льду, я сделал вид, что имел какое-нибудь представление или понятие о том, что мы делали, то лишил бы наше приключение остроты, — я ничего не понимал. Если, к несчастью, я случайно оказался бы там один, то бежал бы от этого голого льда, как от смерти. Он походил на оконное стекло, через которое мы смотрели в глубину, обычно так пугающую наше воображение. Мы не всегда рассуждаем здраво: можно утонуть на шестифутовой глубине так же легко, как на глубине в шестьсот футов, но эти сотни внушают ужас. А когда между нами и водой лед, мысль связывает воедино толщину льда и глубину воды.

Скоро выяснилось, что лед тонок не только в моем воображении; Давид знал это. Остановили собак, и Давид с Мартином стали искать дорогу, пробуя лед длинными пешнями с долотообразными наконечниками, которые они, подвигаясь вперед, втыкали в лед. Такая пешня входит в комплект оборудования саней. Когда мы снова двинулись в путь, Давид пошел пешком впереди.

Поразительно, как собаки слушались его. Подаваемые команды часто произносились так тихо, что мой слух их не улавливал. Царила глубокая тишина, как будто нужны были все наши чувства, чтобы найти дорогу.

Уже ясно стали видны огни Нугатсиака, но почти одновременно мы убедились, что от цели нас отделяет пространство чистой воды шириной в несколько миль, тянущейся вправо и влево за пределы видимости. Повернули на запад, обходя по кромке воду. В конце концов нам удалось обогнуть воду. Этим мы обязаны и правильному решению наших каюров, основанному на хорошем знании местных ледовых условий, и неутомимой энергии Давида, шедшего всю дорогу впереди.

У самого Нугатсиака мы вышли на более прочный лед. Давид бросился рядом со мной в сани, собаки перешли на рысь.

— Эу! Эу!

Поездка подходила к концу. По льду к нам бежали люди, встречая первых в эту зиму приезжих — целое событие. Вдруг одна из собак

покачнулась. Несколько мгновений она шаталась, потом упала. Сани наехали на нее, подмяли и потащили дальше. Мы остановились, подняли собаку, поставили на ноги. Она зашаталась, как пьяная, и опять упала. Давай ее на сани, садись на нее, держи, поехали дальше! Сопровождаемые толпой, мы с треском перевалили через ледяную преграду и выехали на берег. Теперь вверх, по крутому береговому склону, по голым, обдуваемым ветром уступам прямо к дому Павиа. Остановка. Дюжина рук распрягла собак, отвязала груз.

— Входите! — кричал Павиа, пират с серьгой в ухе.

А собака? Она здорова или поправится к утру. Просто опьянела, объелась краденым свежим акульим мясом; это мясо для них отравя.

Дом Павиа, как всегда, запущен. Грязно везде, но грязнее всего на кухне. Она отвратительно грязна. Как кухня может не быть отвратительно грязной, если размеры ее восемь футов на восемь и она забита и днем и ночью грязными приживалами, бездельниками, бродягами, слугами, родственниками и друзьями? Здесь были клуб и ночлежка нугатсиакских бедняков.

Из кухни видна спальня, так как дверь, ведущая в нее, открыта. Дверь держали открытой, чтобы вонючий теплый воздух из кухни шел в спальню, а семейные запахи могли выходить из спальни. Эта комната тоже переполнена. На всю семью у них одна большая двуспальная кровать. Одни дети лежали в постели, другие сидели на ней, третьи восседали вокруг на горшках. Ане, веселая пышная жена Павиа, сидела среди них и кормила своей гольштинской грудью сироту-младенца, которого они из жалости приютили.

— Идем! — сказал Павиа. Я последовал за ним через другую дверь в комнату, которую, несомненно, называли столовой-гостиной, так как ею редко пользовались. Это была хорошая большая комната, обогреваемая отдельной печью и обставленная дорогим шведским гарнитуром под красное дерево, какие заказывают по почте. Путь из кухни в гостиную — как бы символ жизненного пути хозяина: от того, чем был Павиа, к тому, чем он станет. Но Павиа и Ане были неисправимо чистопородной, старомодной, добродушной гренландской парой, отличавшейся в своем возвышении над остальными тем, что не обращали на него внимания. Возвышение только предоставляло Павиа возможность больше помогать другим. Приходи, кто хочет, приходите все — вот его образ жизни. Заходите, садитесь, ешьте, пейте,

веселитесь; да, пейте — пить он любил. И так как всегда можно рассчитывать, что пиво у Павиа есть, то никогда нельзя надеяться лечь спать раньше, чем не разопьешь его с Павиа.

Народ на кухне — ну, эти еще будут там сидеть. Они лягут спать на полу; девушка вытрет перед сном пол — он в этом нуждается. В гостиной Саламина разостлала наши спальные мешки.

— Спокойной ночи, Павиа!

Слава богу, спокойной ночи!

XXXIV

В Уманак (первый день)

Около полуночи в сочельник для моей истерзанной мыслями души пришла, как я уже говорил, радиограмма. С той поры мой мозг постоянно сверлила одна мысль: ответить на нее, доставить телеграмму в Годхавн.

Одно из основных преимуществ Игдлорсуита перед большинством других поселений округа состоит в том, что лед вокруг него крепок. В начале зимы, иногда несколько раньше, иногда позже, пролив неизменно замерзал, и море превращалось в большую дорогу к Нугатсиаку и фьордам материка. Охотников мало беспокоило или даже совсем не интересовало, что будет делаться на обширном пространстве Уманакского фьорда и будет ли в Уманаке лед или нет. За последние годы замерзание фьорда стало скорее исключением, чем правилом, и зимнюю почту отправляли иногда попеременно на лодках и на санях кружным длинным путем через Сатут, Увкусигсат, Кангердлуарсук и Кангердлугсуак. Но кого это беспокоило? Почтальонам платят с мили.

В первые дни января, о которых мы рассказываем, кружной путь мало годился для путешествия из-за того, что фьорды не замерзли. В этом мы убедились собственными глазами в новогодний день. Сообщения охотников в последующие дни не обнадеживали нас: лед образовывался медленно. Я поднимался на вершину горы для наблюдений, но это не ускоряло дела: когда смотришь на кастрюлю, она никогда не закипит и не замерзнет. Давид был моим оракулом.

— Завтра, — наконец сказал он, — мы трогаемся в путь.

Было прекрасное раннее утро, безлунное, но светившееся звездами, девственной белизной земли и замерзшего моря. Дымка снежной пыли, низко висевшая над землей, скорее чувствовалась, чем была видна. Сани уложены, собаки пойманы и запряжены. Готово? Пошел! Стремительным броском с горы вниз, через ровный участок, через прибрежную полосу с треском и толчками, через нагромождения прибрежного льда — выехали! Сани плавно скользят по равнине. Из темноты перед нами возникает человеческая фигура: старый Томас осматривает свои удочки на акул.

— Инувдлуарна, Томас, желаем счастья!

— Ивдлудло! И вам того же!

Темнота проглатывает его, мы одни. Высоко вверху, позади нас, к югу, северное сияние машет рдеющим занавесом над снежными вершинами нашего острова.

По воде до Уманака пятьдесят миль. Круглой путь, по которому мы ехали, втрое длиннее. Мы рассчитывали проехать его за три дня с двумя ночевками в пути. Более детально зимнюю дорогу не планируют. Из Игдлорсуита выехали в восемь.

Теперь в оправдание за подробное описание арктического путешествия, которому будут посвящены эти страницы, я должен сказать следующее: если эта книга хоть *чем-нибудь* напоминает настоящую жизнь, то прежде всего тем, что главное в ней не достигнутая цель, а случившееся попутно. Гренландская жизнь прекрасна тем, что здесь совсем не думают о жизни ради достижения какой-нибудь цели. Все идет само собой. Приятно не нести с собой флага, не тащить глупого плаката со странным лозунгом, чувствовать, как хорошо остановиться по дороге в никуда и оглянуться назад. Завесы северного сияния над снежными вершинами Игдлорсуита так же трогают меня, как и звезды над туманом, окупающим наш путь. Последуйте за мной, ибо мы с вами новички в путешествии по Арктике, и разделите со мной, если это возможно, удовольствия и тревоги, восторги и усталость — все, что мы испытываем в пути миль за милей.

Нас двое, Давид и я. У нас семь собак. В Гренландии обычно двое мужчин не ездят на одних санях. Но у Давида нет собак, а я не мог и не хотел путешествовать один. Два человека при хорошей дороге — это для семи собак не груз. Мы не везли с собой ничего тяжелого: немного одежды, оборудование для привалов, фотоаппарат, киноаппарат, провизия, корм для собак.

На пути до Кангердлугсуака не было других препятствий, кроме редких нагромождений торосов или отдельных больших обломков ледникового льда, которые мы могли легко обогнуть. Собаки взяли такой аллюр, что я, решив бежать позади саней, скоро был вынужден поддерживать темп, моментально меня измотавший. Насквозь мокрый от пота, я, задыхаясь, бросился наконец на сани рядом с Давидом. «Ты схватишь смертельную простуду», — сказали бы мы всякому, кто сел

бы такой мокрый и разгоряченный, как я. Почему-то там, на севере, не простужаешься. Просто делается холодно. Я замерз и скоро опять был на ногах, собираясь бежать. Снова разогрелся и взмок. Жарко, холодно, жарко, холодно. Хорошо бежать так, если только хочется. Мне же следовало бы помнить, что в этот день нам предстоит проехать сорок пять — пятьдесят миль до ночлега и что жизнь в течение трех месяцев на маленьком острове как в клетке, — плохая подготовка к марафонскому бегу.

Черт с ней, с осторожностью! Мыслимо ли было сидеть с таким пылом внутри? С такой телеграммой, какую я вез прижатой к груди? «Лопум, дубку, дубев, дубме, дубог», — говорилось в ней. Пылающие, магические слова. Написанные кодом? Конечно. Пусть так и остаются.

До Кангердлугсуака было пятьдесят миль. Оглянувшись назад, когда огибали мыс, мы увидели южное небо, освещенное дневным светом. Здравствуй, день! Прощай! Перед нами был мрак каньона. Мы въехали в него и сразу как будто съежились до размеров насекомого рядом с подавляющей грандиозностью горных обрывов. Казалось, что мы ползем. И действительно, мы почти ползли. Покрытую снегом равнину внезапно сменила ледяная поверхность, ровная, гладкая, без единого препятствия, как только что замерзший пруд. Молодой черный лед был едва прикрыт белым инеем: «Снег», — подумал я; но это были кристаллы соли, выделившейся, как я предположил, при замерзании. Собаки налегли; железные полозья саней скрипели по соли, как по наждачной бумаге. Теперь мы оба должны положиться на свои ноги.

Облегченные от груза собаки могли бежать рысью. Собачья побежка, мы в тот день изучили этот аллюр, слишком быстра, чтобы человек мог идти шагом, но слишком медленна, чтобы он мог бежать. Этот темп, заданный ногам человека, может довести до истощения. Миллю за милей мы терпели и наконец скорее от умственного утомления, чем от настоящей усталости, не выдержали и решили ехать на санях. Только один из нас садился на сани, другой бежал. Мы ехали на санях поочередно, не делая остановок. За этот день и вечер нужно было проехать еще много. Полная темнота настигла нас скоро — мы не проехали по фьорду и полдороги. С этого момента мы могли ориентироваться только по свету, который падал от маленькой полосы безлунного неба, видневшейся в зените между горными обрывами; ничего, кроме этого света и освещенных звездами вершин.

Мы двигались уже несколько часов, большей частью пешком, рысью, по поверхности, твердой и неподатливой, как бетонное шоссе. Мы были обуты в эскимосскую обувь — камики на подкладке из собачьего меха и внизу набитые травой, но для той нагрузки, которую несли наши ноги, подошвы камиков были недостаточно мягки. Мы оба начали хромать — больно топтать натруженными ногами по твердому льду. Но, когда я попытался посочувствовать Давиду, тот только ухмылялся. «Аюнгулак», — говорил он и продолжал ковылять дальше.

Тьма впереди была непроницаема; время для меня тянулось бесконечно, бесконечными представлялись и часы, и мили, и расстояния. Впереди на фоне неба виднелась громадная черная масса. «Там, — сказал Давид, — мы устроим привал». Но прошло уже много часов с того времени, как он сказал это, а до привала, казалось, было все так же далеко, как и раньше. Мы смотрели вперед и жили ради достижения цели. В ту ночь мы считали, что достижение цели имеет значение. Естественно! Что значило для нас окружавшее черное однообразие? Если вы должны жить ожиданием будущего, то сделайте для себя настоящее унылым, заставьте его в истинно христианском духе превратиться в юдоль скорби и живите надеждой на рай. Можно сказать, что пылкость веры в блаженство рая обратно пропорциональна способности человека весело проводить время.

Не помню, как мы наконец добрались до черной массы — скалы высотой около тысячи футов. Дорога была усыпана упавшими с горы камнями, и мы подумали: что если глыба свалится сейчас! Миновали скалу, въехали в небольшую пещеру позади нее, остановились.

— Подождите здесь, — сказал Давид и скрылся в темноте. Я зажег спичку, посмотрел на часы. Было девять часов.

Давид, вернувшись, сказал, что в пещере, где устраивают привал охотники, мокро. Спать там нельзя. Значит, нам нужно поставить палатку.

Я совсем не знал, как ставят палатки на льду. Никогда не ставил и даже не читал об этом. Я не торопился начинать, но, глядя, как Давид привязывает собак, понял, что надо делать. Он взял пешню и ловко вырубил глубокий клинообразный паз во льду. Принимая во внимание, что этот паз был рассчитан на то, чтобы держать на привязи семь собак, я счел задачу установки палатки разрешенной. Несколько таких клиньев, несколько камней, валявшихся под рукой на берегу, сани; за

несколько минут мы поставили палатку. Я разостлал полотнище, положил на него оленью шкуру, внес спальные мешки — ах, нет, только один, свой — где же ваш мешок, Давид? Зажег примус, поставил на него кастрюлю со снегом. Через пять минут в палатке стало так тепло, что мы начали стаскивать с себя верхнюю одежду. А Давид не знал — я не хотел, чтоб он знал, — что я в этом деле новичок.

Мы ели — что едят в книжках об Арктике? — мы ели пеммикан. Первоначально пеммикан готовился американскими индейцами из толченого сухого мяса, смешанного с жиром. В наше время его покупают в консервных банках. Мой пеммикан был высокого качества, какое только могут обеспечить первоклассные датские повара. Я приготовил кастрюлю пеммикана с рисом. Наелись досыта.

— Давид, а где же ваш спальный мешок?

Я спрашивал его об этом еще перед отъездом.

— Да, — сказал он тогда, — мешок есть. Сейчас Давид ухмыльнулся.

— У меня нет мешка.

Насколько я мог заметить, у Давида всего было мало: не было спального мешка, не было мехов, очень мало одежды. На нем штаны из тюленьей шкуры, но под ними, вероятно, нет ничего; свитер и выношенный бумажный анорак, вязаная шерстяная шапка, сапоги. Вот и все. Ночь была морозная.

— Аюнгулак, — сказал Давид со смехом.

Я отдал ему все, что только мог, залез в свой теплый спальный мешок из оленьего меха и задул свечу.

«Замерзнет, бедняга, не заснет», — думал я, лежа в мешке.

— Хррр! — ответил Давид.

Так прошло четырнадцатое января.

XXXV

Второй день

Не было еще девяти часов, когда мы следующим утром снова тронулись в путь. Все было в порядке, мы выспались, выпили кофе; затем снялись, погрузились, запрягли собак, выехали. Предстоял подъем на гору.

Поискав некоторое время место для того, чтобы выбраться на берег, мы нашли наконец подходящий участок близ устья замерзшей речки и двинулись вглубь по крутому склону. Странная это была езда по скользкому склону. Мы трогались, но тут же теряли скорость, так как собаки начинали скользить. Мгновение сани держались на месте, пока собаки и мы отчаянно цеплялись за лед, затем соскальзывали назад. Все кончалось злобным рычанием собак и людей. У нас не было альпийских кошек с шипами, и мы не могли удержаться. Наконец, привязав к саням бечеву, один из нас впрягся в нее и, взобравшись на крутой берег речки, оказал собакам ту небольшую помощь, которая им требовалась.

Преодолев подъем, мы вышли на участок тонкого льда, оболочку, под которой была пустота. Проваливаясь на каждом шагу, мы шли по колено в воде по бегущему под этой ледяной коркой горному потоку. Дорога все время круто поднималась. Но все трудности кончились у его истока, у озера, превратившегося в гладкую, твердую снежную равнину. Собаки перешли на рысь, мы прыгнули в сани. Езда на санях снова стала удовольствием.

Местность за озером была неровная. Мы шли по извилистому ущелью, спускались вниз, поднимали сани, толкали их сквозь сугробы снега на склонах гор, взбираясь все выше, выше. Господи, неужели здесь нет вершины? Выше, выше, вершина наконец!

— Это вершина?

— Нет еще, — ответил Давид и кивнул головой в ту сторону, куда мы направлялись. Да, я уже раньше видел этот изумрудный ледниковый обрыв.

— Разве мы должны взбираться на этот обрыв, Давид?

— Да.

Это был язык большого ледника. Стекая с гор вправо от нас, язык простирался поперек пути и преграждал нам его обрывом. Дальше ледник, сужаясь, спускался к югу, к Кангердлуарсуку, и кончался, не доходя до фьорда. Наш путь шел через ледник.

Благоговение перед гренландскими собаками почти заставило меня поверить, что они взберутся на нависший над нами обрыв, но у самого обрыва мы свернули в сторону. В том месте, где собаки взобрались на ледник, подъем шел под углом почти в шестьдесят градусов. Со строением склона, скрытого от наших глаз снегом, мы познакомились на ощупь, руками и ногами, по мере подъема: это была куча ледяных глыб, отколовшихся от ледника. То, что эта дорога, которой пользовались люди в своих зимних поездках на протяжении жизни многих поколений, не превратилась в пологий склон из человеческих костей, объясняется изумительными качествами гренландской собаки и ее хозяина. Вот этот подъем высотой всего в сто футов, из них шестьдесят футов невероятной крутизны, мы преодолели.

Мы почти лежали ничком на этой стене и ползли вверх по снегу. Опереться ногой было не на что, разве только на глыбы льда. Собаки, напрягая силы, подтягивали сани на один-два фута. Затем, поскользнувшись, беспомощно барахтались, запутывались в упряжи и начинали драться. В дело вступал бич, его пистолетные выстрелы, его укусы, подобные удару шпаги. Собак разнимали, они снова принимались тащить. Мы, люди, помогали по мере своих слабых сил. Мы не только подталкивали сани кверху, чуть ли не неся их на головах, но и удерживали их на месте, когда среди собак возникал беспорядок. Изнурительный подъем; мы преодолели его!

Дорога по поверхности ледника оказалась тяжелой. Снегу было мало, а гравий, вмерзший в лед, мешая скользить полозьям саней, терзал наши усталые ноги и действовал на нервы. Б-рр, скрежет полозьев саней по гравию. Неважно, Кангердлуарсук уже виден; дорога к нему шла вниз. Но, чтобы достичь его, нужно много времени. Медленно продвигались мы по старому, покрытому гравием и усеянному трещинами леднику и по его длинной морене. Когда наконец достигли фьорда, было уже за полдень.

По фьорду движение не ускорилося. Как и накануне, поверхность льда казалась покрытой песком. Усталые собаки шли шагом, порожние

сани были для них свинцовым грузом. Это нас устраивало: такая скорость вполне подходила для охромевших.

День был облачный, и вскоре стемнело. Дул резкий восточный ветер. В шесть часов остановились, чтобы дать отдохнуть собакам и подкрепиться. Горячая пища — как это было вкусно! Спустя сорок минут мы уже снова в пути.

Давид, знавший эти ледяные пустыни, как мы знаем лужайку перед своим домом, опасался, хорош ли будет лед за мысом Акпатсиайт, который нам предстояло обогнуть после выхода из фьорда. Опасения его оправдались. Лед был молодой, гладкий, сани легко скользили по нему. Но чувство облегчения от езды сидя мы могли бы сдобрить приятными размышлениями о смерти, будь у нас к тому склонность. Лед был тонок. Он стал так тонок, что Давид, всегда благоразумный, скоро слез с саней и пошел впереди. Поверхность льда прогибалась от нашей тяжести, и при каждом ударе длинная пешня проходила насквозь. Два дюйма? Может быть, три? Я не мерил. Но лед был тонкий.

Я уже говорил о послушности гренландских собак в такие минуты; она производит сильное впечатление. Давид тихонько свистел, подавая собакам сигнал остановиться. Они мгновенно останавливались и ложились, спокойно глядя, как он уходит вперед, в темноту. По сигналу, поданному почти шепотом, псы опять вскакивали на ноги и направлялись вслед за хозяином, снова останавливаясь по его тихому свисту. Мне абсолютно нечего было делать, и, убедив себя, что под опекой Давида можно ни о чем не беспокоиться, я растянулся на санях и вскоре задремал.

Это был почти сон, пребывание на самой грани сна и сознания; в моей голове цепью проходили чудесные сновидения. Сновидения, великолепный мрак и легкое, спокойное движение саней по гладкому льду сделали этот час незабываемым. Временами, в полусне, неясные фигуры собак представлялись мне двухмерными силуэтами на светящемся темном фоне. Я не чувствовал движения саней вперед, не проезжал мимо чего-нибудь, что позволяло бы судить о нашем продвижении, и мне чудилось, будто собаки выстроились в ряд и пляшут предо мной. Они казались человечками, а не собаками; чудными, похожими на гномов, маленькими людьми. Иллюзия была настолько полной, что я вынужден был заставить свой разум

разобраться в ней. Но и тогда, когда я понял что к чему, увидел, что эти подпрыгивающие головы человечков — хвосты, их плечи — спины, засунутые в карманы руки — бока собак, ноги людей — тоже ноги, но только задние ноги собак, даже когда усилием мысли понял все это, я снова с наслаждением возвращался к той же иллюзии. Когда мы нагоняли Давида, он возвышался над нами, как великан. Да, я устал.

Но вот выбрались на крепкий старый лед. Вскоре показались огни Увкусигсата. Собаки оживились и помчались, как будто бежали домой. Мы сидели на санях. Так пересекли фьорд. Земля простерла свои объятия, охватила нас. Прогремели по прибрежному льду и выехали на берег. Нас окружила толпа. Прибыли!

Начальник торгового пункта в Увкусигсате, Флейшер, двоюродный брат и деверь Саламины. Noblesse oblige^[24] — он не похож на Павиа. Флейшер не раздражается шумными приветствиями, в нем нет мещанской фамильярности или пиратского широкого размаха. В нем вообще нет ничего, насколько можно судить. Да и где он? Куда мы денемся со всеми пожитками? Куда нам направиться? Но Давид, считая несомненным, что мне будут рады в доме начальника торгового пункта, повел туда. Когда мы вошли через калитку, дверь дома открылась, и начальник торгового пункта любезно встретил нас.

С тех пор я много раз гостил у Флейшера и всегда встречал радушный прием. Он также бывал у меня в гостях, я много общался с ним. И все же, несмотря на гостеприимство и положительные отзывы его друзей, у меня нет оснований думать, что он хороший человек. Но нет оснований думать и обратное. Редко можно встретить более безжизненного, молчаливого, угрюмого человека. Приличный, трезвый человек, хороший муж и все такое; не блестящий, не очень знающий свое дело, но честный, справедливый и порядочный — так мне говорили. Вот он перед нами, длиннолицый, мрачный. Я сказал, что он любезно встретил нас? Я солгал. Он любезно встретил меня.

— Входите, — сказал он. А когда Давид сложил свою ношу в сенях у входа, Флейшер закрыл перед ним дверь и присоединился ко мне. Эти образованные гренландцы из хороших семейств чванятся, как самые худшие из нас. У нас хоть есть кухонная дверь, в которую приглашают войти наемных работников. Впрочем, такие двери есть и в Увкусигсате, их там сколько угодно. Давид прошел через одну из них и, несомненно,

сейчас уже сидел в облюбованной им кухне и рассказывал поселку все новости. Мы были первые приезжие с севера.

Несмотря на позднее время, было уже больше десяти, в доме начальника торгового пункта послышалась возня, загремела посуда, вкусно запахло из кухни. Немного спустя мы уже все сидели за накрытым как полагаете столом — Флейшеры, муж, жена, дети, и я — и жадно ели, как будто целый день ничего не брали в рот. Хорошо готовит жена Флейшера!

И какая симпатичная, чистенькая, умелая молодая хозяйка. Она получила хорошее воспитание, у нее были хорошие манеры. Никак нельзя было определить по ее виду, что она гренландка. Впрочем, она только наполовину гренландка, так как ее отец, как при первом подходящем случае сообщил мне с гордостью Флейшер, был... ну, неважно, кем он был, — это все сплетни. Значение всегда имеет то, каков он был, а я могу на основании личного знакомства сказать о нем, что это весьма упитанный и любезный джентльмен, пользовавшийся общей любовью и уважением. Но когда во время одного из своих путешествий я, находясь у него в гостях, сидя с ним за кофе, начал говорить о жене начальника увкусигсатского торгового пункта, отзываясь о ней с заслуженной похвалой, какая, думалось, может быть приятна для отцовских ушей, он выскочил из-за стола и, сославшись на неотложное дело, выбежал из комнаты. «Странно», — подумал я. Могу здесь отметить, что упорство, с каким многие датчане, отцы хороших гренландских детей (секрет происхождения которых знают все), продолжают вести себя подобно страусам, представляет любопытное психологическое явление. Люди склонны охранять погребенные тайны, даже когда скелет их давно побелел на свету на открытом воздухе или загорел и покрылся румянцем (что-то в моей аллегории неладно).

Ой, как уже поздно! Нельзя же сидеть и болтать всю ночь. Спать! Как, на этом ложе? На этом возвышающемся горой ложе? И я разостлал свой спальный мешок на таком матрасе, на каком мне не приходилось спать уже многие месяцы. Спокойной ночи!

XXXVI

Третий день

Мы выехали в десять: нехорошо каждый раз позволять ночи отхватывать у дня лишний час. Но это последний день. Слава богу! Мы оба хромали от боли и смешно ковыляли за санями. Собаки устали. Мы ехали не спеша.

В нескольких милях от Увкусигсата миновали маленький поселок, огни которого вселили в нас бодрость накануне вечером: три домика из дерна на скалистом мысе. Миновали поселок; жители стояли и смотрели на нас. Мы помахали им на прощание и обогнули мыс.

День проходил без всяких событий, как бывает в дни хорошего санного пути. Снег лежал плотный, сани легко скользили; мы ехали на санях поочередно. Еще в сумерках стал виден Сатут, многочисленные огни этого процветающего поселения и высокие крыши его складских построек. Мы находились в одной или двух милях от Сатута, когда неожиданно одна из собак вышла из строя. Она просто легла или упала и осталась лежать. Сани пронеслись дальше, потащив собаку за собой. Давид остановил упряжку, начал бить животное рукояткой бича, пинками заставил встать на ноги. Собака вернулась на свое место, и мы поехали дальше. Вскоре она снова легла, вернее грохнулась, обессилев. Она лежала и терпела побои Давида. «Убейте меня, — казалось, говорили ее глаза, — *я не могу встать*». Мы положили ее на сани; привязывать к саням не было нужды. В Сатуте, подъехав к дому начальника торгового пункта, мы распрягли собак и отпустили их. Собаки знали свой дом.

Иохан Ланге, беспринципный жулик, который содрал с меня по пятидесяти крон за каждую собаку, этот твердокаменный гренландский торгаш, не только один из самых хитрых и умных жителей Гренландии, белых и эскимосов, но и самый любезный и щедрый хозяин, какого только можно найти, если вы ему понравитесь. Его не было дома; уехал только час назад в Уманак. Все равно, мы вошли. Элизабет, его молодая — что считать годы? — его очаровательная, похожая на девочку жена, была дома.

С той легкостью, с какой, по-видимому, она всю жизнь все делает — от рождения детей до оказания помощи им в уходе за их детьми, — со своей милой и добродушной манерой держаться, благодаря которой все еще казалась похожей на старшую сестру собственных детей, Элизабет приняла и накормила нас обоих. Усталость наша испарилась, ноги перестали болеть. Пришли девушки, завели граммофон; мы танцевали. Как трудно снова пускаться в путь.

Дорога была тяжелая. На протяжении всех шестнадцати миль — неровный лед, замерзшее ледяное месиво, все из выступов и кусков с острыми краями, о них мы ушибали пальцы, из-за них растягивали связки на ступнях. Хромающие, усталые люди, вымотавшиеся собаки, во тьме, в беспросветной тьме! Да что терзаться тем, что уже прошло! В десять часов мы достигли поселка, ворвались в него: собаки на последнем участке шли бегом, сани гремели, мы приосанились. Проснись, мертвый Уманак, прибыли первые сани с севера!

— Что это у вас с волосами? — спросил мой хозяин датчанин, уставившись на меня, когда мы вышли на свет, и рассмеялся.

Мои волосы? Чем плохи мои волосы? Саламина подстригла меня вечером накануне отъезда.

— Сделай меня таким красавцем, — сказал я ей, — чтобы девушки в Уманаке влюблялись в меня с первого взгляда.

— Что с моими волосами? — ответил я хозяину, — не знаю. Я не смотрелся в зеркало.

— Посмотрите.

Боже! Саранча или моль, по-видимому, трудилась над моими волосами и бросила работу, не закончив ее. Замечательная женщина Саламина, способная, по-деловому распоряжающаяся всем ей принадлежащим!

На следующее утро я уже был в конторе.

— Когда отправляется почта на юг? — спросил я.

— Со дня на день, скоро, — ответили мне.

Я подал свою телеграмму. И с тем душевным спокойствием, какого достигаешь, лишь когда сделаешь все, что в твоих силах, и закончишь начатое дело, я вытянул ноги, откинулся на спинку.

Мы пробыли в Уманаке четыре дня.

XXXVII

Эскимосская лайка

Активная, бдительная, умная, по типу близкая к чау или ненецкой лайке. Говорят, что она происходит от волка. Но от этого не осталось и следов. Может ли такое незаконнорожденное потомство размножаться? Не знаю. Как бы то ни было, каковы бы ни были отдаленные предки лайки, сейчас она — гренландская собака, уже много столетий несмешивающаяся с другой породой; а столетия в жизни собак — это очень много поколений. Тем не менее здесь речь пойдет о совершенно определенной породе с более длинными ногами и с более удлинённой и заостренной мордой, чем у других. Цвета они бывают разного — белые и черные, рыжие или каштановые. Они бывают и пегими, с белыми пятнами на черной или коричневой шерсти или наоборот. Из моих собак шесть было белых и одна серая с темными полосами.

В Игдлорсуите каждый день, сидя у окна за работой, я время от времени отвлекаюсь и смотрю, как сука моего соседа Хендрика открывает сама себе дверь в дом. Наружная дверь дома навешена так, что открывается во двор, и ее щеколда или какой-то запор отодвигается, если потянуть снаружи за сыромятный ремешок. Каждый раз, как сука хочет войти в дом, — а это бывает всякий раз, как ее оттуда выгонят, — она становится на задние лапы, упирается передними в дверь, берет ремешок от запора в зубы и, крепко зажав его, опускается вниз в сторону от двери. Дверь приоткрывается. Собака отпускает ремешок, широко открывает дверь носом и входит внутрь. Дверь за собой она не прикрывает. Все собаки Хендрика умеют проделывать этот фокус, но не так ловко, как эта.

Трудно сказать, есть ли у гренландской собаки какие-либо особые данные для работы в упряжке и перевозки грузов. Она вырастает на этой работе; это одно из условий ее существования, к которому собака довольно охотно приспособливается. Если ее еще щенком не запрягают и не заставляют кнутом возить себя жестокие маленькие мальчишки, то вскоре ее непременно ставят на настоящую работу с обученной упряжкой. А если у животного отсутствуют побуждения бежать вперед

и оно не обращает внимания на то, что привязано сзади, то стимулом служат щедрые удары бича. Бича собака боится, и не без оснований.

Позвольте нам в описании такого великолепного животного, как гренландская собака, рассмотреть всю ее жизнь с тем же вниманием, какое биографы уделяют людям. Рождение, родители, ранние годы, ранние влияния — все это такие же обстоятельства в жизни собаки, как и в жизни человека, которые определяют черты характера в зрелом возрасте. Возьмем к примеру одну отрицательную черту, за которую порицают нашу героиню: общее мнение давно осудило ее за свирепость. Я буду защищать ее против этого обвинения. Представьте себе собаку, лучше даже двух собак. Пусть это будут собаки Хендрика, потому что я наблюдаю за ними сейчас, когда пишу.

Передо мной две собаки Хендрика, два пятинедельных щенка. Я часто вижу, как они играют с матерью, той самой сукой, что открывает двери. Только что один из них схватил мать за хвост в тот момент, когда она поднималась по ступенькам. Собака потеряла равновесие и скатилась вниз. Но сейчас она в доме. Народ там гуманный и терпит ее. А один из щенков сидит на верхней ступеньке и посматривает вокруг.

Дверь открывается, из нее выходит мальчик Хендрика (если бы мы писали о мальчике, а не о щенке, то пришлось бы сделать оговорку относительно отцовства, но пусть остается, как сказано). Это складный, крепкий восьмилетний мальчик с золотыми серьгами в ушах, как у Хендрика. Мужественный малыш. Когда он вырастет, то будет хорошим охотником, хорошим мужем, хорошим отцом. Итак, он выходит, видит щенка. Небрежно, не вынимая рук из карманов, дает щенку ловкий пинок, от которого тот летит кувырком вниз с четырех ступенек. Не думайте, что собаке не полагается здесь сидеть или что она мешала пройти; ничего подобного. Просто мальчику захотелось дать пинок. Но щенок не обратил на это особенного внимания. Он встал на ноги и минуту спустя уже носился по двору, резвился вокруг малыша, только что лениво спустившегося со ступенек. Мальчик размахивает ногой, попадает щенку в нос, тот отлетает футов на шесть. Вот это больно! Пес скулит и убегает. «О-оо!» — зевает мальчик. Ну, теперь чем заняться?

Подходит юный сын помощника пастора, ему лет десять или двенадцать. Эти дети всегда играют вместе. Но чем заняться? Давай, поиграем с собаками. А где щенки? Вот они, внизу, под ступеньками.

Ну-ка, бери палку и гони их оттуда. Несколько раз как следует пошуровать палкой, и они вылезают. Ах, так, ты так! И сын помощника пастора лупит одного из щенков палкой. Теперь в руках каждого мальчика по щенку, которых они держат за хвосты. Они вертят их кругом себя, кругом, кругом, кругом. Наконец опускают на землю; щенки пытаются идти и не могут. У них кружится голова, они как пьяные. Страшно весело! Затем дети, вращая щенков вокруг себя, ударяют их друг о друга. Шлеп! Удар! Здорово, давай еще раз. Мальчики берут их за ногу, вращают и стучат друг о друга. Давай посмотрим, говорят дети, кто забросит дальше. Раскрутив щенков, сорванцы запускают их по касательной, и те плюхаются на землю. Но и это уже неинтересно: попробуем забросить на крышу.

Крыша у Хендрика покатая. Застреха ее находится на высоте пяти футов от земли. Взяв щенков за ноги, мальчики по очереди швыряют их на крышу как можно дальше. Щенки шлепаются, скатываются обратно, грохаются наземь. Еще раз! Еще! Опять! Животные уже совсем очумели.

Сыну Хендрика приходит в голову новая мысль. Он приносит веревочку, два куска, по одному каждому. Мальчики затягивают петлями челюсти щенков и раскачивают псов на веревочках. Если взять веревку подлиннее, то можно раскачать сильнее. А! Попробуем вот как: поднять и держать их на весу на веревке — сколько времени они выдержат. Собаки выдерживают долго, слишком долго. Детям становится скучно. Бросив очумевших щенков на землю, они дают им по основательному пинку. Потом мальчики и собаки расходятся в разные стороны.

Иногда делаются попытки утопить бедных животных в сточной канаве. Ну не совсем утопить, их просто погружают в канаву, поглубже запихивая в грязь палками. Или вот еще расскажу вам веселую штуку! Щенка загоняют в угол, из которого ему невозможно выбраться, и полосуют кнутом. Отличный способ поупражняться с кнутом.

Несмотря на проделки мальчиков, щенки вырастают. И растут они гораздо быстрее мальчиков. Они становятся такими большими, что сорванцам уже не хочется затевать с ними подобные шутки. Больших собак дети оставляют в покое. И собаки, не знаю почему, оставляют своих мучителей в покое. Бывает иногда, что ребенок неожиданно споткнется о собаку или, поскользнувшись, упадет среди собак. Псы

могут искусать его. Случалось, что и загрызали ребенка. От взрослых собак лучше держаться подальше, хотя, если смело идти прямо на них, они обычно отходят в сторону. Собаки запуганы, в этом все дело. Среди собак, как и среди людей, кусаются только трусы.

Характер собак зависит от хозяина, которого они всегда боятся. И не даром. Они получают от хозяина не только побои, но и корм. При виде хозяина у них начинается течь слюна, псы толпятся вокруг него. Хозяин щупает их спины, проверяя состояние животных. Для собак это ласка. Он щиплет их шерсть, выдергивает свалявшуюся прошлогоднюю. Это щекочет их нервы, они это любят. Поведение собак зависит от того, как ухаживает за ними хозяин. Собаки любят своих хозяев и не слишком сильно ненавидят людей вообще.

Люди любят собак, но собаки должны знать свое место. Это место не у очага, не на коленях хозяина, не в его сердце. Здесь нет сильной любви к собакам, может быть, в этом их счастье, может быть, в этом проявляется здравый смысл человека.

У генерального директора Гренландии существует щедрый обычай: при ежегодном официальном посещении Уманак устраивать кафемик для его жителей, воскрешая в памяти счастливые светлые дни, когда он был управляющим Уманакского округа. Праздник устраивается на открытом ровном месте или на площади, окруженной чистенькими нарядными административными зданиями с видом на Уманакский пик. И когда площадь озарена улыбкой августовского солнца — как в тот день, о котором я пишу, — то во всем мире не найдешь другого такого красивого и такого подходящего для кафемика места. В центре площади накрыли большой стол: на нем стояло много всякой еды и один напиток — по местным понятиям, все самое вкусное.

В назначенное время жители поселка собрались сюда, и площадь расцвятилась красными, белыми, синими, желтыми, оранжевыми и пурпуровыми цветами их одежд. В этот день здесь случайно присутствовало много европейских и американских гостей, пассажиров со стоявшего в порту парохода, совершавших туристическую поездку по Гренландии. Зрелище праздника было для них приятным развлечением. Гренландцы после пира собрались вместе и стали петь для гостей. Пение их производит сильное впечатление. Прежде всего они любят петь и так хорошо чувствуют ритм, тональность, гармонию,

что их хоровое пение, несмотря на неразработанность голосов и отсутствие выучки, действительно превосходно. День был воскресный, они пели гимны. Торжественная музыка подходила к обстановке, воскресенью, их довольному виду, к настроению, можно думать, всех присутствующих. Пение создавало это настроение. Такова сила музыки.

Когда певцы собрались в более плотную кучку, то между ними и слушателями образовалось открытое пространство. Едва началось пение, как несколько щенков выбежали на это место и стали играть.

— Ах, посмотрите, — какие душки! — воскликнула одна из дам.

И получилось так, что во время концерта гости старались завоевать любовь щенков сюсюканьем и сахаром. Смысл происходившего станет ясен, если сказать, что дети во все глаза смотрели на кусочки сахара, как эти кусочки из бумажных мешочков попадали в пасти животных: детям хотелось сахара.

Охотник гренландец не очеловечивает собаку; у жены охотника есть дети. Никто, глядя на собаку, не скажет и не подумает: «Была ли она любимицей своих родителей». Люди здесь реалисты, а собаки — животные. Полезные животные, потому их и держат, кормят. Или держат и кормят некоторое время, а затем в случае нужды убивают и съедают, как у нас убивают и съедают корову. Но если обращение гренландцев с собаками не человеческое, то оно также далеко не собачье. Мы можем избавить свои чувствительные сердца от страданий при виде сцен, разыгрываемых мальчиком Хендрика, вспомнив о том, как собаки обращаются с собаками. Щенки Хендрика спустя пять недель после рождения еще живы благодаря неустанной бдительности матери, защищающей их от отца и дядей. Пережив этот опасный период, щенки должны еще вытерпеть от клыков своих родственников наказания, которым все собаки стаи подвергают их, чтобы научить уважать старших. Они получают шрамы и закалку. Вот собачья жизнь среди собак. На одну собаку, бесцельно изувеченную детьми или взрослыми, приходится, вероятно, тысячи убитых собаками.

Так как гренландских собак держат не из прихоти, что в тамошних условиях было бы невозможно, то об обращении с ними нужно судить по тому, как оно влияет на их полезность. Были бы эти собаки лучше, если б их баловали? Трудно сказать. Они жадно тянутся к ласке: дайте им чуточку, они захотят ее всласть. Позвольте псу просунуть нос в

дверь, он протиснется в дом и съест ваш обед. Впрочем, гренландских собак вообще в дом не пускают. На это есть свои основания.

Иногда встречаешься с бессмысленной жестокостью в обращении с животными, но редко. Хороший каюр, как и хороший всадник, тот, кому животные служат хорошо и долго. Бичом, как и шпорами, лучше всего пользуется тот, кто применяет их как можно реже. В Гренландии небрежность и кажущаяся непринужденность управления упряжкой считаются хорошим тоном.

Хозяева собак раз в день испытывают наслаждение от дикого зрелища — кормления. Человеку не приходится видеть более великолепной картины звериной свирепости, чем та, которая предстает перед ним, когда он с лоханкой мяса высоко над головой входит в загон и вокруг него скачет и клубится жадная, рычащая, лающая, воющая, визжащая стая. В этот момент псы действительно похожи на псов, гиен, волков, почти на любого дикого зверя, только не на домашних любимчиков. Здесь право — сила. И осуществляется оно жестоко, с молниеносной быстротой. Не говорите о собаках, пока вам не довелось кормить стаю. Кто занимает первые места среди собак? Бросьте им мясо, и вы узнаете. Последите за ними не один раз, а раз за разом. Эти свирепые прыжки с рычанием и молниеносные укусы направлены не как попало. Смотрите, как из длившегося лишь мгновение хаотического беспорядочного пожирания мяса возникает абсолютно упорядоченная картина, где давно утвердившаяся сила определяет старшинство, а старшинство — это право на пищу. Все, что на первый взгляд казалось попыткой животных уничтожить друг друга, было только показной свирепостью уже давно установленной абсолютной власти. Посмотрите, как вожак не спеша пожирает куски из своей особой груды мяса, в то время как остальные, давно окончившие есть, но не насытившиеся, не трогают его. Как? Почему?

К чести Америки, она была первой из наций мира, пославших полномочного посла в Гренландию.^[25] К еще большей чести Америки то, что нашелся человек, захотевший сюда поехать. Поехала Руфь Брайен Оуэн, американский посол в Дании. Группа официальных лиц, прохаживаясь по одной из колоний, набрела на кучку собак, среди которых стоял пес, такой благородный на вид, что все в один голос закричали:

— Смотрите, вожак!

Затем приезжие стали обсуждать тот самый вопрос, который мы поставили выше.

— Но кто же назначает вожака? — спросила одна из дам. — Король? Я хочу сказать, хозяин собак?

— Нет, — сказала Брайен Оуэн — дочь своего отца и демократка, — вожака не назначают. Его выбирают.

Итак, вожаков выбирают в Америке подсчетом голосов противостоящих друг другу человеческих армий, в гренландских собачьих демократиях — испытанием силы собак. Собака, занявшая первое место в своей демократии, пользуется почти полным уважением всех остальных (это должно бы интересовать нас). Их преданность вожаку так велика, что они будут поддерживать и признавать его власть, даже если в стаю придет новая, более сильная собака. Конеч, говорят, может быть трагическим — дуэль насмерть: собачьи выборы (неплохая мысль!)

Власть у собак, несмотря на жестокие иногда формы проявления, используется с хорошими целями. Вожак поддерживает полный порядок в стае: он не допускает семейных скандалов. Львиную долю корма он забирает себе: это премия. Вожакими становятся собаки находчивые, бдительные, энергичные и сильные, обладающие собачьими добродетелями. Чем, спрашиваешь себя иногда, обладают наши вожаки?

О моих собаках. Под конец их было у меня шестнадцать, две хорошие упряжки. Ядро стаи составили собаки Иохана Ланге, их вожак стал великим вождем, сахемом^[26] всей стаи. Я увлекался собаками и многому научился. Мне нужно было многому научиться. Началось это в Уманаке. Мы выехали на десяти собаках.

Направились прямо домой. Весь Уманакский фьорд уже покрылся крепким льдом. В полдень, оглянувшись на Уманак, мы увидели, что пик светится красным светом, как раскаленное железо. Солнце взошло.

XXXVIII

Райский сад

Солнечный свет, освещающий все; лед, по которому можно ехать; работа, которую нужно делать. Работа моя — писать картины. За тем я и приехал в Гренландию, благодаря этому, а может быть, ради этого, я жил и чувствовал себя почти хорошо, чуть ли не всюду, в одиночестве. «Если человек, — сказал Сократ, — увидит что-нибудь, когда он один, то сейчас же отправляется на поиски того, кому можно показать открытое им и от кого он сможет получить подтверждение своего открытия, и он будет искать до тех пор, пока не найдет кого-нибудь». Так художник, нашедший одиночество, вынужден выразить увиденное в такой форме, чтобы оно могло сохраниться, пока он будет искать и найдет своих друзей. Они подтвердят его видение.

Открытия. Разве мы, писатели, поэты, скульпторы, художники, делаем открытия? Да, никто не может достигнуть большего. Лейф, сын Эрика, Магеллан, Кук, архитектор, построивший первую пирамиду, строитель первой арки, Гомер, Шекспир, Эвклид, Ньютон, Эйнштейн — все они открывают, раскрывают то, что было и есть: материки, законы природы, человеческую душу. Допустим, что бог создал Адама. Но открыть, как бы впервые, как прекрасен божий Адам, должен был Микеланджело. И вечно мы, будто в первый раз, все должны открывать: как прекрасны восход солнца, луна, ночь, равнины и горы, земля и море, мужчина и женщина — как прекрасна жизнь. И будем ли мы совершать свои открытия в привычном для всех нас родном окружении или на чужбине в малоизвестных краях земли, мы найдем поле еще неисследованным, богатым нераскрытой красотой.

Я из тех, кто много путешествует. Много лет назад в районе Аляски я нашел остров, который мне понравился, построил там себе жилье и принялся за работу. В двадцати милях от острова когда-то по непонятной причине был построен городок. Так как он находился на Аляске, то население его состояло из тех, кто приехал искать золото и не нашел его, из тех, кто нашел и истратил его, и таких, следующих за золотоискателями людей, как торговцы, держатели отелей, держатели борделей, содержимые в борделях и т. п. И все они дошли

до последней крайности — были владельцами участков земли для застройки. Естественно, они объединились и образовали торговую палату, выпустили «литературу», выдвинули лозунг «Тихоокеанский Нью-Йорк». И так как им больше ничего не оставалось делать, то они надели на себя обрывки своих надежд и уселись на собственные хвосты в ожидании несмышленишей. Им было обидно, что я прошел мимо болота размером 25 футов на 100 на «Большом бульваре» и обосновался на острове. Думаю ли я, что там есть золото? Живопись? А это что такое? В худшем случае, решили они, я немецкий шпион, в лучшем — жалкий осел.

Кое-что из этих разговоров доходило до меня, но я не обращал внимания: я работал. Работу закончил почти через год. Запакował весь намытый мною «песок», приехал в город и стал ждать пароход. В портовом складе внизу стоял ящик с моим «песком» — большой ящик со всеми моими работами. На крышке я написал крупным шрифтом сумму, на которую застраховал груз: «Ценность — 10 000 долларов».

Пяльте глаза, банкроты, владельцы недвижимости! На земле есть золото там, где вам и не снилось. Они пялили глаза.

Существуют, я слышал, магические палочки для отыскания скрытых в земле сокровищ, воды, нефти, может быть и для отыскания золота. Не думаю, чтобы эти палочки помогали. В искусстве они не помогают. Я имею в виду правила, формулы, предназначенные для того, чтобы указать вам, красива вещь или нет, или научить вас, как сделать ее красивой. Лучшие из них, пожалуй, похожи на старинную палочку орешника, помогавшую найти воду там, где она действительно есть, в чем ни вы сами, ни гадатель ни минуты не сомневались. Может быть, с красотой дело обстоит как раз наоборот. Может быть, не мы находим ее, а она, угадав ищущих, открывает им себя. Так по крайней мере произошло в одну февральскую ночь на дальнем Севере.

Наступило время ложиться спать. Я отложил в сторону книгу и вышел во двор. Ночь была безлунная, звездная, морозная и ясная. Темно, только на юго-востоке небо внизу слабо освещено, будто за холмом горят огни. Я любовался этим слабым светом, который вдруг превратился в сходящиеся снопы лучей, протянувшиеся кверху. От их прикосновения на юго-востоке зажглась медленно колеблющаяся завеса, свисавшая складками с неба. Быть может, это было вознесенное в небеса покрывало Изольды,^[27] и там, где его касалось дыхание ее

желания, оно становилось горячим и светлым. Дыхание Изольды пробегало по нему, оно трепетало и волновалось. Это было так похоже на ее крик: «Он идет! Боже, он идет!» Завеса вспыхнула пламенем и зажгла небо.

Красота этих северных зимних дней кажется более далекой и бесстрастной, более близкой к абсолютной, чем какая-либо другая, виденная мной. Синее небо, белый мир и золотой свет солнца, связывающий эту белизну с освещенной солнцем синевой. Если мы, одухотворяя солнце, сочувствуем ему в его непрерывных усилиях заставить гармонизировать между собой различного цвета предметы — озаренные багровым светом овины подходить к летним ландшафтам, дикие розы удачно сочетаться с лютиками, — создать гармонию там, где господствует умышленная дисгармония, то какое наслаждение, по нашему мнению, должно испытывать солнце, когда светит на снег. «Я ничто, — шепчет скромная белизна снега. — Я приобщаюсь к тебе, милое солнце, к синему небу, на котором ты сияешь, и становлюсь прекрасной». В Гренландии открываешь, как будто впервые, что такое красота. Да простит мне бог, что я пытался эту красоту написать!

Я делал эти попытки непрерывно, прикреплял большой холст к стойкам на санях, как к мольберту, вешал мешок с красками и кистями на поперечину, клал палитру на сани. Поймав собак, запрягал их. Затем после бешеного спуска с горы, миновав полосу берегового льда — неизбежное начало поездки, — я откидывался на оленью шкуру с небрежной ленью султана и отправлялся на свидание. Прибыв на место, останавливал собак, поворачивал сани точно в нужное мне направление, раскладывал краски и кисти, принимался за работу. Чтобы рука, держащая кисть, не мерзла, я пользовался подбитой пухом варежкой без большого пальца, сквозь дырочку в ней вставлял кисть и держал ее теплыми пальцами. Временами писать становилось очень холодно, казалось, что кровь останавливается в жилах. «Это потому, — думал я, — что мы работаем головой, кровь расходуется в мозгу». Лестная мысль!

Если я решал кончить писать, мне нужно было только поднять собак на ноги (они все время лежали неподвижно), повернуть их, покрикивая «эу, эу» (налево) или «илле, илле» (направо), аккуратно сбить вместе, дав понюхать бич, подогнать отстающих, похлопать рукояткой по сапогу, чтобы они бежали быстрее, — и мчаться домой.

Собаки подвозили меня прямо к дверям. При таком способе путешествовать — не все ли равно, что миля, что десять или двадцать пять?

Разница лишь в том, что, отправляясь в далекие поездки, я брал с собой запасы на несколько дней и для удобства устраивал базы. Обычно выбор мой падал на Нугатсиак: величественность фьордов близ Нугатсиака была просто невероятна.

Как-то, собираясь съездить только в Нугатсиак, я взял с собой Давида, пообещав ему разрешить пользоваться моими санями и собаками для охоты, пока буду занят своей работой на берегу. Приблизительно в пяти милях от Нугатсиака находится остров Каррат, один из самых маленьких, но примечательных островков архипелага. Он, относительно изолированный от других, отличается благородной архитектурой горного массива. Башни и контрфорсы стен, высоко вздымающиеся на крутом склоне, придают острову величественный вид большой крепости, охраняющей вход в волшебный край Умиамако. Мне давно хотелось устроить там стоянку и писать. Поэтому, когда в этот раз я приехал с Давидом в Нугатсиак и узнал, что на западной оконечности Каррата стоит незанятый дом, то мною сразу овладела одна лишь мысль: осмотреть этот дом и выяснить, нельзя ли остановиться в нем. Я тотчас же пошел к его владельцу, жителю Нугатсиака, вполз к нему, низко поклонился и остался стоять, склонив голову из уважения к его потолку и собственной голове. Потом я сидел с хозяином и его многочисленной семьей в одном из самых маленьких, низких, грязных и гостеприимных домишек, в какие мне приходилось входить. Владелец сразу с радостью разрешил мне пользоваться его карратским домом.

— Вам понадобится ключ, — сказал хозяин, — он торчит в замке.

То, что я отправился на другой день в Каррат с запасом провизии лишь до следующего утра, было просто глупостью. Едва я увидел закрытую с трех сторон долину, в которой стоял домик, и взглянул на открывающийся оттуда поразительный вид, как сразу же решил пробыть здесь как можно дольше.

— Оставь меня здесь, — сказал я Давиду. — Отправляйся прямо назад в Нугатсиак, переночуй там, а утром привези мне еще холстов и еды. Затем отправляйся на пять дней охотиться куда хочешь.

Долина, окруженная с трех сторон крутыми горными склонами и береговыми уступами, была великолепно защищена от преобладающих ветров. Позади высились крепостные башни Каррата, впереди лежали гористые окрестности входа в фьорд Кангердлугсуак. Тот, кто поселится в таком месте, будет дышать глубоко и часто.

Будь я один, то не так бы легко нашел этот дом, до такой степени крохотными казались здесь вещи, сделанные человеком. Давид же, зная место, направил сани прямо в гору, туда, где начиналась долина. Работая бичом, он погнал собак вверх по крутому и высокому склону холма и остановился. На снежном холмике виднелась полоска дерна: это и был дом.

Нам понадобилась всего одна или две минуты, чтобы расчистить снег вокруг низкого входа, повернуть ключ (хозяин оказался прав, дом был заперт), пройти по низеньким сеням и войти в дом. Мы оказались как будто внутри ледяной пещеры. Она была неясно освещена волшебным холодным дневным светом, просачивавшимся сквозь снежный сугроб у окна и через занесенное снегом, проделанное в крыше отверстие для печной трубы. Там, где сквозь это отверстие и бесчисленные щели в плоской крыше просочилась вода, висели громадные сверкающие ледяные сталактиты, что мне не очень-то понравилось. А прямо под отверстием для печной трубы — печи не было — скопился лед, образовавший горку шириной в тридцать сантиметров по гребню. Стены, потолок, пол — лед, лед. Не вяжется с нашим представлением о доме. Ничего, сойдет! Мы внесли вещи, я достал примус, зажег его, поставил на него кастрюлю со снегом. Через двадцать минут закипел кофе. Дом наполнился звуками капающей воды.

Давид стоял, готовый к отъезду. Я взял карандаш, бумагу и составил список вещей, которые мне понадобятся в ближайшие дни. Изложить мои нужды так, чтобы Павиа понял, было нелегкой задачей: я дополнил свой убогий эскимосский запас слов художественными средствами. Рис, овсяная мука, кофе, гренландский палтус — кажется, все. Ах, нет! Шуточная приписка, чтобы рассмешить Павиа: «Еще «ама», — написал я, — нивиассак пинакак». И нарисовал изображение этого предмета: хорошенькую женщину. Затем, дав распоряжение Давиду привезти мне несколько холстов из моих собственных запасов, я отпустил его.

XXXIX

Адам и Ева

А кто в своей жизни не устраивал себе жилища? Домов из стульев, шалей, домов на деревьях, домов из снега, пещер, берлог в непроходимой чаще, палаток, бревенчатых домиков, жилья на сеновалах, в заброшенных домах, сараях, на лодках, в настоящих домах — радость их созидания никогда не угасает. Я смотрел в лицо своей ледяной пещере приветливым взглядом; она пролиwała слезы поощрения. Ну, хватит! С жаром, достойным предстоящей задачи, я принялся оббивать сталактиты с седого чела пещеры, соскабливать лед с ее обмерзших щек, скалывать лед с... — метафора «лицо» уж явно не подходит — с пола и растапливать находящийся повсюду лед, насколько это позволял мой маленький примус. Перед тем как лечь спать, я смог с удовлетворением отметить, что превратил сухую ледяную пещеру в холодное как лед болото. Таков, можно сказать, прогресс. Я заполз в спальный мешок и заснул.

Художник не обязательно должен иметь мастерскую с окнами на север и лоджией, задрапированной вышитым шелком, совершенно так же не обязателен ему и мольберт. На открытом воздухе мольберт — такая обуза, что я им никогда не пользуюсь. Почти всегда достаточно иметь палку, чтобы подпереть холст, и несколько камней, чтобы укрепить ее. Но для глубокого снега хороша кушетка. Я нашел ее в домике на Каррате. Это была довольно изящная вещь, конечно самодельная, деревянная, но красивой формы со своеобразной ручкой или спинкой на одном конце. Погрузив эту кушетку глубоко в снег, оперев холст о край, украшенный ручкой, и положив плашмя перед подрамником палитру, я на следующее утро уселся на холме и начал работать. Сюжетом картины были горы, а на переднем плане снег, снежная равнина замерзшего фьорда. Время шло. Было, вероятно, около полудня, когда, подняв голову, я увидел, что на переднем плане появились крохотные санки, влекаемые маленькими, как насекомые, собаками. В этом безмерном окружающем просторе они казались совсем крохотными. Я бросил работу и отправился к дому встречать их.

Давид привез мои вещи, это стало ясно, когда он приблизился. Сколько всего набралось! Мои холсты — они заметны, но что еще у Давида на санях — на слепящем фоне освещенного солнцем снега трудно различить. Вот холм скрыл от меня и сани, и собак. Я слышу щелканье бича, звонкий лай, голос Давида, покрикивающего «эу, эу». Опустив головы, с задранными хвостами появляются собаки; собаки, сани, каюр Давид и — честное слово! — девушка. Моя приписка во плоти.

— Значит, ты привез все, — сказал я Давиду, распаковывая вещи.

— Да, — ответил он, — кажется, все.

— Тогда заходите все в дом, будем пить кофе.

— Помни, Давид, пять дней, потом возвращайся.

— Вернусь, — сказал Давид, и сани тронулись.

Полина, так звали девушку, и я смотрели Давиду вслед, пока он не обогнул мыс. Мы помахали ему рукой на прощание.

Она была приятная, тихая, уже зрелая молодая женщина двадцати лет; приземиста, круглолица, славненькая, на взгляд тех, кому нравится внешность гренландок. Нормальная, здоровая гренландская Ева. Если бы не уважение, какое я научился питать к спартанским привычкам гренландских женщин, я почувствовал бы опасения за эдем, в который ввел ее. Вскоре от опасений не осталось и следа. Чем бы она ни занималась в эти дни — скалывала ли лед с потолка, извлекала ли гниющие кости и отбросы из мерзлого болота, служившего полом, сидела ли без дела, дрожа от холода, или бродила по сугробам, чтобы согреться, — она была абсолютно спокойна, довольна и счастлива. Входя в дом, где отовсюду капало, я содрогался и, чтобы подбодрить ее, спрашивал:

— Айорпа? Что, очень плохо?

Она поднимала глаза от работы и, улыбаясь, отвечала.

— Аюнгулак. Хорошо.

Мы восхищаемся жаворонком за то, что он поет летом в небе. Полина могла часами петь в этой пещере.

Еды оказалось маловато, я не рассчитывал, что нас будет двое. На завтрак я готовил рис с пеммиканом или с рыбой, на ужин кашу из овсяной муки, без всего. Тарелок не было, мы ели поочередно из кастрюли. У нас не было ни ложек, ни вилок, и я вырезал деревянную ложку из куска доски.

— Мамапок, — говорила Полина, пробуя кашу, что значит «восхитительно».

В доме никогда не бывало тепло, примус оказался слишком мал. И я не мог держать его зажженным все время, так как керосину Давид привез мало. Через час после того, как гас примус, пол и нижняя часть стен снова замерзали. На Полине было мало одежды.

— Где твоя одежда, Полина? — спросил я.

— Вот, — ответила она, указывая на пару камиков и анорак.

Мы не могли спать иначе, как вдвоем в моем спальном мешке. Если б я галантно отдал его Полине, то, окоченев ночью, все равно заполз бы в него. А если б я и не заполз, никто бы этому не поверил. Мы оба спали в мешке. Попробовали залезть в него одетыми и не смогли. Тогда мы разделись. Два пальца в одном пальце перчатки — вот как нам было тесно, но только так удавалось влезть в мешок. Ночи были адские. Мы поочередно пользовались привилегией с трудом вытащить одну руку и подержать ее снаружи, давая ей остыть, чуть ли не замерзнуть. Это было единственное облегчение. Полина немного спала, но уже не пела.

Я мог бы отослать Полину обратно в день приезда: ни за что на свете я не отослал бы ее! Я ведь писал, чтобы прислали девушку: что ж, вот она. Следует ли приписать Павиа редкое чувство юмора или считать его невероятно умелым торговцем — это к делу не относится. Отослать домой! Полина не пережила бы такого позора. Она отлично знала это и осталась.

Днем она убирала в доме, мыла кастрюлю и ложку, потом бродила кругом и пела. А ночью, следуя примеру моего намеренного бесстыдства, снимала свою жалкую одежонку и протискивалась ко мне в теплый мешок из оленьей шкуры. Бедная, дрожащая, замерзшая, просто заоченевшая от холода, ни на что не жалующаяся эскимосочка. Потом она согревалась, и вместе с теплом приходил иногда сон.

Днем не происходило ничего особенного; погода стояла мягкая, ясная. Над нашими головами простирался глубокий темно-синий свод. Перед глазами высились громадные, испещренные полосами снега склоны гор и открывался единственный узкий вид на уходящую вдаль покрытую снегом поверхность морского льда вплоть до далеких вершин и горной цепи Нугсуака. Над нами вздымалась гора Каррат; темно-красные камни на ее склонах казались золотыми на фоне

освещенного солнцем неба. Мы редко уходили далеко, так как снег был глубокий и рыхлый, но какой вид открывался с вершины мыса! Вблизи виднелись изумительные складчатые горные склоны Кекертарсуака, а дальше разворачивалась широкая панорама изломов северных горных цепей. Бледное золото освещенного солнцем снега и синева, там и сям пятно голого черного горного склона, подчеркивающее ослепительное звучание всего остального. Снежная болезнь; может быть, она поражает глаза ради спасения наших душ? Мы вставали засветло и ложились затемно; почти весь день я работал.

У нас побывало два гостя. Первый — охотник, шедший из фьорда Кангердлугсуак, — увидел меня за работой и решил посетить нас. Это был очень несчастный человек. Он рассказал мне, что жена его умерла и дом сейчас пустует; хороший дом с застекленными окнами и печкой. Да, так он и стоит в Нугатсиаке, и никого в нем нет. Долгое время охотник сидел молча.

— Когда-то на Каррате было много домов, — продолжал он, — дома стояли тут и там. Да, одно время здесь было много домов. Теперь только один. Дома, люди, — все пропало.

Я думал, он сейчас заплачет. Бывало, рассказывал охотник, он ловил много тюленей; теперь тюлени не ловятся совсем. Тяжелые времена, тяжелые времена. А сейчас ему нечего есть. Не дам ли я взаймы 25 эре? Если он поймает тюленя, то вернет долг. Если не поймает, то не вернет. Он сказал мне, что его зовут Якобом.

Второго нашего гостя звали Абрахамом. Он привез мне письмо от Саламины, а также двух куропаток; мы устроили пир.

Два посетителя и куропатки — вот и все события за пять дней в жизни Полины. Размеренное течение ее жизни на острове и эти события — образец того, как пройдет Полина свой жизненный путь. Дом, муж, занятый своим, не имеющим к ней никакого отношения делом, хлопоты по хозяйству, долгие часы безделья у окна или перед домом, немного еды, немного тепла — вот обычная жизнь гренландки. И дети как побочный продукт. Да, с течением времени Полина, глядя от нечего делать в окно, будет, тихонько напевая, мягко покачиваться всем телом, убаюкивая ребенка. В этом и будет вся разница.

Интересно знать, как бы это выглядело — остров и Полина — на всю жизнь. Хотел бы я знать, хватило б ума у белого мужа не вмешиваться в ход событий, позволить дням совместной жизни идти,

как они идут, а не заниматься копанием в экзотической душе Полины и даже не думать, что у нее есть душа, даже не интересоваться этим. Наверное, этот дурак влюбился бы в нее и все испортил бы. Проявлял бы, к ее удивлению, странности в поведении, свойственные романтическому влюбленному. Настойчиво искал бы на ее спокойном лице откровения бездонных языческих глубин. Таращил бы на нее глаза, смущал ее, надоедая ей. Если бы после этих фокусов Полина в конце концов не поняла, что представляет собой этот бедный идиот, не оценила бы, чего он стоит, если выразить его стоимость в платьях и бусах, в *датских* платьях, в досуге, который он может дать, и в слугах, обеспечивающих этот досуг, если бы она не ухитрилась заставить своего глупого обожателя покинуть остров и переехать с ней в большой город Уманак, то она была бы дурой или философом. Я думаю, что Полина не была ни тем, ни другим. И если белый муж — романтик, увлекшийся видением первобытной женщины, действительно влюбился бы в Полину, то она обошлась бы с ним в собственных интересах так, как и другие «первобытные» женщины обходились с подобными мужчинами.

На пятый день приехал Давид, мы уложили свое домашнее имущество, краски, холсты и уехали.

XL

Неделя на родине

А, наконец-то! После разговоров, длившихся несколько недель, мы должны были отправиться в гости в Нугатсиак. Все время что-нибудь нам мешало: то кто-нибудь в отъезде, то мне нужно закончить картину, то пришла почта с севера. В довершение всего выпал снег, такой глубокий, сыпучий и сухой, что собаки утопали в нем по самую спину, а сани погружались так, что их не было видно. Глубокий, прекрасный, мягкий снег, но езда по нему — сущий ад. Потом внезапно наступила оттепель; в феврале настоящая весенняя оттепель, таяло днем и ночью. Вода прошла сквозь снег вниз до твердого льда и образовала на нем слой шуги, на которой сверху продолжал держаться оставшийся от последнего снегопада покров. С виду все было в порядке, но попробуйте поехать по такому снегу, и вы об этом пожалеете. Наконец двадцать девятого подморозило. Отъезд назначили на следующее утро, на десять часов.

День был хороший, ясный, будто нарочно созданный для такой праздничной поездки. С приближением часа отъезда весь поселок засуетился в приготовлениях. В десять часов, как по сигнальному выстрелу, сани тронулись к морю. Спустившись с берега в разных местах, они все сошлись к разъезженной дороге и вытянулись на ней гуськом, длинной процессией из двенадцати саней, направившейся на север. Все это я видел, стоя у саней, готовый тронуться в путь. Я стоял на берегу, притопывая ногами, и смотрел, как удаляются сани. Только мы отъехали и помчались по ровному льду, как кто-то крикнул:

— Стойте! Подождите! Беата тоже едет.

Старуха все утро бегала взад-вперед, как встревоженная курица. Сначала она хотела ехать, потом не хотела. Да, она поедет; нет, не поедет. Последнее слово было «нет». Очень жаль, мы хотели, чтобы она поехала с нами. И вот в конце концов она едет. Конечно, пришлось ждать ее. А там, вдали, по снегу ползли сани. Черт бы побрал женщин!

Наконец появилась Беата, смешная фигурка, бегом спускающаяся с холма. Она тащила перину, почти полностью закрывавшую ее. Из-под перины виднелись проворные, согнутые, как у краба, ножки; над

периной выступала большая голова, повязанная платком; закрученный вихор прыгал на голове. Трубка с отпиленным мундштуком была, конечно, у нее во рту.

— Ладно, Беата, садись. Вот так, милая. Пусть Саламина закутает тебя в одеяло.

Сразу с места взяли быстрый темп, но вскоре езда замедлилась. Хороша ли дорога? Отвратительная. Снег почти превратился в шугу. Вначале на протяжении нескольких миль мы двигались с умеренной скоростью благодаря силе и бодрому настроению собак. Тяжелая работа им нравилась. Мы настигали и обгоняли одни сани за другими и наконец оказались в числе ведущих. Эти упряжки не сразу пустили нас в свою компанию. Сначала они заставили нас побороться за первые места, но потом сжалились над моими собаками и остановились, ожидая нас. На одних из передних саней сидел Мартин, опять один. Я дал ему в дамы старую Беату. С этого места мы, передовые, держались вместе, образуя авангард великой армии вторжения в Нугатсиак.

Мы были уже несколько часов в пути, но еще на расстоянии многих часов езды до цели, когда стемнело. Дорога становилась все хуже и хуже. Собаки с трудом тащили нагруженные сани по шуге, а мы, вставая на ноги, при каждом шаге погружались в нее по колени. Проваливаться было нетрудно. Трудно было вытаскивать ноги. Временами мы двигались со скоростью не больше одной-полтора миль в час. Но даже при этой черепашьей скорости я, отстав, чтобы поднять упавшую варежку, с большим трудом снова нагнал сани, опередившие меня на двенадцать футов. «Если оставить в этом море шуги, — подумал я, — сильного мужчину, одного, без саней, то он больше мили не прошел бы».

Я захватил с собой снегоступы. Вид их вызвал любопытство и, может быть, даже веселье у гренландцев. Странно, что они совершенно неизвестны в Гренландии. Я надел их, все каюры остановили сани, чтобы посмотреть, что будет. Это был триумф снегоступов. Я легко бежал по снегу, а они с трудом пробирались вперед с черепашьей скоростью. Мои снегоступы оказались слишком хороши: пришлось одалживать их всем по очереди, пока Саламина не положила этому конец, убежав вперед. Мгновенно она оставила всех далеко позади, а затем — чтоб ее! — ушла в сторону от нашего курса, будто не видела огней на снежной равнине впереди. Она или не слышала, как мы ей

кричали, или не хотела слышать. И только когда убедилась, что мы за ней не последовали, возвратилась назад, заявив в виде оправдания, что жители Нугатсиака в январе расставляли там удочки на акул и там должна быть дорога. Все смеялись.

Когда мы приблизились к Нугатсиаку, навстречу нам вышел на лыжах человек по имени Эскиас.

— Вам следовало ехать вот тем путем, — сказал он, указывая на направление, взятое Саламиной.

Весь поселок, конечно, высыпал на улицу, чтобы встретить нас и развести по домам. Войдя к Павиа, я взглянул на свои часы: было семь тридцать. Двадцать две мили за девять с половиной часов! Это расстояние случалось покрывать за два часа. Арьергард каравана будет еще несколько часов в пути.

Наше вторжение в Нугатсиак напоминало поездку на родину. Только наоборот: жители Нугатсиака были выходцами из Игдлорсуита. Было бы очень приятно представить подобный визит как установившийся старинный народный обычай, но я должен признаться, что родился он недавно, только в этом году. Гренландцы, живущие маленькими отдельными группами на изолированных островах в пустынном краю, казалось бы, должны были бы как-то общаться. Но этого нет, если не считать сидения на похоронных кафемиках и танцев с двоюродными сестрами, спанья с ними и женитьбы на них.^[28] Мы можем, конечно, сегодняшнюю культуру Гренландии называть переходной, и то, что видим, называть и мы называем это прогрессом...

Проклятый прогресс наступил. Библия, образование — все эти красивые вещи уже ни к чему: евангелие прогресса выражено в слове «торговля». Гренландские торговцы так гонятся за своей маленькой выгодой в виде процентного начисления на жир и шкуры, а благожелательная администрация так упорно стремится измерять прогресс Гренландии в кронах, что первые слишком часто противятся общественным развлечениям, а вторые не удосуживаются о них подумать.

Троллеман отказывал в выдаче ключа от помещения для танцев с сознанием собственной правоты: они-де должны работать. С меньшим правом он заставлял поселкового бондаря работать два года без единого дня отдыха, а теперь отказывался разрешить ему ехать с нами. Это

было большим ударом для Рудольфа и Маргреты и очень неприятно для нас (но все уладилось вовремя; об этом будет сказано в своем месте).

Празднества в течение двух вечеров и одного дня, из которых состояла наша «неделя», были разнообразны и многочисленны. Были, конечно, кафемики, и множество, но какие кафемики! Хозяев оживило присутствие гостей. У людей развязались языки; они разговаривали, смеялись. Вы теперь не просто заходили, садились, проглатывали блюдечко напитка, высиживали приличествующее число минут, вставали и уходили. Теперь вы оставались посидеть. И, раньше чем вы были готовы уйти из одного дома, кто-нибудь уже настойчиво звал вас в другой.

Вторым по значению после дома Павиа был дом Беньямина, помощника пастора. Дом начальника торгового пункта пользуется уважением сам по себе; не так обстоит дело с домом помощника пастора. А этот маленький паяц, Беньямин, ничего не значил ни в чьих глазах, кроме собственных. Дому его придавала достоинство его мать: она царствовала там, как королева. И все, чем замечателен был этот дом, исходило от нее. Она была великолепна: лет шестидесяти, почти без морщин на лице, с крепкими зубами, а какая улыбка. Одежда на ней безукоризненно чистая, волосы причесаны по старинке: собраны узлом на макушке. Черный шелковый шарф, которым она повязывала голову на манер тюрбана, подчеркивал одновременно и восточный тип ее лица, и королевское достоинство манер.

Еще следует упомянуть о доме Эскиаса — Эскиаса и Деборы. Эскиас во многих отношениях достойный человек. Будучи помощником пастора на далеком юге Гренландии, он, говорят, был так любим женщинами и сам так их любил, что в конце концов церковь не захотела больше терпеть его. Не удивительно, что для церкви дело кончается тем, что у нее остается мало людей, которых кто-нибудь любит. Но оказалось, что Дебора мудрее церкви. Эта пара, несмотря на кучу детей, входит в число наиболее преуспевающих семейств района. Эскиас был искусным охотником, несмотря на полученное образование, которое не заставило его возгордиться, и сохранил Дебору, несмотря на любовь женщин. А Дебора, несмотря на свою внешность и очаровательность, имела голову на плечах. Их дом нравился мне больше всех других; там я и устроил *свой* кафемик.

Мы упомянули о домах богатых, посмотрим теперь на дом бедняка, на дом, пещеру, трущобу, жалкое логово Мортонна. Мортон — низкого роста, сильный, с приятными, хотя несколько мягкими, чертами лица, ласковыми глазами и склонностью слюнливо распускать губы. Мортон был грязен: лоскутья его одежды связывал лишь ее основной материал — сало. У Мортонна были своеобразные манеры.

— Моя фамилия Мортон, — говорил он на приличном датском языке, обращаясь к незнакомому человеку. — Как ваша фамилия? — Затем пожимал вам руку. — Я участник экспедиции, — продолжал он, — путешествовал с Лауге Кохом.^[29] Говорят, вы отличный человек. Я отличный человек. Вы должны взять меня к себе.

Но вы не берете его к себе. Мортон самоуверен, вы ему не вполне доверяете. А потом вы кое-что о нем узнаете. У него наихудшая репутация во всей округе. Гренландцы не рассказывают вам всего, что знают, так как склонны скрывать от чужих случайные темные проделки, которые не делают чести их соотечественникам. Такая солидарность у них есть: они не говорят дурно о своих. Самый лучший ваш друг из их числа может предоставить вам самим убедиться в хорошо ему известной непригодности человека, которого вы наняли. Кто-то однажды шепнул мне, что Мортон убил жену. Я попробовал разузнать об этом и натолкнулся на молчание. Но многие говорят, что он дурной человек — настолько он дурной. Мне рассказывали, что пьяные гренландцы дерутся. Не многие, добавил мой собеседник, не так, как европейцы. Кулачные драки для гренландцев — табу. Но я видел, как Мортон, трезвый, совершил жуткий поступок: ударил человека по лицу твердыми костяшками кулака.

Случилось это в Нугатсиаке, когда Павиа был в отъезде и его кифак (служащий) налил себе пива из хозяйской бочки и выпил столько, сколько смог: он напился вдрызг. Пьяный вышел, шатаясь, на улицу, на потеху толпе. Не знаю, что именно там произошло, я стоял в отдалении. Мортон был в толпе и, может быть, сказал ему что-нибудь вызывающее, а мальчик — тот был еще почти мальчик — ответил ему тем же. Во всяком случае, Мортон подошел к нему, сильно ударил его по лицу и свалил наземь. Мальчик поднялся на ноги и бросился на Мортонна. Мортон снова сбил его с ног. Мальчик опять пошел на него, нарываясь на удары. Мортон избил его, страшно избил. Мальчик перестал нападать и ушел в дом. «Кончилось», — подумал я. Все это

произошло очень быстро, я сразу не сообразил, что творится. Толпа отошла в сторону, драка напугала ее. Но вот люди зашевелились и начали разбегаться: из дому выскочил мальчик с ружьем в руках. Мортон попятился в мою сторону. Мальчик последовал за ним, остановился, навел ружье, долго целился, потом отбросил его в сторону. Как я после сообразил, ружье, конечно, не было заряжено. Наверное, пьяный об этом и не подумал, решив убить Мортон. Прицелившись, он нажал курок, нажимал долго, настойчиво, но потом понял в чем дело. Отбросив ружье, он подобрал несколько камней и кинул их в Мортон. Мортон двинулся на него, но я уже пришел в себя и подбежал к Мортону.

— Бросьте! — крикнул я ему. — Прекратите драку, идите домой!

Мортон повиновался. Мальчик, продолжая швырять камни, стал приближаться. Он что-то выкрикивал. Как я догадываюсь, это не было признание в любви. Слов я не понимал, но чувствовал их смысл по тону. Тон вполне соответствовал окровавленному, искаженному бешенством лицу. Раньше мне не приходилось слышать такой ритмической речи. Как будто бы затрудненное дыхание и тяжелые удары пульса навязывали словам свой ритм; с точки зрения искусства — героическая картина. То, что он говорил мне, когда я остановил его, звучало как бешеное песнопение. Но оставим мальчика за исполнением этой литании^[30] и последуем за Мортон.

Его конура вряд ли выше пяти футов, а размер ее не более чем шесть футов на восемь. Стены из дерна. Пол был когда-то из дерна, но теперь его состав не поддается анализу. Крыша из дерна поддерживается жердями вместо балок. Более половины площади дома занимают нары; на них сидят две женщины и четверо детей. Постели, такие же засаленные, как и одежда женщин, сложены у стены за их спиной. В комнате стоит нечто, бывшее когда-то маленькой круглой железной печкой; она залатана старыми жестянками и замотана проволокой. Дверцы у печки нет, зола высыпается и лежит около нее кучей. В золе стоит грязная кастрюля, а в углу на полу — грязное мясо. Ух, как здесь воняет! Выйдем отсюда. Во всей области мало найдется домов хуже этого.

Но Мортон не глуп. Из Копенгагена он вернулся с медалью, которую ему дал король, так он говорит. Медаль он продал за пять крон.

Медаль не стоила пяти крон. Она стоила две: это была монета в две кроны.

XLI

Туман

Торжественное празднование «недели на родине» было устроено вечером в день нашего приезда. В доме Павиа к нему готовились столько дней, сколько требуется, чтобы поспело пиво. В Гренландии пиво создает праздник. И Павиа сварил пиво. Его было достаточно. Пива достаточно, когда все забывают о своих заботах и о самих себе, когда все любят своих ближних и показывают это, когда не умеющие петь поют, а те, кто умеют, не сердятся на них, когда все смеются по любому пустяку, когда все хотят, чтобы этот миг длился вечно и чтобы океан был полон пива, когда все думают, что стоящее на полу ведро полно пива, но вдруг кто-нибудь говорит: «Глядите, как я его опорожню единым духом», а подняв, убеждается, что оно пустое, — вот тогда пива достаточно. Так и было с ведром, со всеми бутылками, кувшинами, бочонками и бочками. Хорошо, черт возьми, что в океане вода, а не пиво: они бы стали откупоривать его, пробивая лед, и либо осушили бы океан, либо утонули в нем.

Это опять был вечер стариков. В своем репертуаре они оказались на высоте. Шестеро стариков танцевали: трое были из Игдлорсуита, трое из местных — гротескные таланты. Вначале выступили трое местных: один в кругу танцевал с барабаном, а двое других аккомпанировали его пению и танцу громким ритмическим уханьем: «Ух, а! Ух, ух, ух!» Толпа присоединилась к ним, и уханье разрослось в пульсирующий рев. Беата плясала и завоевала все сердца своей фантастической грацией. Эмануэль внес в исполнение фривольный оттенок. Петер Сокиассен превзошел всех своим совершенным актерским мастерством. Затем заиграла гармония, и от предыдущих впечатлений не осталось и следа. Топот ног в такт биению сердец. И сколько этих ног, какой топот! Темп был бешеный. За время обычного счета быстрого танца — раз, два, три, четыре — молодые люди успевали сделать шестнадцать па, по восьми в секунду, как я сосчитал. Не переступание с носка на каблук, а отдельный звучный удар всей ногой. Когда это проделывает сразу дюжина танцующих, то звук напоминает низкие глухие раскаты отдаленного грома. От мелькания

пар, от топота кружилась голова. Все выполняется с поразительной точностью: кружащиеся пары в переполненной комнате сталкиваются не чаще, чем кони карусели. Мы пили пиво и танцевали: пиво, танцы, пиво, танцы и пот. Ох, и жарко же было в зале!

На следующий день началась буря: сильный снегопад и крепкий ветер. В промежутках между кафемиками мы работали, изготавливая новые, более широкие полозья для саней, так как снегопад сулил скверную дорогу на обратном пути. Вечером в просторном помещении торгового склада были устроены танцы для всех. Мы, гости, изголодались по ним. Насколько мне известно, танцы продолжались всю ночь. Так закончились большие празднества «неделя на родине».

Холодно, ветрено, густой туман, глубокий снег. Можно было бы проехать и без новых полозьев — некоторые так и сделали, — но на протяжении двух третей пути они облегчали езду. Мы выехали в десять; к полудню ветер затих, и вокруг повис низкий, густой туман. Земли не было видно, и только по слабо светящемуся участку горизонта мы могли ориентироваться, считая, что это юг. На свежавыпавшем снегу, конечно, не было никаких следов полозьев.

Некоторые считают, что люди, близкие к природе, обладают особыми способностями, помогающими им преодолевать трудности в дикой местности. Говорят, что они инстинктивно определяют направление. Но в этот день, когда мы ехали по неезженной снежной равнине в густом тумане, среди шести или восьми каюров нашей колонны обнаружилось достаточное расхождение во мнениях, чтобы рассеять всякую надежду на то, что хоть кто-нибудь знает, куда ехать. Их догадки расходились между собой в пределах дуги в девяносто градусов, и никто не высказывался уверенно. Никто, пока не заговорила Саламина.

— Вон там, — сказала она тем решительным тоном, которым говорила, когда, по ее мнению, сказанное не допускало обсуждения. — Хотите соглашайтесь, хотите нет — там Игдлорсуит, а там Ингия.

Она указала пальцем оба направления. Абрахам, всегда относившийся с уважением к Саламине, согласился с ней и направился впереди нас в ту сторону, где, как она указывала, должна быть Ингия.

Я все время мучился со своими собаками. Из собак Иохана Ланге осталось всего пять, остальные были набраны из разных мест. Собаки не хотели держаться вместе и непрерывно то отходили, то

возвращались обратно, как будто в поисках пропавших товарищей по упряжке. Я продал одну из абсолютно безнадежных Эскиасу и вместо нее подобрал превосходную другую. Но это была собака с норовом: она уперлась сразу, как только отъехали. Я водворил ее на место и бичом заставил бежать. Через сто ярдов она повернула назад, а когда упряжь остановила ее, легла, предоставив другим тащить себя. Этот фокус она проделывала много раз. Понадобилось несколько дней, чтобы заставить ее работать. Однако со временем она заняла свое место среди пяти аристократок — единственная чужая собака, принятая в число избранных. Она была белого цвета и хорошо подходила к ним по росту и виду. Может быть, у собак внешность имеет значение. Я отдал ее немецкой кинематографической съемочной группе, и когда собаку, посадив в шлюпку, повезли на моторный катер, то остальные пять все разом вошли в воду и поплыли за ней. Осенью все шестеро опять соединились. Их отвезли в Швейцарию, где снимали в отвратительной пародии на приключения в Гренландии. Один-два вечера они мелькали на экранах Бродвея, а затем исчезли, пав жертвами судьбы, которая заслуженно постигла актеров, игравших вместе с ними.

Мы ползли, зарываясь в снег, стараясь ехать по прямой. Мы направлялись к *точке* на суше, иголке в стогу сена. Достаточно было уклониться в сторону на пятьсот ярдов, чтобы не заметить ее. Следующая точка, если бы мы прошли мимо, оставив нашу цель справа, была бы каким-то пунктом на Баффиновой Земле. Но наконец перед нами выросла земля: Ингия! Саламина никогда не заявляла, что она что-то знает. Если ее хвалили за почти сверхъестественное чутье, она честно, в сильном смущении отклоняла похвалу. Но, по-видимому, она была наделена исключительно острыми чувствами, так тонко и верно согласованными между собой, что могла мгновенно получить ясное, полное представление о вещи, которая, казалось бы, еще оставалась скрытой. Ее восприятия получались как бы подсознательно и потому заслуживали еще большего доверия.

Теперь наш путь лежал вдоль берега. Собаки, чувствуя близость дома, приободрились. В пять тридцать мы уже были в поселке.

— Маргрета, есть для меня телеграмма? Нет? О господи!

XLII

Календарь

Точно выгравированный, хранился в моей памяти календарь. Весь прошедший месяц я каждый день рассматривал его, будто это была книга прорицаний. Все пророчества его не сбылись. Телеграмма не пришла.

— Завтра, — сказали мне в Уманаке, — завтра, в первый хороший день почта отправится.

Это было двадцать первого января. От Уманака до Годхавна пять дней езды по хорошему льду при благоприятной погоде. Накинем еще три дня. Передача моей телеграммы в Америку, ответная телеграмма, передача ее по радио в Игдлорсуит, тоже три дня. Всего самое большее — одиннадцать дней. Значит, я должен получить ответ первого февраля. Человек, назначающий в Гренландии определенные сроки, дурак. Я этого не знал.

Весна торжественное время, год начинается весной. Его обещания не так реальны, как несбывшиеся, неоправдавшиеся надежды, которые улетучились вместе с последней перевернутой страницей. 29 февраля я записал:

«Последние два дня были по-настоящему весенними. Дует теплый южный ветер, снег на крышах домов стаял. Глубокий рыхлый снег снизу превратился в сугу. На льду снег так осел, что проложенные санями дороги выступают будто дамбы. Все на улице: женщины развешивают выстиранную одежду и постельные принадлежности, девочки таскают за спиной грудных детей, повсюду мальчишки. Вчера вечером ходил на снегоступах на холм над гаванью, чтобы поглядеть в сторону Уманака. Залив покрыт льдом, но кое-где видны большие пятна разводий чистой воды. Когда я вернулся, мне было так жарко, что я вынес стул на улицу и, сидя на нем, курил».

Ночью ударил мороз; но весна уже наступила, я чувствовал это сердцем.

XLIII

Старина

Наверно, хорошо быть старым, чтобы не испытывать волнения, когда переворачивается страница и открывается весна, хорошо примириться с мыслью «что прошло, то прошло» и наслаждаться прошлым, вспоминая, чем оно было. Старики в Гренландии так и делают. В зимние вечера они собираются вокруг яркого света лампы из стеатита, дающей немножко тепла и, быть может, гораздо более древней, чем времена, о которых помнят старики. Они вызывают в памяти прошлое, рассказывают старинные предания, передавая Ветхий завет своего племени. То, что эти старинные предания сохраняются в памяти и рассказываются сегодня, свидетельствует о симпатии гренландцев к языческому духу, а может быть, и о подлинной их вере в реальность описываемых в преданиях событий и действующих лиц. Конечно, наш Священный завет, кроме верующих, мало кто читает, и мы, совершенно не веря в суеверия эскимосских легенд, находим мало интересного для себя в их преданиях. Другим доказательством веры современных гренландцев-христиан в рассказы об их прошлом служит усердие, с которым многие из этих рассказов передавались несчетное число раз, из поколения в поколение. Народ, не знающий искусства, почитает только истину. Для гренландцев их предания — история.

Для старого Эмануэля, этого бодрого внука ангакока, предания были семейными воспоминаниями; место действия — край, в котором он жил, действующие лица — его предки. Время действия — прошлое, но недалекое от настоящего. Предания эти показывают нам корни настоящего. Послушаем Эмануэля.

«В 1869 году я впервые заметил, что у меня есть старая бабка. По гренландскому обычаю, я спал вместе с ней. Таким образом, я все время находился с ней до ее смерти в 1876 году.

Когда она была жива, я часто вечерами, ложась спать, просил рассказать мне о ее предках. Она начинала рассказывать мне истории: 1) о том, что она сама видела и испытала, 2) о том, что она слышала.

Эту женщину (мою бабку) не крестили в детстве (но окрестили, когда она выросла). Языческое имя ее было Арнапе. При крещении ее

назвали Карен. Замуж она вышла за язычника, его звали Эрсакило.

Бабка часто рассказывала мне, как убили ее отца, — это зрелище она не могла забыть.

— Однажды, тотчас же после прибытия торгового судна в Уманак, — так начинала бабка свой рассказ, — отец вместе с другим охотником стал готовиться к поездке в колонию, то есть из Кекертата в Уманак. Каждый из них отправлялся на своих санях, а я должна была сопровождать отца; в то время я еще не была замужем. Моего отца звали Нернак, спутника его — Айе...»

Дальше события разворачивались так.

Жена Нернака предупреждала их, чтобы они не ездили: ходили слухи, будто люди, жившие дальше по берегу фьорда, замышляют убийство Нернака. Но Нернак сказал: «Я не могу избежать встречи с ними». Они уехали. В Уманаке сделали закупки, а затем отправились обратно на север.

Путь их проходил мимо острова Агпат. Жители острова, увидев путешественников, пригласили их остановиться и отдохнуть. Когда Нернак вошел в дом, он увидел, что там нет женщин — одни мужчины. Тут он понял, что эти люди замышляли убить его. Сначала они дали Нернаку мяса, и он ел, пока не насытился. Затем он и его спутник покинули дом, намереваясь ехать дальше.

Нернак дошел до саней, собрал собак и беспрепятственно отъехал. Но тут один из жителей острова, по имени Эртагссиак, побежал за ним, нагнал сани и, ухватившись за копылья, перевернул их. Только он сделал это, как все остальные подбежали к саням и схватили Нернака. У Эртагссиака был длинный нож. Рассказывают, что он пытался вонзить нож в сердце Нернаку, но тот ухватился за лезвие. Убийца дернул нож к себе и перерезал Нернаку сухожилия на руке. После этого все набросились на него и мгновенно убили.

Что делали в старину гренландцы, когда убивали кого-нибудь

Если в старину гренландцы убивали кого-нибудь, убийца съедал кусок печени убитого. Это и сделали убийцы Нернака (говорят, если кто не хотел есть печень убитого, тот мог выпить его кровь). Убив Нернака, убийцы бросили его тело в расселину скалы.

Айе, оставив мертвого товарища, продолжал свой путь на север. Он попытался захватить с собой вещи убитого, но убийцы забрали себе те узлы, в которых, как им показалось, было больше всего добра. На самом деле в них была только соль.

Тем временем семья Нернака томила в ожидании его возвращения. Наконец сыновья его, Кивиулик и Атате, увидели приближающиеся две упряжки саней. Сани скрылись за айсбергом, а когда снова стали видны, то братья поняли, что они ошиблись, вернулись только одни сани. Айе, прибыв домой, рассказал о горькой участи своего спутника, сообщив при этом, что все вещи Нернака пропали.

Эту историю Арнапе рассказывала с глубокой грустью. Домашние тщетно добивались получить хотя бы вещи Нернака, раз он убит.

(Что делала во время этих событий бабка Эмануэля — я совершенно не знаю, так же как и то, каким образом в период санного пути в Уманаке могло оказаться судно.)

Как потомки Нернака отомстили за его смерть

Прошло с тех пор много лет. Сыновья Нернака, Кивиулик и Атате, росли и крепили, втайне пробуя свою силу.

Как-то весной один из жителей острова приехал в Кекертат на санях убитого Нернака. Проснувшись утром, приезжий не нашел саней. Возможно, это старшая дочь Нернака, Унасален, узнала отцовские сани и ночью, когда все спали, спрятала их в расселине во льду.

Через несколько лет после этого происшествия два молодых человека явились к вдове Нернака. Они сказали, что в их поселке живет женщина, родственница убийцы ее мужа. Вдова должна отомстить за мужа, убить эту женщину, а они ей помогут.

Вдова Нернака решила действовать. Была весна, пригревало солнце. Жители поселка оставили дома и раскинули палатки. Крыши палаток были из тюленьих шкур, а стенки из тюленьих кишок. И вот настал день, когда вдова увидела женщину, которую собиралась убить. Та стояла лицом к солнцу у входа в палатку. Вдова незаметно подкралась сзади и схватила ее за плечи. Молодые люди, подбившие

вдову Нернака на убийство, стояли поблизости, но напрасно она пыталась поймать их взгляд. Они ей не помогли.

Тогда вдова уперлась коленом между лопатками женщины и оттянула ее плечи назад, изо рта женщины потекла кровь, все окрасилось в красный цвет.

(Обычно в то время, когда ставят палатки, жители переходят на новые места. Таким образом, вдова Нернака смогла оказаться по соседству со своим врагом.)

Когда сыновья Нернака; Кивиулик и Атате, выросли, стали хорошими охотниками, они покинули Кекертат и отправились в Саркак; они оба уже были крещены.

В Саркаке еще стоял лед, они поселились там. Весной лед близко подходил к их дому. Братья ходили на лед охотиться на белух и нарвала. Когда солнце начало пригревать, они расставили палатку и стали в ней жить. Дальше в глубь страны тоже в палатке жил человек по имени Этаркуток.

Однажды охотники, находясь на кромке льда, где охотились на нарвала, услышали крик: «Судно!» Оказалось, это были английские китобойные суда. Семья Кивиулика очень обрадовалась, увидев их. Она много зарабатывала, продавая на судах пустяковые вышивки. В обмен на них семья получала кусочки железа, иголки и разную старую одежду.

Говорят, в старое время в фьордах близ Игдлорсуита водилось много китов. Родные Кивиулика рассказали об этом английским китобоям, и те добывали китов. Когда английские суда ушли, случилось одно происшествие.

Из Карнуссака прибежала в Саркак белая собака. Когда она захотела вернуться домой, родственники Кивиулика повязали ей на голову платок, полученный от англичан, и собака побежала домой. Она принадлежала, надо сказать, любимой младшей дочери самого старого человека в Карнуссаке. Когда собака вернулась с платком на голове, старик убил ее, велел жене снять с нее шкуру и как можно скорее высушить.

Кивиулик и его младший брат к этому времени уже лишились матери и должны были заботиться только о старшей сестре — Унаралак.

Когда собачья шкура высохла, мать хозяйки собаки в присутствии мужа разрезала шкуру на полоски, какие употребляются для вышивания женских штанов, и отнесла их Унаралак. Унаралак сшила из них штаны и, когда они были готовы, надела их. Едва она это сделала, как у нее отнялись ноги и она начала вся трястись. Старейшие жители Карнуссака знали с нечистой силой и делали много злых дел, и вот теперь Унаралак, надев новые штаны с вышивкой, начала ходить на четвереньках, как собака.

Доведя Унаралак до такого состояния, Этаркуток, самый старый человек в Карнуссаке, послал и в Накердлок несколько полосок собачьей шкуры в подарок Эсераюк, старшей незамужней дочери Кассиака, жившей там со своим отцом.

Но Кассиак, прослышав о том, как у Унаралак отнялись ноги, взял полоски и отнес их вверх по фьорду, выше Накердлока. От дочери Кассиак это скрыл, но ночью, когда они укладывались спать, сказал:

— Я обошел с этими полосками вокруг дома, а потом выбросил их.

Позже им стало известно, что у всех жителей Карнуссака отнялись ноги, так что их дурные замыслы обратились против них самих.

Кунак и Эви

В начале этого рассказа мы говорили о двух мужчинах, отправившихся в колонию торговать, и о том, как одного из них, по имени Нернак, убили. У жены Нернака было два брата, Кунак и Эви. Эви женился, и у его жены родился сын. Когда сын начал ходить, Эви, по языческому обычаю, надел бусы на завязки его камиков. Сын подрастал. Можно было видеть, что он станет хорошим ходоком. Когда посторонние удивлялись быстроте его бега и хвалили его, отец, бывало, говорил:

— Когда бусина покатится, она не скоро останавливается. (Сын стал хорошим ходоком благодаря бусам, которые носил как амулет.)

Эви быстро ездил на санях, у него были быстроногие собаки, которых он натренировал, заставляя гоняться за мячом. Сын подрос и стал вместе с отцом ездить на санях. Иногда во время поездки отцу становилось холодно. Он слезал с саней и, чтобы согреться, бежал, держась за стойки. А сын в это время сидел впереди, втянув руки в

меховые рукава. Случалось, он тоже слезал с саней и бежал слева впереди собак, размахивая меховыми рукавами, как крыльями. Тогда отец сравнивал его с соколом, летящим быстро и низко надо льдом. В то время они жили в Кекертате.

Сын получил каяк и стал с отцом выходить на нем в море. В те времена вокруг Кекертата водилась масса оленей. Когда отец и сын, плывя вместе на каяках, замечали на суше оленей, отец приказывал сыну выходить на берег и гнать оленей в воду. Хотя оленей было много, юноша бил их всех по спине и загонял в море. Там отец убивал животных копьем. Возвратившись домой, отец рассказывал об удивительном множестве оленей, которых он видел плывущими в море, и о том, как убил нескольких из них. Этим он сохранял втайне от соседей умение сына так быстро бегать, ни на минуту не сомневаясь, что если бы они знали, что оленей в воду загонял сын, то стали бы завидовать и по злобе убили бы его. Однажды сын погнался за лисой, ударил ее ногой и убил. Он также погнался за кроликом, но с тем пришлось повозиться.

Когда замерзало море, отец и сын выходили охотиться на лед. В старое время всегда охотились на тюленей с гарпуном у лунки во льду. Однажды во время такой охоты сын, быстроногий бегун, упал в воду.

Как раз в этот момент брат Эви Кунак, находившийся дома, почувствовал, что ему особенно весело. Он сидел на нарах и все время пел песни.

Быстроногий бегун, выбравшись из воды, побежал как мог быстрее к берегу, однако был сильный мороз, его одежда моментально покрылась льдом, и вскоре он не смог двигаться. Тогда отец схватил сына и потащил к берегу. Сначала все шло хорошо, но затем силы покинули отца, а до берега было еще далеко, он больше не мог тащить сына. Удивившись этому, он оглянулся и увидел рядом своего старшего брата, тащившего его сына обратно. Эви прогнал Кунака и опять поволок сына.

Скоро он снова выбился из сил, а старший брат опять схватил его сына и понес в противоположную сторону. И на этот раз Эви заставил брата уйти, но в конце концов отцу пришлось отказаться от борьбы, так как какая-то сила все время тянула сына назад. Быстроногий бегун потерял сознание, и отец побежал домой за санями. Войдя в дом, он увидел брата раздетым, по-прежнему сидящим на краю нар. Так как

всего за минуту перед этим Эви видел, как Кунак мешал ему спасти сына, то он не мог удержаться и сказал старшему брату несколько сердитых слов. Оказывается, тот совсем и не выходил из дому. Какой же страшной колдовской силой владел в таком случае брат Эви.

Когда к оставленному на льду сыну подъехали на санях, он был уже мертв. Тело привезли на берег и похоронили за небольшим холмом, который теперь называется «могила большого утопленника».

После смерти сына Эви навсегда покинул Кекертат.

Однажды зимой, когда лед уже стал, много народу из различных поселков отправилось в Кекертат играть в мяч. Каждый раз, как подъезжали новые сани, Кунак спрашивал: «Это кто приехал?», так как прибывших надо было угощать мороженым мясом. Через некоторое время приехал и Эви, чтобы принять участие в игре в мяч. Со дня смерти сына это был первый приезд Эви в Кекертат.

Когда Эви подъехал, старший брат Кунак, как обычно, спросил, кто приехал. Услышав, что это Эви, он заметил:

— Странно, что ему здесь надо?

Обычно мяч делали из шкуры тюленя, наполняли ее песком, придавая форму шара.

Итак, все вышли на лед, и все, мужчины и женщины, начали борьбу за мяч. К игре присоединились также Эви и Кунак. Вдруг один из игроков, схватив мяч, побежал с ним к своим саням, стоявшим тут же наготове. Но один из преследователей настиг бежавшего и толкнул его так, что тот упал. Игра началась по-настоящему.

Во время игры люди заметили, что Кунак схватил Эви и борется с ним, пытаясь свалить его наземь. Заметили также, что у старшего брата — это на него похоже — в рукаве спрятан железный прут и он, пока безуспешно, пытается этим прутом убить Эви. Тогда все игроки побежали к ним, схватили старшего брата, отняли у него железный прут и отдали Эви. Он взял прут и, ударив им несколько раз брата по голове, убил его. Затем Эви начал оплакивать Кунака, приговаривая при этом:

— О, когда-то я слушал тебя!

При жизни брата он, бывало, слушал его песни.

Игра возобновилась, и все опять увлеклись ею. В этой игре гонятся за тем, у кого мяч. Нагнав, опрокидывают его, выхватив мяч, пытаются добежать с ним до саней и увезти его к себе в поселок. Тот, кто

доберется до поселка с мячом, бежит с ним к дому и, разбив окно, швыряет тяжелый мяч в дом. Победитель в игре — гордость жителей поселка.

Часто мяч наполняли не только песком. Иногда гренландцы клали в него столь ценившееся в старину нарезанное мясо нарвала или оленью шкуру, или еще что-нибудь подобное, поэтому всем очень хотелось завладеть мячом. В старые времена на севере Гренландии мало водилось оленей, поэтому очень ценились оборки из оленьей шкуры для женских капюшенов.

Когда победивший игрок возвращался домой с мячом, он приглашал всех жителей поселка к себе в дом на праздник с песнями. Как правило, на него приходила масса народу из других поселков, и дом бывал переполнен. Все очень веселились. Детей с собой не брали, а оставляли дома на попечении какого-нибудь инвалида. Когда праздник кончался и люди расходились спать, женщины выходили навстречу мужчинам.

Так происходило и в этот раз. После игры в мяч в Кекертате победитель вернулся с мячом домой и устроил праздник. Гости оставили детей дома, как это обычно делалось, под присмотром слабосильной старушки. Один ребенок начал плакать, и присматривавшая за ним старушка по просьбе детей сделала им «аяжок» из собачьей лопатки. Вскоре все дети увлеклись игрой.

В этой игре, если ребенку не удастся попасть в одну из дырок на аягоке, он передает его следующему. И так, от одного к другому, аяжок дошел до самого младшего. Этот не промахнулся ни разу. Во время игры дети заметили, что нары, на которых они сидели, движутся, а шкура на окне выпучилась внутрь. Тогда один из ребят бросил аяжок в окно. Было очень ветрено, все лампы задуло. Дети забились в угол на нарах, а самый старший отправился в соседний дом за огнем. Лампы зажгли, дети продолжили игру, и, как и раньше, младший ни разу не промахнулся. Потом нары снова начали двигаться, и тут в дальнем конце сеней появилась большая фигура, одетая в амаут (меховая одежда с капюшоном; в капюшоне часто носят маленьких детей). Повернувшись лицом к морю и держась спиной к детям, фигура стала приближаться. Наконец она обернулась и показала свое лицо. Дети в испуге убежали. Тогда старушка, присматривавшая за детьми, взяла

свое «уло»,^[31] ударила им привидение по лицу, начала бить его ногами и прогнала вон.

Когда люди вернулись из гостей, старики сказали: «аясисарпут».

На этом кончается история о Нернаке и его семье, рассказанная дочерью Нернака, Арнапе.

Исходя из приводимых ниже заключительных «воспоминаний» Эмануэля, есть основание думать, что его дед ангакок, если он когда-нибудь существовал, приходился ему прапрадедом. Из повествования это ясно, но все даты, приводимые в рассказе, нас путают. Даты у Эмануэля странные. Ему ничего не стоит сказать: «В 1869 году я впервые заметил, что у меня есть старая бабка», хотя записи в церковной книге показывают, что только 28 марта 1871 года мать Эмануэля заметила, что у нее есть Эмануэль. В лучшем случае он был замечен в августе 1870 года, если предположить, что мать знала о нем за восемь месяцев до его появления на свет. Но что знают эти старики о датах? И какое им до них дело? В день рождения сестры Эмануэля, Беаты, я спросил ее:

— Сколько вам сегодня исполнилось, Беата? Тридцать два?

— Не знаю, — ответила она, — может быть.

— Или, может быть, тридцать три?

— Да, — сказала она и радостно улыбнулась.

А глупые записи утверждают: «Беата Элизабет Катрина (Самуэльсон) Лёвстром род. 13 июня 1878 г.» Во всяком случае, если великий предок Эмануэля и не мог, как утверждает Эмануэль, родиться в 1700 году, он все же мог быть языческим ангакоком в отдаленных местах на севере Гренландии в восемнадцатом веке или несколько позже. Пусть цифры лгут, но Эмануэль не лжет. Внимание! Говорит Эмануэль.

История мужа Арнапе

Тот, кто рассказал мне эту историю, начал так:

«Теперь я расскажу тебе о своем деде. Он родился приблизительно в 1700 году и был великим ангакоком. Жена его тоже была ангакоком, причем более сильным, чем он сам. Выпуклые глаза женщины

говорили о большой борьбе, которую она вела из-за своих духов-помощников.

Они жили к северу от Игдлорсуита близ берега, в Эркутаке, который никогда не покидали. У них были только сыновья, а жене очень хотелось иметь дочерей. Наконец, не в силах больше противиться желанию иметь дочь, она взяла на время другого мужчину, чтобы забеременеть и родить девочку. Ребенок родился, и вправду — девочка. Она была последним, самым младшим ребенком в семье. Ее называли Арналуак. Счастливая мать почти не отходила от нее.

Однажды разразилась эпидемия какой-то болезни, занесенной английскими китобоями; умерли почти все жители поселка. Случилось это летом, когда люди жили в палатках. Все заболели и умирали. Мать Арналуак ничего не могла для них сделать, но над своими детьми она совершила волшебный обряд раньше, чем они успели заболеть. Вот как она это сделала.

Как-то ранним утром она повела всех детей, одетых только в штаны, без камиков, на берег и там побросала одного за другим в воду, а затем обрызгала соленой водой. Прodelав это, она пошла с ними назад, расположив их гуськом по возрасту: самого старшего впереди, самого младшего последним. Им было позволено войти в палатку только после того, как все они прикоснулись к потайному зубу белого кита.

Когда все дети зашли в палатку, мать постояла сначала в одном углу, потом в другом и весь день переходила из угла в угол. Так она наложила на детей чары ангакока и предоохранила их от заболевания. Ни один из них не умер, несмотря на смерть всех остальных жителей поселка.

Дети росли и начинали наблюдать, как их отец занимался Торнарсукской магией. Ангакока клали на пол и крепко связывали, чтобы он не мог распутать веревки. На пол стелили мех. Ангакок запевал ангакокскую песню «акиут». Находившиеся в доме пели вместе с ним. Во время пения ангакок освобождался от веревок, вставал и призывал одного из своих духов-помощников, Митатдлуссокуне. Иногда дух являлся и произносил только: «Путукуто, путукуто». Говорят, что духи произносят это в тех случаях, когда людям предстоит столкнуться с нуждой. Народ всегда очень огорчался, услышав это

слово. Но иногда дух, входя, говорил: «Каяк, каяк», и люди были счастливы, так как это предвещало изобилие.

После ухода духа-помощника ангакок призывал своего Кавдлунакуне. Тот говорил всегда одно и то же: «Неправда ли, Торнарсук злой?» Ангакок с ним соглашался, тогда дух вдруг начинал говорить по-датски, а ангакок переводил. Когда дух уходил, ангакок призывал свою Арнакуне (женский дух). При появлении этой громадной женщины все находившиеся в доме разбегались. Она приближалась к мужчинам с ужасающим шумом «бум!», «бум!», и при этом с нее сама собой спадала одежда. Мужчины очень боялись Арнакуне. Даже ангакок пугался и хватался за балки, потому что духи этого боятся.

Когда Арнакуне наконец уходила, ангакок вызывал Атдлернакуне (подземного духа). Этот совсем не страшен.

В числе духов-помощников ангакока был большой каяк — точнее, только передняя часть его. Этот каяк применялся в тех случаях, когда кто-нибудь из сыновей ангакока плыл во время бури на каяке и нуждался в помощи.

В числе духов-помощников был также айсберг.

Если ангакок хотел, чтобы его дух, Митатдлуссокуне, явился в дом, то тушил свет, уходил в дальний угол комнаты и бил по шкурам. Затем внезапно становилось светлее и мясо на шкурах начинало греметь. Ангакок показывал Митатдлуссокуне крыло сокола, поседевшего от старости.

Арналуак была единственной дочерью в семье. Она, бывало, рассказывала о громадном женском духе своего отца, Арнакуссуане: как этого духа впускали, когда дети сидели под нарами, и как взрослые чуть не умирали от страха.

Это было ужасно».

XLIV

Старая и новая вера

Однажды зимней ночью, во время бури, в самое темное время года, в маленьком обществе, сидевшем у меня вокруг стола, освещенного светом лампы, почему-то зашел разговор об ангакоках. Ах, да, я, кажется, баловался с монеткой; да, так оно и было. Я проделал какой-то простой маленький фокус, проделал один раз и, как ни странно, удачно. У меня хватило ума остановиться на этом. Все присутствующие были в изумлении. И тут мы заговорили об ангакоках, колдунах этого племени.

— Может быть, и вы ангакок? — спросил один из гостей.

— Может быть, — ответил я и многозначительно улыбнулся.

— Мой дед, — продолжал я, так как меня определенно слушали с интересом, — был ангакоком у американских индейцев. Их бог — Торнарсук, хотя называют они его другим именем. Хотя я сам никогда не занимался магией как ангакок, но Торнарсук дал мне «торнака» (торнак — дух-хранитель), а дед дал мне «арнаук». Мой дед также обучил меня тайнам своего дела.

— У вас есть арнаук? Покажите его нам! — закричали все женщины. Их было три: Маргрета, Саламина и случайно зашедшая Регина.

Замечу, что две из них были исключительно просвещенные женщины, обладавшие недюжинным природным умом, а у Регины вполне хватало времени проникнуть в тайны белого ангакока — Троллемана. Что касается мужчин, Рудольфа и Абрахама, то они или шутили вместе со мной, или сомневались во мне, или думали, что это, может быть, правда. Но это неважно. Во всяком случае, мы, мужчины, были заодно, все мы получали удовольствие от беспринципного эксперимента над женской верой. По-видимому, стоит только поскрести гренландца, и вы обнаружите язычника, потому что, продолжая с должной драматической серьезностью играть свою роль, я через несколько минут заставил женщин смотреть на меня с самым лестным для меня выражением почтения и страха. Если б я захотел, они были бы готовы визжать в припадке ужаса. Мои немногочисленные слова и действия производили на женщин глубокое впечатление. Они сидели,

прижавшись друг к другу, глядя на меня, и стоило мне только бросить на них дикий взгляд, как они отодвигались в страхе. Женщины боялись и были зачарованы, умоляли показать им мой арнаук или амулет, спрятанный, как я им сказал, у меня под одеждой. Они ни в чем не сомневались и, желая увидеть чудо, проявляли детское любопытство. Регина просила меня хоть *когда-нибудь* показать ей арнаук и научить ее колдовать (бог знает, во что бы она превратила своего мужа!).

— Хорошо, — ответил я ей, — но будь готова к возможным последствиям. Я знал таких, кто, просто взглянув на арнаук вроде моего, потерял все волосы. У одной женщины отнялась левая рука.

Регина содрогнулась.

— Может быть, — сказала она смущенно, — если б я уже побывала в Дании, то рискнула бы. Но не могу же я ехать туда без волос.

После этого вечера в течение нескольких дней мне пришлось возиться с перепуганной женщиной. На меня свалилась масса мелких дел. Я спускался в погреб, когда нужно было оттуда что-нибудь достать, сопровождал Саламину каждый раз, как она выходила из дому по делу, если на улице было темно. Она боялась не меня, потому что я сразу же постарался избавиться от деда, который доставил мне много хлопот, а того сверхъестественного мира, в который все еще верила, несмотря на свой острый здравый ум и воспитание, полученное у «иконоборца» дяди Енса. Я только потревожил прошлое. Оно живо для большинства гренландцев.

Гренландцы верят в Торнарсука — верховного демона, правителя их древнего мира духов, по обиталищу которого люди ходят. Они верят в «кивигтоков» — людей, которые бежали из поселков и как демоны живут в горах; в «игаглидитов» — диких бесов, обитающих в глубинных районах страны, которые бродят там, пожирая гниющую пададь; в «эркигдлитов» полулюдей-полусобак. Однажды ночью в лагере под Умиамиако от страха перед ними Саламина жалась ко мне. Эркигдлиты были когда-то людьми, кровосмесительным племенем, потомками убийцы, который вместе со своей женой бежал от мести в эту покрытую льдами местность. Кивигтоки, эркигдлиты — эти дикие, ненавидящие людей существа, эти таинственные обитатели Умиамиако казались гренландцам настолько реальными, что власти организовали обследование области с самолета в лето от рождества Христова 1932-е.

Были обнаружены следы полозьев саней, стрелы, следы ног: если люди *хотят* верить, то уж доказательства найдутся.

Гренландцы верят в «атдлигов» — безносые существа, похожие на русалок, но только мужского пола, которые заманивают и губят охотников на каяках. Гренландцы верят в ведьм и могущество их наговоров. Рудольф однажды в шутку ущипнул за щеку маленькую Ане. Болета, старуха, о которой говорили, что она ведьма, увидела это и, неправильно истолковав поступок Рудольфа, прокляла его руку. И действительно, вскоре рука Рудольфа стала болеть. Она беспокоила его несколько месяцев.

— Может быть, Болета и не виновата, — сказал Рудольф, — не знаю.

Чтобы дети вели себя хорошо, матери гренландки пугают их духами Торнарсук. Многие взрослые девушки, просвещенное младшее поколение, не выходят одни на улицу в темное время.

Но что из этого? Что, если они действительно верят в демонов, троллей, бесов, ведьм, во всю адскую компанию, в которую верят язычники? И мы, даже в период расцвета христианства, верили во все это. Такая вера противоречит христианской теологии не более, чем богатство христианской морали. Никто не понимал этого лучше, чем Ганс Эгед, первый апостол истинной веры в Гренландии. Он подтвердил верования гренландцев. Торнарсук со своими духами был как будто специально изготовлен по заказу для христианской веры: это были «силы тьмы». Ганс Эгед учил эскимосов смотреть с отвращением и ненавистью на их древних богов-демонов, отвернуться от них, но не переставать верить в них. Веря в них и сейчас, гренландцы боятся их, как они боятся бури, насилия и смерти. Христианский бог милосерден — значит, нестрашен, следовательно, о нем и не думают. Кроме того, бог был не слишком добр к гренландцам. Народ, живущий на безлесной голой полоске суши, окружающей материк льда, тщетно будет разыскивать в священном писании упоминание о материальных благах, которые даровал ему бог. *Присутствие* бога здесь не ощущается. Это делает Евангелие несколько нереальным. Может быть, бог здесь не живет?

У ранних христиан было достаточно оснований обожествлять того, кто произнес Нагорную проповедь, и поклоняться ему. Массы, попираемые жестокой аристократией, эта проповедь научила уважать

свою бедность и находить в ней и в непротивлении ключи к небесным радостям, которых они лишены на земле. Такое же влияние могла бы оказать эта проповедь и на гренландцев. В ней можно было бы сказать им: «По образу жизни своей вы — божьи дети. Верьте только в бога, и надежда оживит ваши души и даст вам счастье». Но апостол Ганс родился в восемнадцатом веке и финансировался купцами. Он пришел, держа в каждой руке по завету — старый и новый: старый — Нагорная проповедь, новый — гроссбух. В одном завете были обещания, в другом — наличные. Один завет призывал: «Не заботьтесь о завтрашнем дне, раздайте свои богатства бедным, будьте бедными». В другой проповедовалось: «Живите бережливо, работайте усердно, копите деньги и богатейте». Церковь и торговля отлично соединялись в апостоле Гансе. Они и сейчас делают бизнес рука об руку: поэтому Евангелие немного нереально. Но гренландцы — христиане и ходят в церковь.

Когда в воскресное утро дурачок Ери Меллер в третий раз берется за узловатую потрепанную веревку от рыбацкой снасти, свисающую с маленького церковного колокола, и вызванивает последний призыв к службе, народ собирается. Жители высыпают из всех домов, разодетые в пух и прах, и гуськом входят в церковь. Деревянная церковка с трудом вмещает всю эту толпу. По одну сторону прохода сидят мужчины и мальчики-подростки, по другую — женщины и маленькие дети. В стенах по обе стороны — большие окна, но народ смотрит только налево, где за окном море, далекие горы и синее небо. И свежий воздух: внутри душно. Все кашляют.

Красивые вещи как будто сделаны богом, они обладают его атрибутом — совершенством. Но скверная плотничья работа, плохое ремесленническое исполнение, плохое искусство должны быть оскорбительны в глазах бога. Что-либо скверное в церкви — это просто кощунство. Если кто-нибудь ищет доказательство упадка христианской веры, он не найдет лучшего, чем никуда не годные проекты, никуда не годная постройка, никуда не годные украшения современных церквей. Как могут поклоняться богу те, кому нравится плохое искусство? Вы думаете, ограда алтаря в этой гренландской церквушке собрана на шипах из моржовой кости и инкрустирована вырезанными из кости изображениями тюленей и китов, единственных даров, которыми бог по своей великой милости благословил этот народ, чтобы он имел пищу,

тепло и свет? Может быть, здесь совершенно любовное приношение всего лучшего, что они могли сделать из любви к богу, тому, от кого исходит вся красота? Нет, дешевые датские балясины для лестницы черного хода поддерживают барьер из простой планки; алтарь — неуклюжая коробка с фальшивыми готическими арками, прибитыми к нему спереди гвоздями. Грубая работа замазана дешевой краской. О какой любви к богу говорит этот дешевый и претенциозный храм?

В старые времена ангакоки обычно были самыми выдающимися людьми в общине: они были вождями, людьми, доказавшими свое мужество, людьми, которые работали. Датский торговец, писавший в 1750 году, так характеризует одного ангакока:

«Он навещает меня ежедневно. Он хочет, чтобы ему рассказывали о боге и делах, которые он творит, и никогда не перестает восхищаться ими. Но этим дело и ограничивается, во всех остальных отношениях он непоколебимо сохраняет свои принципы. Жизнь его может служить образцом, и, должен признаться, что из бесед с этим выдающимся человеком я узнал очень много о Гренландии».

Но вот встает Самуэль — помощник пастора. Воскресный вид имеют его черный альпаковый анорак и целлулоидный воротничок; будничный — его голодные глаза, желтая, нездоровая кожа, маленький холеный пучок волос под нижней губой, как кисточка у пуделя. Он держится елейно, обращаясь к богу, скорее подлизывается к нему, чем благоговееет. Он склонен к позерству: перебирает ногами, задирает подбородок и, подняв руки, сплетает пальцы, выворачивает их. После непродолжительного благосклонного взирания на паству Самуэль поворачивается к черной доске и выписывает на ней мелом номера гимнов. Вся эта пантомима скучна, но, несомненно, в его представлении имеет значение. Записав номера гимнов, Самуэль усаживается перед фисгармонией. Он открывает книгу гимнов, отыскивает нужное место, потирает руки — в церкви холодно. И вот скрипят педали, хрипят меха, стучат клавиши — фисгармония заговорила, и Самуэль поет.

Я знал одного странствующего проповедника — замечательного парня (он был когда-то кондуктором на товарных поездах), который пение гимна перемежал возгласами: «Петь я не горазд, но могу издавать

радостный шум перед лицом господя». Так было и с Самуэлем. Шум, который он производил, напоминал звуки медных труб, он трубил богу о своей радости. Если господь действительно любит такие вещи, то ему больше всего должны были нравиться средние ноты Самуэля, несомненно наиболее радостные. Никто не мог с ним сравниться. И только когда Самуэль спускался на самые низкие ноты — он пел басовую партию — или забирался очень высоко, можно было наконец услышать мелодию, которую выводили чистое сопрано Софьи и остальные голоса. Не успевало еще заглухнуть эхо одного гимна, как хор запевал новый. Так шла служба. Затем Самуэль появляется на кафедре. Сейчас начнется проповедь.

Проповедь была об Иоанне Крестителе. Длинная проповедь. Начиналась она в умеренных тонах и набирала темп и размах по мере развития. Наконец, захватив своего творца, вдохновляла его. Устремив глаза вдаль на синюю стенку, он воспарил, потерял всякую связь с землей, с людьми на ней. Люди отпустили его, и долго-долго, пока Самуэль отсутствовал, продолжался беспорядочный шум: сморкание, потягивание носом, чиханье, кашель, скрип сидений, шарканье камиков, шепот, подвывание, повизгивание, болтовня, разговоры и детский плач. Некоторые тяжеловесные граждане дремали, некоторые откровенно спали, две матери кормили детей грудью, все остальные присутствующие беспокойно вертелись и скучали.

Как-то вечером — ах, да, мы уже ушли из церкви, проповедь кончилась, мы выбрались вон и отправились домой, — как-то вечером у меня обедали гости. На этот обед по какому-то особому поводу, не помню уже по какому, были приглашены Самуэль и его жена — старая ведьма. Все шло превосходно. Мы кончили обедать и сидели за столом, разговаривая и попивая пиво. Вдруг Самуэль начал неспровоцированное нападение на муниципальный совет, два члена которого, в том числе председатель Абрахам, присутствовали здесь.

Целью Самуэля, по-видимому, было не столько унизить их, сколько возвеличить себя. Но, сообщив нам, каким великолепным парнем он стал благодаря господу богу и себе самому, Самуэль попытался подкрепить это заявление указаниями на достойное презрения невежество и тупоумие членов совета и бондаря Рудольфа. Самуэль наслаждался, он разошелся и, стоя, извергал поток слов, как в воскресенье с кафедры. По-видимому, это была обличительная речь, он

бесновался. Они терпеливо слушали. Но затем, когда стало ясно, что речь эта никогда не кончится, Кнуд и молчаливый Хендрик поднялись, спокойно подошли к Самуэлю — никогда я не видал, чтобы подобную операцию проделывали так гладко, — взяли его сзади за плечи и за штаны, подняли — он брыкался, вздымал вверх руки, как мученик в день вознесения, — пронесли беснующегося помощника пастора через переднюю и вышвырнули в темноту на улицу. Самуэль немного посидел, плача, на склоне холма и тихонько поплелся домой.

Был уже март, а оттуда — ни слова. Разве я мог знать, что почта все еще в Уманаке? Знай я, что там такая задержка, то вполне мог бы снова съездить туда, взять свою телеграмму и, несмотря ни на какие препятствия, отвезти ее в Годхавн. Поживешь — узнаешь, но часто какой ценой бессмысленных терзаний ума!

Мои поездки на другую сторону пролива были суровым способом держать себя в руках. Отправляйтесь, говорил мне мой доктор, и оставайтесь там два дня, четыре, пять. Пусть Давид оставит вас одного. Отправляйтесь туда, где вы по крайней мере будете считать время днями, а не часами и секундами. Прекрасная теория и унылая практика, которая привела к крушению всех моих надежд.

Мне всегда казалось, что лучше быть одному. Нуждаясь в одиночестве, я жил закупоренный в одной комнате с Саламиной и ее девочкой. Всегда она дома, всегда возится с чем-нибудь, что-то делает — шьет, гремит кастрюлями, сковородами или стучит тарелками. И то, что она старалась работать тихо и ходила по дому на цыпочках, почему-то особенно бесило меня. Она как бы говорила: «Я думаю о тебе». Так и было на самом деле. Это давило на меня, как тяжелый груз. «Перестань ходить на цыпочках, — хотелось мне крикнуть, — не сиди, уставившись на меня». Но, даже сидя к ней спиной, я чувствовал на себе ее взгляд. А долгие периоды мертвой тишины, прерываемые лишь слабыми-слабыми звуками! Я знал, что это значит. Она плакала. Тогда я уходил из дому.

Я не успевал пройти и трех раз вдоль набережной, как Саламина уже оказывалась рядом, за моей спиной. Она была как безумная, я тоже. Я не бредил и не плакал, я ничего не говорил — откуда же ей было известно о моем состоянии? Но именно неизвестность сводила ее с ума. Бедняжка! Саламина, такая чувствительная к каждому оттенку в настроении, с ужасом смотрела на покрывавшую меня чугунную оболочку. Не зная, что меня мучает, она относилась это на свой счет.

— Саламина плохая? — спрашивала она.

— Нет, — отвечал я, — ты хорошая.

Слова, слова! Она отворачивалась и плакала. По ночам, лежа в постели в полной тишине и темноте, я слышал ее приглушенные рыдания. Раз она встала, босыми ногами прошлепала по доскам и очутилась на полу на коленях рядом со мной, тихонько позвала меня по имени, я притворился спящим. Долгое время она простояла так на коленях, на холодном полу, плача.

Что может сильнее таинственности возбудить любопытство? Для разума — это комната Синей Бороды^[32]: каковы бы ни были последствия, мы *должны* подглядеть. А если замок не пускает нас в комнату, то мы применим динамит, уничтожим себя, все кругом, но *заглянем*.

Саламина в отчаянии заложила заряд. Однажды вечером она подожгла шнур. Мы сидели дома. Я читал, Саламина шила. Все было как обычно. Но вот Саламина отложила работу, повернулась ко мне, заговорила:

— Ты постоянно раздаешь людям деньги, а они ничего не сделали, чтобы заслужить их. Я начала у тебя работать в августе. Пора выплатить мне заработную плату.

— Заработную плату! Как?

Я не ослышался, но просто был поражен. Она права: я не платил ей за ее работу.

Собственно говоря, в то время когда я нанимал ее, Саламина не упоминала о заработной плате. Под впечатлением ее очевидного доверия ко мне и убедившись при более тесном знакомстве в ее стойкой преданности моим интересам, я решил намного превысить скудное жалованье в десять крон в месяц, выплачиваемое хозяйками-датчанками. Итак, я начал с того, что без всяких ограничений передал в руки Саламины распоряжение своей кассой, велел брать оттуда деньги на все, что будет нужно ей и детям. Хотя она усиленно возражала, но в конце концов, как мне казалось, я добился своего. Никогда я не позволял Саламине отчитываться в расходах на ее собственные или на хозяйственные нужды и не обращал внимания на то, что, уходя в лавку, она говорила:

— Я беру разменять бумажку в пять крон.

Не глядел на сдачу, когда она совала ее мне под нос.

— Бери из коробки, — говорил я, — когда она опустеет, я наполню ее снова.

Видит бог, Саламина поступала честно. Но что касается жалованья... Правда, я дарил ей деньги, наличными. Ко времени нашего разговора она скопила жалованье трех кифаков.

Но вот Саламина сидит против меня с окаменевшим лицом.

— Я хочу получить свои заработанные деньги, — говорит она.

Когда у человека такое лицо, с ним трудно говорить. Пытаюсь объяснить Саламине, как обстоит дело, рассказать ей, что мне хотелось сделать и что сделано, какую выгоду она получила.

— Ах, *подарки*, — ответила она с глубоким презрением. — Я хочу получить свою заработную плату. А что касается детей, то я не тратила на них твоих денег. За детей я платила сама.

Несомненно, Саламина так и делала. Один раз, поймав ее на том, что она берет деньги со своего счета в банке, чтобы купить себе материал на пальто, я запретил эту тайную операцию. Но Саламине было трудно примириться с необычным порядком, который я хотел ввести. И вот Саламина сидит и вызывающе требует свою заработную плату. Я ненавижу ее в тот момент.

— Хорошо, завтра ты получишь сто двадцать крон, за восемь месяцев, по пятнадцати крон в месяц. Датчане платят десять.

— Аюнгулак, — ответила она. — Я сейчас уйду. Завтра заберу свои вещи и вернусь в Икерасак с ближайшей уманакской почтой.

С этими словами Саламина встала, убрала свою постель с нар, разложила на них мои одеяла и ушла.

— Слава тебе господи! — прошептал я.

Когда на следующее утро я вылез из постели, в моем затуманенном мозгу еще продолжало звенеть эхо будильника. Как темно, холодно и не похоже на те времена, когда я вставал в тепле, при свете лампы, слыша мурлыкающие звуки чайника. Зажег свечу, накинул халат, выгреб золу из печки, положил щепки, зажег их, потом вышел во двор. Светили звезды, воздух чистый, хрустальный. В домах не было света; на улице — ни души. Казалось, что я один на свете, и это было приятно. «Душа, освобожденная от тела, — думал я, — не нуждалась бы в какой-либо иной красоте, кроме обнаженной красоты вселенной». Я ощутил восторг, потом вздрогнул от холода и вернулся в дом.

Я сидел и пил кофе, вдруг зазвонил будильник. Раньше мне просто показалось, будто бы он звонил.

Саламина пришла рано. Я не был уверен, что она пришла за деньгами, но выписал чек. Саламина взяла чек и ушла.

Примерно через полчаса она возвратилась. Глаза у нее покраснели от слез.

— Я теперь поняла, как обстоит дело, — сказала она, — извини меня. — Саламина стояла в ожидании. — Можно мне вернуться?

— Нет, — ответил я, — я не бизнесмен и не хочу, чтобы у меня в доме жила деловая женщина.

— Я не поеду в Икерасак, — сказала Саламина, — лед, вероятно, ненадежен, и слишком холодно для такой дальней поездки. Мне будет стыдно приехать в Икерасак.

— Скажи им, что я тебя надул, скажи, что я бил тебя, скажи, что хочешь. Незачем тебе стыдиться. Но вернуться сюда ты не можешь.

— Я не поеду в Икерасак, — заявила она.

Мы стали обсуждать этот вопрос, спорить. Я пригрозил, что оставлю дом ей, а сам перееду в Нугатсиак. Саламина плакала. С распухшим, покрасневшим лицом она вернулась к Маргрете.

В этот день был день рождения Маргреты, я обещал ей устроить вечер для гостей. Саламина пришла спросить, может ли она приготовить обед. Я позволил. Обед был пересолен слезами. К обеду Саламина надела красивый шелковый анорак, который я подарил ей на рождество.

— Я надену его на сегодняшний вечер, — сказала она, — может быть, мы сегодня в последний раз обедаем вместе.

Вечер был грустный, потому что все любили Саламину. Временами от невеселых мыслей у нее на глазах навертывались слезы; она выходила, чтобы поплакать наедине.

На следующий день Саламина забрала вещи. Вид у нее был такой, будто она не спала, проплавав всю ночь. Упаковала вещи, убрала в доме. Пришла девушка помочь отнести ее сундук. Занимаясь уборкой, Саламина постоянно просила, чтобы я разрешил ей опять работать у меня.

— Позволь мне приходить по утрам и топить печь, ведь утром холодно. Ты будешь мерзнуть. Позволь мне шить тебе камики, стирать анораки. Позволь мне готовить, мыть посуду, убирать в доме. Я хочу работать у тебя. Я хочу вернуть тебе деньги. Я не хочу получать плату ни за что.

— Нет.

Наконец Саламина должна была уходить. Она стояла, прощаясь со мной, с лицом, мокрым от слез.

— Спасибо, — сказала она, — спасибо за все. За подарки и деньги, за еду, за дом. Спасибо, что ты был ко мне добр, спасибо, спасибо.

Долго после того, как дверь закрылась за ней, Саламина стояла снаружи. Потом, не переставая лить слезы, она спустилась с холма.

Саламина оставила у меня свою постель. Когда наступило время ложиться спать, она пришла за ней, попросила разрешения постлать мне.

— Ты будешь мерзнуть, — всхлипывала она. — Пожалуйста, позволь мне прийти утром растопить печь.

— Нет.

Я не мог позволить ей уйти одной и пошел провожать ее до дома Маргреты. Я не мог покинуть ее, пока за ней не закрылась дверь.

В семь утра Саламина пришла.

— Всю ночь, — сказала она, — я звала: «Кинте, Кинте, Кинте, тебе холодно». Ах, Кинте холодно и некому позаботиться о нем. А утром он должен вставать в холодном доме, затапливать печь, готовить завтрак, делать все сам. Как я могу сидеть сложа руки, когда тот, кого я люблю, должен работать! Пожалуйста, пожалуйста, позволь Саламине работать на тебя. Ну, пожалуйста! Мне не нужны деньги; позволь мне работать...

Я пришел к Маргрете. В комнате лежал мой анорак, который Саламина стащила, чтобы выстирать. Саламина взяла его в руки.

— Анорак Кинте, — скорбно произнесла Маргрета, и обе они заплакали.

Из окна я мог часто видеть Саламину, которая стояла перед дверями дома Маргреты, глядя в сторону моего дома, обняв себя руками, потому что было холодно. Она заходила в дом только на несколько минут, чтоб погреться, потом выходила опять. Иногда безутешная Саламина ходила взад и вперед, скрестив руки, опустив голову.

Она выдумывала предлоги, чтобы приходить ко мне в дом.

— Кинте, Кинте, — плакала она. — Саламина не ест, не спит. Всю ночь она лежит и думает: «Может быть Кинте холодно или ему что-нибудь нужно». Ах, лучше бы Саламине умереть.

Как у нее лились слезы!

Однажды Саламина взяла мой большой охотничий нож и подала мне.

— Убей Саламину, — сказала она, — убей ее, убей.

Как-то зайдя к Маргрете я застал ее одну.

— Может быть, Кинте теперь будет редко заходить в наш дом, — сказала Маргрета и начала утирать слезы.

Так долго продолжаться не могло. И, конечно, не продолжалось. Саламина была восстановлена на своем месте, но с условием, что будет по-прежнему жить у Маргреты. Я нуждался в одиночестве; возможность оставаться вечерами в доме одному разрядила напряжение. Я думаю, что Саламина тоже была теперь более довольна, хотя мне и приходилось все время защищать завоеванную свободу от настойчивых поползновений ее ненасытного чувства собственности. Возможно, ни в каком другом отношении она не проявила себя так полно как дочь своего народа. Имея в виду хорошо известный случай подобного рода, когда один бедный, достойный, мягкосердечный человек потерял всякие права на собственное тело, сердце и душу, я иногда говорил ей:

— Послушай, Саламина, я не Андерсен, а ты не Софья; довольно этих глупостей.

Саламина смеялась.

Подкрались мартовские дни. Каждое мгновение, приближаясь, дрожало, как будто в страхе предо мной, и приостанавливалось в своем движении. А пройдя, дни делали скачок, теряясь в бездне прошедших. С первого февраля миновали, казалось, годы; оно было до моего рождения; до завтрашнего дня оставалось ждать целый век.

Март. Близко равноденствие, когда начинается наступление дня на ночь. Чувствуется, что уже весна, но неоспоримые факты доказывают, что нет, еще продолжается зима. Толщина льда достигла предела, лежит глубокий снег. Самое время путешествовать. Наступил день, когда в столицу, Годхавн, приехали с севера сани: прибыла зимняя почта.

На следующий день в конторе управляющего колонией было большое оживление: почту сортировали, рассылали по домам местные письма. Оживление и на радиостанции, где Хольтон-Меллер отправляет кучу телеграмм так быстро, как только может их поглотить эфир. Он отправляет все телеграммы в одно место, на юг в Юлианехоб. И оттуда они все пойдут в одно место, в Данию, — нет, одна в Америку. Эта

пойдет через Льюисберг. «Лопум, дубку, дубев, дубме, дубог» — стучит телеграфист. А Льюисберг принимает телеграмму, передает ее в Нью-Йорк или в Бостон, потом она следует дальше.

В маленьком помещении для телеграфиста в деревушке в Адирондаке сидит терпеливая и преданная своему делу телеграфистка миссис Ковентри. Пусть господь благословит, а компания Вестерн-Юнион вознаградит ее за все, что она сделала для клиентов. Она получила телеграмму и, только ее аппарат отстучал последнюю черточку, протянула руку к телефонной трубке. Может быть, на телефонном проводе скопился снег. Мартовский снег мягок, он налипает на все. Если на проводе был снег, он растаял от этих слов. То, что я шептал про себя в январе, наконец было услышано в марте.

Пришел ответ. Конечно, он пришел — какой же я был осел, — и так скоро, что мог бы казаться эхом моего призыва. Ответ, листочек бумаги, принес Энох, мальчишка на побегушках у Троллемана.

— Саламина, — сказал я, как бы между прочим, — через несколько дней я выезжаю на юг, в Хольстейнбург, встречать первый рейс «Диско».

Так вот в чем было дело! Саламина просияла. Она поняла, что плохие времена для всех нас миновали.

XLVI

Отправление

Расположен Игдлорсуит на $71^{\circ}15'$ северной широты, а Хольстейнборг, прямо на юг от него, — на $66^{\circ}55'$. Следовательно, между ними двести шестьдесят миль. Но путешествие на собачьих упряжках ненадежное дело, и путь может оказаться окольным, так как все зависит от изменчивой, не поддающейся предвидению стихии — от погоды в ее всеобъемлющем, термометрическом и барометрическом смысле. Водные пространства, Уманак-фьорд, пролив Вайгат между островом Диско и материком, и залив Диско могут в один год покрываться льдом, а на следующий — все время оставаться чистыми. Где-нибудь неделю может держаться крепкий лед, но затем растаять и больше не замерзнуть в течение всего года. В период образования лед настолько зависит от точной комбинации всех условий погоды, что иногда диву даешься, как вообще ему удастся сформироваться. А маршрут ваш, даже при всех благоприятных условиях, должен петлять, потому что путь от точки отправления до точки назначения, проложенный вами по карте, или совсем непроходим, или пересечен крутыми склонами и извилистыми проходами, ранее открытыми другими.

По прямой линии от Игдлорсуита до Уманака пятьдесят миль, но большую часть зимы или всю зиму приходится покрывать на санях расстояние втрое большее. Моим конечным пунктом был Хольстейнборг. Я не мог надеяться добраться туда на санях. Можно по берегу залива Диско достигнуть Егедесминде, а оттуда отправиться к югу на лодке. Но все это были предположения; мне только *хотелось* быть в Хольстейнборге 20 апреля.

Я выехал из Игдлорсуита 30 марта. Забота о нас со стороны гренландцев не делает нам чести. Они твердо убеждены в нашей слабосильности. Саламина всегда говорила вздор о том, что я буду мерзнуть, часто плакала из-за того, что я сплю на полу.

— Ты же не гренландец, — твердила она, — ты замерзнешь. — От каких белых они этому научились?

Вечером накануне отъезда на юг у меня были гости: Рудольф, Абрахам и Мартин. Сидя над картой, мы обсуждали мою поездку. Одно было ясно: нам снова придется ехать через Кангердлуарсук, так как в Уманак-фьорде не замерзла вода. Более того, в устье Кангердлуарсука тоже не было льда; добраться до Увкусигсата можно будет только на лодке. Это я предусмотрел. Давид должен будет переправиться на каяке через Кангердлуарсук, оставить на стоянке меня с собаками, затем двинуться дальше в Увкусигсат и прислать оттуда за мной лодку.

— Как! Оставить вас одного с собаками? Мы этого не можем позволить.

Они возражали единодушно и горячо. В конце концов решили, что Мартин, вызвавшийся бесплатно участвовать в поездке, останется на стоянке со мной, а потом доставит каяк обратно. Это имело смысл отчасти из-за каяка; предложение было дружеским, я принял его. Но за всем этим скрывалось их представление, что один я могу погибнуть.

Саламина была одержима мыслью, что я замерзну. Она постоянно пыталась меня кутать. Когда я не соглашался, она обращалась за поддержкой к Маргрете и ко всем остальным.

— Для гренландцев это годится, — говорила она, — но не для вас.

А шарфы! Если есть что-нибудь — да, дорогие тетя и мама, уж признаюсь, — если есть вещь, которую я ненавижу, так это кашне и прочее, что завязывают на моей длинной шее. А Саламина обожала шарфы. Утром в день отправления она явилась с шарфом.

— Ну-ка, надень вот это, обязательно.

— Нет, — сказал я. Тогда она накинула его на меня, как лассо. — Спасибо, — сказал я и снял его. Но все-таки впервые в Гренландии я схватил простуду и основательную.

30 марта. Ночью выпал снег на целый фут. День облачный. Девять часов утра: сани уложены, собаки нетерпеливо ждут отправления.

— До свиданья, Маргрета, Саламина! Мы вернемся в мае.

Отцепив угол саней от удерживавшего их столбика, мы понеслись вниз с холма в вихре снега. Вцепившись в стойки, я зарылся пятками в снег, тормозя сани. И тут, на склоне холма, Саламина оказалась за моей спиной и замотала мне шею шарфом.

Наша партия состояла из двух саней. На одних Давид и я с основательным грузом: корм для собак, продовольствие, фотоаппараты и киноаппараты, спальные мешки, палатки и одежда — в упряжке

четырнадцать собак; на других Мартин и каяк — девять собак. Я надеялся прикупить собак и еще одни сани в Сатуте у Иохана Ланге, который обкорнал меня в пору моей невинности и теперь, когда я уже потерял ее, может быть, заключит со мной честную сделку. Мне нужны были еще собаки; я начал с того, что стал терять их. Мы не проехали и пяти миль, как одна собака, купленная накануне, доказала свою непригодность. Отпрягли ее, повернули носом к дому и кнутом убедили, что у нее достаточно оснований туда отправиться. Вскоре великолепная собака, которую я купил у Павиа, захромала, ее покусали любящие товарищи по упряжке. Работать она уже не могла, лишь с трудом ухитрялась не отставать.

Днем, в четыре часа, мы встретили двух путешественников, ехавших из Увкусигсата. Они сообщили нам хорошие новости: партия, доставившая их туда, стояла лагерем со своей лодкой на берегу Кангердлуарсука и пробудет там всю ночь. Если мы нажмем, то застанем их и сможем обойтись без путешествия на каяке в Увкусигсат. Услышав это, мы решили нажать. Итак, как бы взамен препоясывания чресл наших, я достал примус, и все напились кофе. В этот день мы почти ничего не ели, только погрызли немного сухарей во время езды.

У начала фьорда задержались на несколько минут, чтобы поговорить с людьми из Нугатсиака, расположившимися здесь лагерем. Жили они в своеобразной пещере под нависающим выступом скалы. Веселый народ! Отдали им больную собаку.

Мы пересекли участок суши и достигли гребня водораздела, как раз когда спустилась полная темнота. В этом мраке трудно было продвигаться по изрезанному трещинами леднику, по бугристой морене. Сильный холодный ветер дул нам в лицо; вскоре пошел снег. Мы добрались до фьорда и продолжали плестись по извилистому, смутно виднеющемуся берегу. Ну и холодно было, скажу я вам, — ветер и метель! Опустив головы, без конца переставляя ногу за ногу, ничего не видя, ничего не слыша, кроме шума снежной метели, мы плелись вперед. Затем остановились.

— Они тут, — сказал Давид.

На берегу лежала вытащенная из воды лодка, рядом с ней два каяка. Людей около них не было, как не было и никаких признаков, указывающих, где они. Мы привязали на цепь собак и поставили маленькую палатку. В палатке я зажег свечу и посмотрел на часы. Было

ровно два; мы пробыли в дороге семнадцать часов. Приготовил кофе на примусе. Как вкусно! Лег спать.

Спал ли Давид, спал ли Мартин? Нет, они не легли. Через два часа наступит рассвет, а на рассвете появляются тюлени. Они хотели побродить вокруг, пока не рассветет. Я проснулся в пять, когда охотники вернулись. Не повезло, тюленей не было. Попили кофе. В сером предрассветном освещении обнаружили жилище тех, кого искали: маленькое углубление в склоне холма, окруженное снегом, покрытое сверху куском парусины и ползучими растениями. Уютная берлога, такая уютная, что, несмотря на наш шум, обитатели ее продолжали спокойно спать еще несколько часов. Затем выползли, щурясь от дневного света, четыре человека. В полдень Мартин отправился в далекий путь, домой. Был ли когда-либо в моей жизни случай, чтобы кто-нибудь отнесся ко мне с таким же дружелюбием, как Мартин? Что-то не припомню.

Прояснилось, ветер переменился, но с каждым часом все усиливался. Наша палатка стояла на суше как раз у кромки льда фьорда. В этот день льдину длиной в милю унесло в море. Хорошо, что у нас имелась лодка, собаки сейчас бесполезны. Мы провели день ничего не делая. Я нянчился со своей ухудшившейся простудой, оставляя большую часть времени в спальном мешке. В промежутках между попеременными приступами озноба и лихорадочного жара мог занимать свое воображение мыслями о смерти от воспаления легких.

На другое утро Давид встал в пять и отправился промыслить тюленей. Опять неудачно. Но нам повезло с погодой: было ясно и тихо. Мы свернули лагерь, разобрали сани, спустили лодку с ледяного припая, нагрузили ее, бросили туда собак и отчалили на веслах: шесть человек, двенадцать собак, куча вещей и снаряжения и два каяка на буксире. К вечеру небо затянуло; похолодало, надвигалась буря. Подняли парус, чтобы воспользоваться ветром. Накренившись под шквалом, мы плыли через битый лед и пришли на стоянку как раз вовремя. Ух, и дуло же в эту ночь!

На следующий день было тепло, однако дул крепкий ветер. Он очистил бухту ото льда, но из-за ветра мы не могли выйти из нее.

Следующее утро также было неблагоприятным для выхода в море. День выдался темный; низко нависли грозовые тучи. Но ветер стал умеренным, мы сели в лодку. Нужно было проплыть три мили, чтобы

обогнуть мыс Акулиарусак, потом еще с милю, чтобы добраться до льда. Но, приблизившись к мысу, мы увидели из-за этого прикрытия такой шторм на море, гнавший кипящие волны и облака водяной пыли, что сердца наши дрогнули. Направились к берегу. Я уже говорил о маленьком поселке, гнездящемся на этом скалистом мысе, и о том, что наступит день, когда я найду здесь приют, — этот день наступил. Жители, увидев нас, вышли нам навстречу. Мы вытащили лодку на берег и перенесли все свое имущество в дома. И уже через десять минут после высадки на берег я оказался гостем самых очаровательных людей, каких мне приходилось встречать, — старого Павиа Амоссена и его жены. Давид и все остальные устроились рядом в незанятом доме.

Павиа Амоссен и его жена были более чем очаровательны. Их привязанность друг к другу, их взаимная внимательность — все это осталось в моей памяти как трогательный пример супружеского счастья. Он был как ребенок, нуждающийся в ней, взирающий на нее как на всемогущее существо; она любовно забавлялась им, его стариковскими манерами, постоянным питьем кофе, бесконечными разговорами.

— Не понимаю я этих вещей, — сказал он мне, когда я стал показывать ему, как работает моя кинокамера. — Покажите ей, она все понимает.

Когда Павиа разделся и лег, жена поставила термос с кофе так, чтобы старик мог его достать, приготовила спички и горшок, чтобы он мог отплеиваться после приступов кашля, и только тогда легла в постель рядом с ним. Они лежали лицом друг к другу, обнявшись; так они спали.

Старый Павиа уже умер; удивительно, что жена его продолжает жить.

Ветер в этот день дул с невероятной силой. Время от времени мы отваживались выйти из дому, чтобы посмотреть, что делается. Фьорд бушевал, и ветер, срезая гребни волн, дробил их в брызги, насыщая воздух соленой водяной пылью. Из Итивдлиарсук-фьорда выгнало в море ледяные поля длиной в пять миль — это был тот самый лед, на который мы собирались высадиться. Когда стемнело, из-за горы показались два человека. Они пришли пешком из Увкусигсата.

Оказывается, жители поселка, увидев, какая буря поднялась вскоре после нашего отъезда, ждали, что мы вернемся. Мы не возвращались,

они забеспокоились. Поэтому Дитлиф и Карл Виллумсены пришли узнать, благополучно ли мы добрались до суши. Остаться на ночь они не захотели; в поселке они предупредили, что вернутся, если у нас все в порядке. Вот за такие вещи мы должны быть благодарны гренландцам. А чем мы за них отплачиваем? Немного табаку, сигара или две, стаканчик шнапса — и еще думаем, какие мы прекрасные люди.

У дяди Карла Виллумсена, старого слабого охотника из Увкусигсата, было два сына — Расмус и... эх, забыл имя. Благополучно пройдя через опасности детства, юноши стали его опорой на старости лет. Это были хорошие парни. И вот в 1930 году прибыла большая экспедиция Вегенера для исследования материкового ледника. Экспедиция расположилась у начала фьорда в нескольких милях от Увкусигсата.

Весь мир читал о трагической гибели главы экспедиции Альфреда Вегенера. Устроив зимовку в центре Ледникового щита, в двухстах пятидесяти милях от моря, Вегенер с двумя участниками экспедиции отправился в последнюю поездку на станцию, чтобы доставить запасы двум смельчакам, оставшимся зимовать. Они добрались туда, Вегенер и его два спутника; один из них отморозил ногу. Затем Вегенер с одним спутником вышел в обратный путь к лагерю, но в лагерь они не пришли.

Тело Альфреда Вегенера нашли весной; чтобы отметить место, где оно покоилось, были поставлены скрещенные лыжи. В карманах лежали часы и крупная сумма денег, но научные дневники, которые Вегенер всегда носил с собой, исчезли. Нет сомнения, что, умирая, он доверил дневники своему товарищу. Пожалуй, Вегенер рассудил неудачно, так как не было никого, кто мог бы отметить то место, возможно недалеко от дома, где его товарищ лег и умер. Этого человека звали Расмус Виллумсен. После гибели Расмуса у старика Виллумсена остался один сын. В этом же тридцать первом году весной сын утонул в море. [\[33\]](#)

Буря бушевала два дня. На третий, в тихую, солнечную, морозную погоду, мы отплыли. Вместе с нами на неуклюжей старой лодке с экипажем, состоявшим из жены и внуков, отбыл Павиа, отправившийся в гости в Сатут. Затем он пересел на крохотные санки, запряженные пятью собаками. Через каждые несколько миль Павиа останавливал собак и, повернувшись ко мне, говорил:

— Как насчет того, чтобы попить кофейку?

И доставал термос. Их у него, казалось, было бесчисленное множество.

Мы сделали одну двадцатиминутную остановку, пока Давид подкрадывался к тюленю, которого так и не убил; наблюдая за охотой, мы пили кофе. Близ Сатута попали на битый лед. Единственным происшествием было то, что я промочил одну ногу. Мы выбрались на маленький островок и не могли ехать дальше. Остров — часть суши, окруженная со всех сторон водой; таким был в этот день Сатут. Но, к счастью, нас увидели; жители приехали за нами и перевезли на ту сторону.

У Иохана Ланге, жившего в Сатуте, в пятнадцати милях от Уманака, была возможность знать многие вещи, имевшие в тот момент значение. Во-первых, сообщил он мне, моя моторная лодка уже починена, спущена на воду и ровно неделю назад побывала в Сатуте. Лед? Ну, лед-то плох; сейчас из Сатута никуда нельзя выехать.

— Но какое это имеет значение? — сказал он, — вы наш гость. Располагайтесь как дома и живите.

Мы прибыли в три. В пять Давид, взяв у кого-то на время каяк, выехал в Уманак. До Уманака самое большее четыре часа пути. Моя моторная лодка будет утром в Сатуте.

Вечер был замечательный: ни одного облачка на небе, ни единого дуновения ветерка, которое могло бы поднять рябь на поверхности воды. Спокойная вода, яркий солнечный свет. Казалось, вечер повесенному теплый, но это только казалось — было очень холодно. Когда стало темно, я реально ощутил это. Мириады сверкающих звезд *казались* холодными.

— Заходите в дом, — сказал Ланге, — Давид уже там. Холодно, десять часов. Заходите.

Он налил нам шнапса.

— За здоровье Давида!

В сенях шум, открываются и закрываются двери, шаркают чьи-то ноги, слышны мужские голоса. Иохан, прислушавшись, вскакивает, широко распахивает дверь: в дверях стоит Давид. Несколько человек поддерживают его, кажется, что он вот-вот упадет. Давид смотрит на меня и улыбается, в точности так, вспоминаю я, как он улыбался в тот

октябрьский день, когда его спасли от смерти на море. На этот раз он сам спасся. Вот что произошло.

От Сатута Давид полтора часа плыл благополучно, но потом гладкая, как стекло, поверхность воды в фьорде начала замерзать. Для человека на каяке — это серьезная угроза; Давид не пренебрег ею. Он повернул и понесся как можно быстрее в Сатут. Это были настоящие гонки со смертью. Ранней весной арктическое море на точке замерзания; чтобы оно замерзло, почти не нужен холодный воздух. Спокойное, оно быстро превращается в лед. В этот день море было спокойно; закатилось солнце, сразу похолодало. И почти мгновенно, когда движение воздуха уже не мешало этому, обширное водное пространство стало замерзать. Образовавшийся лед утолщался с каждой минутой.

Давиду, работавшему в обледенелых варежках покрытым ледяной коркой веслом, приходилось не только пробивать себе дорогу в неподатливой стихии, но и тащить непрерывно возрастающий груз льда, которым обрастал каяк. Это было состязание со временем, и расстояние было против человека. Но Давид победил.

Давид не принадлежал к числу сильных гренландцев. Легкого сложения, узкоплечий, он был вынослив и очень ловок, хотя большой силой не обладал. Мог бы более сильный человек плыть быстрее? Думаю, ненамного. На следующий день я пошел осмотреть каяк. Уровень воды был виден по потертости в полдюйма шириной и глубиной в половину толщины шкуры. У лука смерти не одна тетива.

В нашем рассказе о поездке по Гренландии для встречи парохода не будем терять из виду число прошедших дней. Как служащий из пригорода, спешащий попасть вовремя на утренний поезд, поминутно вытаскивает часы, чтобы подсчитать, сколько у него осталось минут и секунд, так точно и я каждый вечер доставал свой календарь и считал дни. В Сатут мы попали на шестой день. Шесть дней! А при хорошей езде — один день, если бы был хороший лед. Мы только начали путешествовать, а уже отстаем на несколько дней.

Лучший будильник — беспокойные мысли: я был на ногах и вышел из дому на рассвете.

— С добрым утром, Давид. Ты что же, всю ночь провел на улице?

— Плохой лед, — сказал Давид, — идемте посмотрим.

Взобравшись на холм, мы стали смотреть в сторону Уманака. Фьорд, казавшийся вчера днем летним морем, покрывшийся вечером ледяной оболочкой, теперь был на много миль забит плавучими льдами, которые отлив вынес из фьордов. Мы оказались как бы высаженными на необитаемом острове узниками, томящимися в тюрьме, прямо в центре медленно движущегося поля битого блинчатого льда. Никаких шансов, сказал бы пессимист, выбраться отсюда до июня. Дело обстояло действительно скверно, но не безнадежно; иначе мы не стали бы помногу раз на день взбираться на холм, чтобы посмотреть и поразмыслить. Так прошел седьмой день. К вечеру у меня появился план: выехать на лодке и проложить себе дорогу через лед, на ту сторону — в Уманак. Если паковый лед сольется в сплошной, то Давид выедет вслед за нами на собаках. А если лед разойдется, то я с шиком вернусь на моторной лодке и заберу Давида.

Казалось, небо улыбнулось нам — так ясно и красиво было в день нашего отъезда. Я в последний раз осмотрел с вершины холма ледяное поле, попрощался с хозяином и, подставив плечо, вместе с пятью дюжими гренландцами стал толкать лодку. Мы двинулись по льду. Но ровно через пять часов были снова в Сатуте: мы смогли отойти от него только на четыре мили.

Что случилось? Ничего и все самое страшное. Все дело было в том, что приходилось толкать тяжелую лодку по льду. Не по гладкому льду, нет, далеко не по гладкому, а по торосам: повсюду были маленькие гребни от сжатия. Наконец мы добрались до воды — вернее, до тонкого льда. Ходить по нему нельзя, и лодка с треском проламывает его. И грести нельзя, пока не разобьешь этот лед впереди и вокруг лодки. С радостью выбираешься снова на крепкий лед. Но нужно еще втащить лодку. Это тяжелая работа. Затем начинаешь пробиваться вперед по неровному льду. Радуешься, когда доходишь до места, где можно опять спустить лодку. Да, оснований радоваться много, и они часто повторяются, но в промежутках приходится очень сильно огорчаться. Ровно в двух милях от Сатуа находится островок. Мы вышли на его берег, чтобы разведать обстановку с пригорка. То, что мы увидели, и то, что сделали, затратив два с половиной часа, заставило нас принять решение. При таком ветре и такой погоде не следует проводить ночи на льду, если есть возможность избежать этого. Мы отправились домой.

Так кончился восьмой день, и с ним ушла надежда.

XLVII

Конец пути

Девятый день; тихо, хорошо; всюду образуется лед.

— Не волнуйтесь, — сказал Иохан, — вы отсюда не выедете еще много дней.

Десятый день; тихо, холодно, лед за ночь немного поломался, но море продолжает замерзать.

— Бесполезно, — говорит наш добрый хозяин. — Заходите в дом, усаживайтесь.

Но я не пошел в дом, а поднялся на холм.

Жил в Сатуте старый участник многих экспедиций, по имени Карл Маттисен. Он встретил меня, когда я бродил кругом, и пригласил к себе в дом.

— Если вы хотите выбраться отсюда и отправиться в Икерасак, — сказал он мне за кофе, — то, может быть, вам удастся выехать завтра.

Хочу ли я! Икерасак лежал прямо на нашем пути. Нам говорили, что мы *не можем* ехать этим путем.

— К этому фьорду есть проход по суше, — продолжал Карл. — Если ночью будет холодно, то вы можете утром отправляться.

— Да, — сказал Иохан, когда я сообщил ему, что мы хотим ехать, — если вы хотите отправиться *этим* путем...

Как будто нам не все равно, каким путем двигаться!

Всю ночь было морозно и тихо. Утром резко похолодало и подул свежий встречный ветер. Лед был тонок, но насколько, я мог только догадываться. Давид с проводником осторожно шли впереди пешком. Я следовал за ними на санях, запряженных всего лишь двумя собаками, десять бежали налегке. Собаки проводника шли за нами гуськом. Две мои собаки шли в упряжке, десять других — позади, всего двенадцать. Купить собак в Сатуте не удалось.

По обширной поверхности недавно ставшего льда рассыпалось много людей и собак: фьорд замерз, и люди вышли на работу. Мы были не в числе первых. Час спустя прошли мимо рыбаков, которые, забрасывая свои лески в лунки во льду, время от времени вытаскивали

гренландских палтусов. Погода была холодная, все рыбаки поставили свои сани стоймя, чтобы закрыться от пронизывающего ветра.

Итивдлиарсук-фьорд. «Итивдлиарсук» — означает перевал, переход от фьорда к фьорду. Если бы я знал эскимосский язык или если бы Давид быстрее соображал, то мы бы направились туда прямо из Увкусигсата. Фьорд на протяжении всего нашего пути был покрыт старым льдом. Очень неровный лед. В особенности трудно пришлось на протяжении последней полумили, где попадались раздавленные льдины, поставленные стоймя и нагроможденные в кучи неудавшимся отделением айсберга от близлежащего ледника. На этом последнем участке пути перед выходом на сушу дорога была тяжелой. Одна собака повредила ногу.

Переход через сам перевал оказался пустяковым. Легкий подъем, красивый вид, когда мы проходили через озеро, один-два коротких крутых склона, и мы снова на маленьком поле морского льда. До Икерасака оставалось еще ровно двадцать две мили. Пейзажи в этот день были замечательные, не хуже, чем в любом другом месте Гренландии. Любуясь ими так, как мы любовались в тот день, — удобно лежа на оленьих шкурах, расстеленных на санях, которые охотно без понукания тащили наши собаки, поглядывая вверх на бегущую мимо панораму огромных мысов и отвесных горных обрывов, — хотелось, чтобы часы езды превратились в дни. Слишком скоро, в четыре, мы прибыли в Икерасак.

Приятно в этой повести, в которой есть «злодей» Троллеман — датчанин, рассказать о знакомстве и с другим датчанином, тоже торговцем, но таким хорошим человеком, с каким я не прочь встретиться где угодно. Может быть, он ничуть не лучше, чем многие другие начальники отдаленных торговых пунктов на побережье Гренландии. Большинство из них это труженики. Томпсон, начальник торгового пункта в Икерасаке, вялил гренландских палтусов. Они были так вкусны, что равных им не сыщешь во всей Гренландии. Путешественника трогает гостеприимство, с которым его встречают повсюду. Это особенность дальних мест. Гостеприимство необходимо нам всем, но оно больше всего нужно там, где люди живут далеко друг от друга. В пустынных местах гостеприимство находит благодатную почву. У Томпсона оно цвело пышным цветом. Или собиралось цвести.

Едва успев поздороваться с нами, он нечаянно, так сказать, протянул мне мою шляпу.

— «Диско» вышел в рейс, — сказал Томпсон за шнапсом. — Да, кстати, тут по радио передали телеграмму для вас два дня тому назад. На борту «Диско» едет ваш друг.

Мы покинули Икерасак на следующий день в семь.

Приехали на двенадцати собаках, а уехали на десяти. Собака, повредившая накануне ногу, сильно захромала. Другая, не хромавшая, сбежала. Мы не хотели задерживаться, чтобы поймать ее, предстояло в этот день далекое путешествие: пересечь фьорд, подняться вверх по нему, потом по суше в Какертак. Мы взяли с собой проводника, потому что в снежном бездорожье в горах Нугсуак можно легко заблудиться.

Переход по суше начался с длинного крутого подъема по поверхности замерзшего потока. Часть его шла по голому льду. Люди и собаки с трудом держались на ногах. Время от времени мы проваливались сквозь лед, рискуя упасть в бурный поток. На суше лежал глубокий снег; по глубокому снегу мы поднимались в гору. Шли мы пешком и к двум часам достигли высшей точки перевала. Тут наверху остановились отдохнуть и поесть. С высоты около трех тысяч футов смотрели мы на покрытые снегом склоны, тянувшиеся почти до выхода из пролива около Какертака.

Спуск оказался не таким легким, как мы думали. Этот склон, обращенный к югу, находился весь день на солнце, снег здесь был мокрый и тяжелый. К заходу солнца темные тучи закрыли все небо; назревала буря; начал падать снег. Уже темнело, когда мы достигли фьорда. Но нас увидели или услышали задолго до подхода к поселку. Еще не показались его огни, как нам навстречу по санному пути выбежала целая толпа. Ровно в девять тридцать мы подъехали к дому начальника торгового пункта Нильса Дорфа. Здесь наконец, хорошо накормленный, в тепле, уснув крепким сном в спальном мешке, я закончил двенадцатый день поездки.

То, что мы узнали в Какертаке, лишило нас всех надежд. Мы рассчитывали проехать вдоль берега залива Диско, но льда не было. Ближайшее к Хольстейнборгу место, до которого мы могли добраться на санях, — Годхавн; там можно было рассчитывать достать моторную лодку, чтобы двигаться дальше на юг. В маршруте до Годхавна не предвиделось никаких трудностей, если не считать переправы по воде

через Вайгат. Санный путь сушей почти на всем своем протяжении шел по низменной береговой полосе. Единственная проблема — лодка для переправы через Вайгат, но в Какертаке, который лежал на пути, нашлось судно, пригодное именно для этой цели. Я нанял его. Мне пришлось вступить в переговоры и деловые обсуждения, которые удалось закончить, к удовольствию пиратского экипажа судна, только через несколько дней. Затем с его помощью мы добрались до залива Диско. Но там, в Какертаке, на следующий день разбушевалась буря. Это сильно смягчило раздражение, которое вызывала у меня задержка из-за торговли с пиратами.

Они очень быстро отвергли мое первое предложение платить по установленному для их услуг тарифу, которым меня снабдил начальник торгового пункта. Тариф исходил из затраты времени и, следовательно, обеспечивая уплату за задержки, мог бы, казалось, считаться приемлемым для любого времени года. Но этого, сказали они, недостаточно. Сколько я *согласен* заплатить? Я повысил цену и добавил премию. Они приняли мое предложение. Но (я установил, сколько буду платить каждому человеку) они хотели, чтобы ехало восемь человек. Я был поражен: столько народу! Ну что ж, я согласился. Назначили отправление на завтра, если прояснится. Выразив свое удовлетворение, они ушли. Вечером были танцы; очень удачный вечер — в Какертаке много славных девушек, и под танцы отведена старая церковь. Но в самый разгар веселья за мной прислали. Меня требуют в дом начальника торгового пункта. Около дома стояла группа людей, весь мой экипаж.

— Что случилось? — спросил я.

— Они требуют еще денег, — сказал Нильс Дорф.

Нильс — гренландец, честный, дружелюбный, щедрый человек. Он учился арифметике в школе и приобрел приятные манеры в Дании. Характер у него мягкий, бесхребетный.

— Что мне делать? — спросил я его.

— Что ж, если они требуют еще, — посоветовал мой адвокат, — мне кажется, им следует заплатить.

На этот раз они назвали общую сумму за поездку.

— Хорошо, — сказал я, — эту сумму я плачу. Погода начала проясняться, завтра в шесть отправляемся.

В шесть часов — утро было тихое и ясное, — когда мы с Давидом укладывали вещи на сани и запрягали наших пятнадцать собак (я купил пять собак у Нильса), ко мне подошел старший экипажа.

— Пятеро, — сказал он, — не хотят ехать.

— Господи! Так пусть не едут. Нанимайте других, все равно кого, давайте выезжать!

Он нашел двух, он знает еще кого-то, кто живет в нескольких милях дальше по берегу и согласится ехать. Мы выезжаем на трех переполненных санях.

Переехав на материк, на полуостров Нугсуак, — ибо Какертак, как показывает само название, остров, — мы едем по суше четыре мили вдоль берега. Тут, высоко на берегу, засыпанная снегом, покоится наша лодка. Принимаемся за работу и каким-то образом ее откапываем. Море у берега в этом месте забито льдинами; лодку спустить на воду негде. Пристраиваем вокруг лодки лямки, запрягаем пятнадцать собак и трогаемся в гору, потом, пройдя полмили, движемся вниз. С высокого ледяного уступа — сейчас отлив — спускаем лодку, сталкиваем ее на лед и нагружаем. Собаки бодро бегут рядом с нами, мы толкаем лодку по ледяному припаю и вот она на воде. Давай собак в лодку, влезайте все! Выбираемся, отталкиваясь шестами, из плавучих льдин на чистую воду. Дует легкий попутный ветер с берега, мы поднимаем парус. Пристаем в нескольких милях дальше по берегу, чтобы взять на борт человека; захватив его, поворачиваем на Диско.

За исключением старшего, рулевого, похожего на мрачного Данте с дурным глазом, экипаж был веселый. Компания с удовольствием бездельничала весь день, позволяя ветру делать за нее всю работу. Она разговаривала, смеялась, курила мои сигареты. Она ела мою провизию, а покончив с ней, каждый вытащил свою и ел ее, ни с кем не делись.

Им нравились мои вещи и хотелось получить все, что мне принадлежало: мою трубку, часы, примус. Рулевой ничего не просил, ни над чем не смеялся, ничему не улыбался, ни с кем не разговаривал, мрачно смотрел на всех. Его бледно-зеленые глаза зловеще светились на темном лице.

Мы предполагали высадиться в удобном месте на острове Диско, проехать на санях вдоль ровного берега острова до поселка Скансен и там переночевать. Но, когда мы приблизились к суше, компания, по-видимому живо заинтересованная в нашем благополучии, стала

сокрушаться, что мы делаем попытку высадиться на берег. Снег глубокий, говорили компаньоны, местами непроходимые сугробы, никак не добраться до Скансена. Лучше они доставят нас туда на лодке. И мы как дураки пошли на это; Давида — я видел, что он колеблется, — уговорили. Стали торговаться об условиях; договорились. Изменив курс, по чистому летнему морю пошли на веслах в Скансен.

Однако было не лето, и мы изменили свой план не ради удовольствия, не ради того, чтобы ехать на барке, как фараон по Нилу, и наслаждаться отдыхом. Когда солнце опустилось низко, мы стали страдать от холода, а веселый экипаж время от времени давал нам возможность погреться за веслами. Давид, на котором, конечно, почти ничего не было из одежды, улегся наконец вместе с собаками и накрылся ими.

Холодно было в конце дня, а ночью еще хуже. Бесконечное неподвижное сидение с ногами в ледяной каше, тогда как нам нужна была грелка. Нет, мы плыли морем не ради забавы, а рассчитывали ускорить путешествие, если даже и не ускорить, то хоть наверняка попасть в Скансен.

Наконец мы добрались туда, но время было уже далеко за полночь. Пристали к низкому крутому, покрытому гравием берегу. Высадившись, подняли сани наверх, толкая их по расселине (часть экипажа помогала нам), и достигли ровного места. Кругом были рассыпаны темные массы домов, а немного дальше виднелось большое строение — дом начальника торгового пункта. Туда-то мне и нужно было.

Приблизившись к темному, безмолвному, неприветливому дому, я заколебался.

— Зовите его, — настаивал мой экипаж, распахивая двери, — зовите его, входите.

И мы ввалились в дом все сразу. Я громко позвал хозяина. Мне ответил мужской голос. Открылась внутренняя дверь, и показалась высокая, похожая на привидение фигура очень доброго на вид человека в нижнем белье. Чувствовалось, что он добр, об этом же говорил его спокойный низкий голос. Он зажег свечу и повторил свое приглашение. Затем, натянув носки и ботинки — все время разговаривая при этом со мной самым веселым голосом, — отправился присмотреть за размещением моих вещей, а его жена, возившаяся около кухонной плиты, несмотря на мои вежливые и неискренние возражения, стала

накрывать стол к ужину. Эта гренландская пара, Мозес и его жена, — лучшие и добрейшие люди во всей Гренландии. Чтобы убедиться в этом, мне не потребовалось много времени. У нее была хорошая голова, а у него хватало ума понимать это. Она была очень культурная женщина. Об этом говорили хороший вкус, с каким был убран дом, необычайная чистота в нем, превосходное качество хлеба, ее интересы, о которых я узнал из разговора с ней, ее манера принимать гостей.

Когда через час с лишним мне захотелось приклонить свою голову, Мозес проводил меня в удобную спальню наверху (там уже был разведен огонь) и показал такую мягкую постель, о какой усталый человек может только мечтать.

Мой экипаж явился к завтраку. Они требовали денег. Часть платы им полагалось получить, когда они вернутся в Какертак: так было договорено с ними и с начальником торгового пункта Нильсом. Нет, они хотели, чтобы я расплатился с ними полностью сейчас. Я заплатил. Мог ли я знать, что они получают второй раз с Нильса? Они это сделали. И едва мы с Давидом вновь тронулись в путь, как убедились, что их рассказы о снежных заносах — чистая ложь. Берегись Какертака, о путешественник!

Расплатившись с пиратами и купив сани, мы занялись ловлей собак: пять собак, приобретенных в Какертаке, сбежали.

К счастью, недавно выпал снег, и мы скоро отыскивали их следы на близлежащих холмах. Следы вели то на гору, то вниз, то по кругу, и наконец мы увидели всех пятерых беглянок вблизи дома. Запрягли собак и выехали в полдень.

Проводником у нас был человек, о котором я уже рассказывал, — тот самый, который научил жену вести себя как следует, исколотив ее палкой. Это превосходный проводник и лучший каюр в поселке самых лучших, как говорят, каюров в Гренландии. Жители Скансена — углекопы. В летнее время на холмах в глубине острова они открытым способом добывают уголь, зимой переправляют его и перевозят дальше в Годхавн на продажу. Санний путь вверх и вниз по склонам холмов острова Диско — тяжелый путь.

Дорога в этот день была ровная и твердая. Мы ехали гуськом: впереди проводник, потом я, сзади Давид. Ему пришлось немного повозиться со сборной упряжкой собак.

День прекрасный, я лежал в санях на солнце и дремал. Проснулся я как раз вовремя, чтобы успеть заметить, как проводник, державшийся за стойки саней, исчезает на спуске с очень крутого сугроба, но слишком поздно, чтобы успеть вскочить: я тоже полетел вниз вверх ногами. Холодный снег окончательно разбудил меня.

На пути попался крутой спуск. В таких местах собак отводят назад, пропускают постромки под сани. Вы беретесь за стойки, зарываетесь пятками в снег, задираете сани кверху так, что почти садитесь на снег, и спускаетесь с горы. Быстрее, чем могут бежать собаки, вы спускаться не будете.

Дорога в Годхавн на протяжении двух третей пути идет берегом. Затем там, где на пути возвышается горный отрог, заканчивающийся крутыми скалистыми обрывами, она поворачивает в глубь острова и дальше проходит через высокий перевал. Сначала длинный и утомительный подъем, потом длинный и приятный спуск к Годхавну.

В окрестностях Годхавна дорога идет по равнине. Здесь задней стороной к холмам и фасадом к морю, расстилающемуся за равниной, одиноко стоит деревянное здание — самый большой жилой дом в Гренландии. Это Датская полярная станция, построенная для обслуживания всех изучающих Гренландию. Исследователи могут читать в библиотеке станции, проводить опыты в ее лаборатории, спать на кроватях станции, питаться в ее гостеприимной столовой, а для своего общего умственного и духовного развития получать советы от директора станции доктора Порсильда. Я пришел на станцию в поисках пищи и крова. Я уехал отсюда спустя две недели, обогащенный всем тем, что станция могла дать. Хотелось бы, чтобы в мире было побольше таких пристанищ.

Мы выехали на равнину в сумерках и быстро направились к станции. Около нее прогуливались два датчанина; они уставились на нас. Уверенный, что их восхищенные взгляды направлены на меня, я откинулся назад с тем умышленно небрежным видом, который служит признаком умения хорошо править. На следующий день я познакомился с этими датчанами — с управляющим, господином Шульцем, и его женой.

— Так это были вы! — воскликнули они вместе и рассмеялись. — А мы на вас и не смотрели. Мы глядели на собак. Эти собаки, решили мы, не здешние.

XLVIII

Столица

Столица Годхавн, 14 апреля; шестнадцать дней как мы выехали из дому. В нашем распоряжении неделя; езды же до Хольстейнборга на лодке три дня.

В Годхавне было четыре моторные лодки: губернатора Гренландии, полярной станции, «Краббе», принадлежавшая раньше экспедиции Вегенера, и «Авангнамиок». Моторная лодка губернатора, как и следует, предназначена только для официальных высоких особ; лодку полярной станции в это время нельзя было спустить на воду; «Краббе» и «Авангнамиок», по-видимому, можно было и арендовать и спустить на воду.

Гренландия — государственная монополия, закрытая для случайных туристов и иностранных предпринимателей. Путешественник попадает здесь в странное положение. Теоретически у него должно быть решительно все свое: крыша над головой, то есть палатка; лодка для передвижения и собственные заправочные станции для ее нужд; пища. Теоретически человек со средствами может здесь умереть с голоду среди изобилия. Он не может ничего *требовать*, потому что правительство, которому принадлежат дома, лодки и склады, не правительство, выбранное народом, а назначенное править народом, к которому белолицый путешественник не имеет никакого отношения. И хотя, вероятно, ни один начальник торгового пункта, кроме Троллемана, никогда не отказывал постороннему в продаже товаров, права на это посторонние не имеют.

В Уманаке надо просить, чтобы вам дали разрешение на закупки.

— Могу ли я, сэр, отнять у вас немного вашего драгоценного времени и попросить быть настолько любезным, чтобы отпереть ваш склад и разрешить мне, если вы будете так добры, купить фунт гвоздей.

Если случайно вам все время не отвечают на письменные просьбы о каком-нибудь нужном товаре, то нельзя требовать его слишком настойчиво. Это свойственно любому правительственному учреждению, сам принцип организации виноват в этом. А в таких

монополиях, как Гренландия, положение спасает только почти неизменная вежливость чиновников.

Так получилось, что я, не имея никакого права требовать лодку, явился на прием к губернатору и попросил у него ее в виде одолжения. Он принял меня с чрезвычайной любезностью. За рюмкой портвейна, выразив свои надежды и рискнув изложить просьбу, я сразу нашел в нем друга, который, занимая важный пост, видит много трудностей, знает о препятствиях, задержках и возможных случайностях, о чем я в своей опрометчивости не подумал. Ах, если бы мы в молодости получали такие советы! И к ним еще немножко стрихнину, мышьяку или веревку, чтобы при их помощи последовать такому совету. Но он намерен обдумать этот вопрос, а пока что распорядится, чтобы осмотрели лодки и доложили ему об их состоянии. Как прекрасна жизнь!

Я ушел от него окрыленный. Оставалось пять дней, нет — семь! Судно, как я уже знал, опаздывало на два дня. Проехать такое расстояние и не попасть вовремя! Нужно быть на пристани в Хольстейнборге, как обещал! Такие мелочи имеют громадное значение; мне казалось, что я живу только для того, чтобы выполнить это обещание. Я побежал на радиостанцию и отправил радиограмму: «Буду встречать».

На следующий день явился к губернатору, конечно, слишком рано.

— Еще не выяснено, — сказал он, улыбаясь. — Мы не можем делать все так поспешно. Я займусь этим во второй половине дня.

— Ну, конечно! — воскликнул я. — Извините меня.

Видите ли, когда бродишь по свету самостоятельно и делаешь в общем все для себя сам, то как-то перестаешь сознавать, что не всякий задуманный план можно выполнить за одну минуту. Я чувствовал себя немного пристыженным.

На следующий день явился в полдень: губернатор принял меня очаровательно. У него были для меня приятные новости: он уже послал распоряжение об осмотре лодок.

— Увидим, что можно сделать, — сказал он.

Вот хорошо, подумал я, уходя, потому что тем временем успел узнать от гренландцев, что «Авангнамиок» в плохом состоянии, но «Краббе», когда ее вытаскивали на берег на зиму, была в абсолютном порядке и, надо полагать, и сейчас в хорошем состоянии. Итак по

глупости я в тот же вечер пришел к губернатору. Он, я думаю, был немного удивлен, но при своей вежливости скрыл это очень хорошо.

— Доклад, — сказал он, — уже получен. Мне делают перевод. Он будет готов попозже.

— Заходите, — сказал губернатор ласково, когда я явился на следующий день, — заходите, садитесь. Мы сейчас это обсудим.

Ох, я чувял, что дело плохо: губернатор был так ласков и как будто немного грустен. Он налил мне и себе портвейна.

— Садитесь, — пригласил он. Затем тихонько, нерешительно откашлялся и заговорил.

— Я прочел доклад, мистер Кент, и должен, к сожалению, сказать, — он кашлянул, — что выводы его неблагоприятны. Видите ли, мистер Кент, мотор «Краббе» требует ремонта. Боюсь, что он в очень плохом состоянии. Да, так вот неудачно получается.

— Что же, — воскликнул я, вскочив как дурак с места, — почему бы не взяться за приведение его в порядок. Давайте сразу поставим на это людей.

— Нет, нет, — сказал губернатор, слегка шокированный, — мы этого не можем сделать. Видите ли, человек, который чинит моторы, кузнец, уехал на шхуне за моржами. Нет, мистер Кент, больше эту работу делать некому.

Я ушел растерянный.

Бродя в этот день по поселку, я узнал, что есть два человека, которые смогли бы починить мотор. Надежды мои воскресли; на следующее утро я пришел к губернатору с этой новостью.

— Нет, мистер Кент, — сказал он, — я этих людей знаю, они не подойдут.

Все бесполезно! Прошло девятнадцатое число. Я радировал: «В отчаянии, нет лодки».

Вечером возникла замечательная идея: Христоферсен, датчанин, служащий полярной станции, опытный механик, моторист; всем остальным далеко до него.

— Конечно, — сказал доктор Порсильд, — он может завтра же приняться за дело.

Еще есть время! Я примчался как раз к началу рабочего дня в управлении, ворвался, выложил свою новость.

— Гм, он подойдет, — ответил губернатор.

— Так ему можно приступить? Немедленно? — воскликнул я.

— Нет, мистер Кент, у нас так не делается. Нет, постойте. Нет, я хотел бы сначала получить письмо, письмо от доктора Порсильда, в котором он изложил бы свое любезное предложение услуг Христоферсена. Нам, вы понимаете, это нужно для дела.

Ну, *конечно*, им нужно! Видимо, я никогда не научусь поступать как надо — и отправился бегом обратно.

— Губернатор, — сказал я, — приветствует ваше любезное предложение, доктор Порсильд, и он хотел бы, если вы будете так добры, иметь его в письменном виде. Чтобы подшить к делу, вы понимаете. Они обязательно должны...

— Чепуха! — выпалил доктор сердито, берясь за перо.

Он настроил письмо. Держа его в руке, чтобы оно просохло на ветру, я побежал к губернатору.

— Вот, сэр, — сказал я, задыхаясь, и передал ему бумагу.

Добрый губернатор дважды прочел письмо.

— Садитесь, мистер Кент, я должен это обдумать.

Он прочел письмо, сложил его, положил обратно в конверт и отложил аккуратно в сторону, на определенное местечко.

— Да, это меня удовлетворяет. Теперь относительно платы механику.

— А это все улажено, — сказал я поспешно, — я должен уплатить доктору Порсильду за рабочее время Христоферсена.

Губернатор улыбнулся.

— Нет, мистер Кент, — возразил он, — все это нужно делать нормальным путем. Наши дела должны быть в порядке. Нет, доктор Порсильд должен представить администрации счет за рабочее время механика, а мы оплатим его доктору Порсильду. Тогда мы сможем включить эту сумму в ваш счет за лодку. Счет будет переслан в Копенгаген в управление и там зарегистрирован. А вы его оплатите, когда прибудете туда после отъезда из Гренландии.

— Согласен, сэр. И теперь, сэр, мы можем приступить к работе?

— Да нет же, мистер Кент.

Видимо, я никогда не научусь тому, как все нужно делать.

— Нет, я скажу, чтобы приготовили распоряжение, и отошлю его с курьером доктору Порсильду. По получении его доктор Порсильд может дать указание своему механику, чтобы он явился.

Окрыленный успехом, я взбежал на гору и радировал наконец радостную новость: «Все улажено. Приеду». Затем, дав губернатору время доставить распоряжение, вернулся на полярную станцию. Но я слишком поторопился, распоряжение еще не прибыло. Было уже около десяти часов; до полудня оставалось два часа. Христоферсен ждал тут же разрешения начать работу. В двенадцать он ушел на обед. Курьер, подумал я, тоже ушел обедать. В час его еще не было. Христоферсен вернулся и ждал. В половине третьего или в три он ушел, сказав, что у него дома есть дела и что его можно найти дома. Четыре, пять — нет распоряжения. В шесть на дорожке появился человек, направлявшийся к дому; письмо доктору Порсильду. Доктор вскрыл его: это было распоряжение.

— Мы можем завтра начать? — спросил я.

— Нет, — сухо ответил доктор, — завтра нерабочий день.

Вечером мне пришла телеграмма: ««Диско» прибыл в Хольстейнборг».

XLIX

Восход солнца

На самом юге Северной Гренландии находится колония Хольстейнборг. Это оживленный городок. Здесь есть консервный завод, верфь, летом маленькая гавань переполнена моторными лодками рыбаков, которые ловят палтуса. Хольстейнборг — центр этого промысла. В Хольстейнборге люди работают, и это чувствуется. Капитально построенные деревянные домики жителей показывают, что прилежание вознаграждается. Капитанам этот порт очень нравится: грузчики — мужчины и женщины — разгружают здесь суда вдвое быстрее, чем в любом другом гренландском порту.

Если бы гостеприимство, оказываемое путешественнику в Гренландии, не напоминало постоянно, что есть много добродетелей, уживающихся с ленью и толстокожестью, то он жестоко осудил бы датчан. Неумение и лень: у всех гренландских датчан эти два порока бросаются вам в глаза. Но так прелестна атмосфера игрушечной деревни в этих колониях с их ярко раскрашенными административными зданиями, как в Старом Свете, крохотными домиками гренландцев, «похожими на детей» людьми в красивых костюмах, прогуливающимися повсюду и оживляющими зрелище; добрый управляющий, широкое гостеприимство — все это так трогает сердце, что беспристрастное суждение не выдерживает соблазна.

В Хольстейнборге пробуждаешься, как от толчка. Здесь вместе с последним ударом часов, бьющих семь, артели выходят на работу, из дому появляется управляющий, с острым взглядом, настороженный. Он начинает свой рабочий день, и все вынуждены также приступить к работе. Быстро шагая, управляющий поспевает всюду: все дела идут с ним в ногу. Он служит примером энергии, и если цель гренландской колониальной системы заключается в том, чтобы побудить местных жителей улучшить свое существование усердной работой, то почему Гренландия не наводнена такими людьми?

Итак, в 1932 году в Хольстейнборге управляющим был Расмуссен. [\[34\]](#) В то время как в Годхавне рассматривали, обсуждали, инспектировали, докладывали, копировали, писали письма,

распоряжения и все это подшивали в трех экземплярах к делу, он, услышав о нескольких радиограммах, сказал себе: «Ясно, что им понадобится лодка», — и спустил лодку на воду. И когда «Диско» бросил якорь, она стояла у пристани с экипажем наготове, заправленная горючим, готовая выйти в море.

Есть громадная разница между *приготовлением* к чему-нибудь и *готовностью*. Это не столько относительные стадии в процессе, сколько качественно противоположные состояния: бытие и небытие. Они несоизмеримы, как нуль и бесконечность, и никакие добавления к одному или убавления от другого ничуть не сблизят их между собой. Во всяком случае, не сблизят те характеры, которые отражаются в этих понятиях: нельзя превратить Гамлета в Дон Кихота (Гамлет, кстати, был принц Датский). Быстрый ум, как вытекает из его определения, «схватывает сразу, подвижен, *готов* к действию». В ничтожно малое время он постигает молниеносно все события, все стороны их; постигает, отбирает, взвешивает, исключает, заключает и *действует*. Не будь таких умов на свете, на океанском пароходе «Фредерик IV», отплывшем в конце марта из Нью-Йорка в Копенгаген, было бы одним пассажиром меньше. Можно было бы считать, что одного дня мало, чтобы перехватить пароход, идущий в Гренландию. Казалось бы, что времени слишком мало, море слишком бурно, на севере слишком холодно, все предприятие слишком ненадежно, — игра не стоит свеч. Лучше, пожалуй, сказать, свет не стоит жира. Жир или свет; тупицы или живые души. В Гренландию прибыла живая душа!

Ни снег, ни дождь,
Ни лед, ни жар, ни мрак ночной
Не остановят посланных тобой
От быстрого свершения для них
Начертанных путей.

Шторм ее не остановил; он только задержал ее на один день в Хольстейнборге. На следующий день погода прояснилась, пароход отошел. Шторм налетел снова; они стали на якорь в маленькой бухточке, рядом с этим опасным берегом, и простояли всю ночь. Неприкрытая, неотапливаемая нагота гренландского рыболовного судна; экипаж — три гренландца. Апрель, но погода зимняя; сыро, на

борту замерзаешь. Скверная погода на побережье, сильное волнение. Тах, тах, тах — идет моторка.

Двадцать седьмое апреля в Годхавне — самое прекрасное утро, каким только может начаться день на Севере. Солнце сияет на безоблачном небе так ярко, греет так хорошо. Чувствуешь, что весна наконец наступила и не отступит. Ветер дует как раз с такой силой, что синева моря кажется особенно красивой. Дайте нам ясность, ясные дни и четкие горизонты, чтобы мы знали, что приближается. Спустившись с вершины холма, я обнаруживаю, что работа на лодке почти закончена. Механики разобрали двигатель и уже снова собрали его; они отполировали его медные и стальные части и выкрасили все остальные алюминиевой или красной краской. Он работает. Он и раньше работал, но, может быть, сейчас работает лучше. Христоферсен написал докладную записку; эта записка вместе с распоряжениями, перепиской, счетами и так далее будет внесена в перечень архивного дела. Все будет занесено в дело, кроме того, для чего все эти зарегистрированные бумаги писались, все, кроме поездки в Хольстейнбург. Но, как бы то ни было, сегодня лодка будет у них на плаву, может быть вовремя, чтобы отвезти меня навстречу моторке. Я снова занимаю свой наблюдательный пост на холме.

Вдали на спокойной синей глади, в которую я всматриваюсь, появляется маленькое пятнышко. Смотрю на него не отрывая глаз, но оно кажется неподвижным. И все же, как ни невероятно было сначала его появление, оно стало более ясным и близким. Совсем как часовая стрелка на моих часах: она стояла на трех, а теперь стоит на четырех. Совсем как моя жизнь, когда я оглядываюсь назад: был день, когда я обнаружил, что существую; потом мне стало шесть лет, потом двенадцать и так далее. Это не *рост*, а становление. Глядя на лодку, я как будто снова быстро переживаю свою жизнь. Когда лодка появилась, я вновь родился; часы этого дня похожи на десятилетия, прожитые мною. Может быть, я не живу, пока гляжу на лодку: пусть время течет, жизнь моя остановилась. Я опередил свою жизнь и жду, чтобы она меня нагнала. Нескончаемо медленно идет моя жизнь; сидеть и ждать невыносимо. Может быть, лодка спущена, я иду посмотреть.

Половина гавани — ледяное поле. У края этого льда пришвартована шхуна из Годхавна, вернувшаяся домой с охоты на моржей; из нее выгружают головы и шкуры. Дальше от берега, от того

места, где стояла «Краббе», во льду прорубили канал до чистой воды. Из канала выходит своим ходом «Краббе». Я выбегаю на лед, кричу, машу руками, но никто не обращает на меня внимания. Они ушли встречать моторную лодку из Хольстейнборга.

Лодка, вынырнув из-за мыса, наконец подходит и влетает в гавань так быстро, что у меня дух захватывает. *Она* стоит на палубе. Спустя мгновение я рядом с ней.

ЧАСТЬ II

I

Корни

Годхавн. В библиотеке Датской полярной станции можно установить, что об открытии и заселении Гренландии написано достаточно томов. Вероятно, следует отвести один день — день отдыха — на просматривание этих томов и, помня о корнях современной Гренландии, отправиться на север.

В 985 году Эрик Рыжий, изгнанный вначале из Норвегии, затем из свободной Исландской республики, направился морем на запад от Исландии к не очень далекой, не совсем неизвестной земле, прошел вдоль ее скованных льдами берегов, обогнул южную оконечность, направился на север и там, где не было льда, пристал к берегу. Земля ему понравилась; она была похожа на его родную землю.

Эрик Рыжий отличался проницательностью, находчивостью, энергией — настоящий открыватель новых земель. Он поплавал по фьордам, отметил колышками «свою заявку» — лучшее место для фермы во всей Гренландии — и, дав стране имя, которое она носит и сейчас, вернулся в Исландию; добился там примирения и распространил весть о свободной земле на западе. Так, почти за восемь веков до провозглашения американской Декларации независимости, была учреждена первая республика в западном полушарии. Вскоре население там стало исчисляться тысячами. В республике был создан парламент, построены церкви, собор. Епископов гренландских назначал папа римский. В Гренландии зародилась литература, и мы не должны забывать, что первый век существования республики совпал с эпохой развития литературы в Исландии, с золотым веком маленького государства, который сравнивают с периодом расцвета Афин при Перикле.

Природа Гренландии напоминала исландскую. Безземельным исландским крестьянам выделили земельные наделы в Гренландии, и они, поселившись здесь, чувствовали себя как дома. В конце концов это их погубило. Они зависели от торговли с Исландией и Норвегией, где закупали такие товары первой необходимости, как зерно и лес. Поневоле они вынуждены были подчиниться норвежскому владычеству

и торговой монополии, навязанной им; когда торговля прекратилась, они погибли. В Норвегии никому до них не было дела, никто о них не вспоминал: Гренландию забыли.

В начале восемнадцатого века молодой норвежец лютеранский священник Ганс Эгеде заинтересовался сам, а в конце концов смог заинтересовать купцов и королей Дании и Норвегии проектом возвращения в лоно церкви потерянных и, вероятно, впавших в заблуждение христиан — гренландских колонистов. С Ветхим и Новым заветом в руках он отплыл в Гренландию и, как мы уже рассказывали, высадившись там в 1721 году, положил начало теперешним колониям; торговля и слово божье — подойдет для эскимосов, раз белые вымерли.

Ганс Эгеде был воинствующим проповедником, обладавшим рвением миссионера, хитростью торговца и хваткой завоевателя. Он закрепился и остался. Купцы ушли. Королевскому правительству Гренландия опостылела. Но, несмотря на неудачи, предприятие не потерпело краха... Администрация современной Гренландии — прямой наследник духа и дела апостола Ганса. Она унаследовала лютеранские добродетели восемнадцатого века.

Но не лучше ли было б предоставить эскимосов самим себе и избавить их от благ просвещения? Это чисто академический вопрос. Поскольку появление белых было неизбежно, благодари бога, Гренландия, за то, что он послал тебе Ганса Эгеде. Его последователи осторожно отняли тебя от груди питавших тебя старинных обычаев, они вскормили тебя и приобщили к современной жизни, взрастили тебя, поставили на ноги. Благодари бога за все это. Они вели тебя за руку, они и сегодня ведут тебя за руку: моли бога, чтобы они выпустили твою руку. Они исполнены столь хороших намерений и обходятся столь дорого!

Торговля с Гренландией, на которую вначале возлагались большие надежды, никогда не была устойчивой и прибыльной. «Альтруистический» характер администрации в наши дни, кажется, порожден мнением, что все равно в Гренландии не получишь высокую прибыль. Эта армия в триста датчан получает большие оклады. Невысокие торговые доходы и щедрые отчисления для нужд Гренландии из прибылей от разработок криолита^[35] большей частью поглощаются датчанами.

Западная Гренландия в административном отношении делится на две области: Северную и Южную. Для ведения миссионерской работы и торговли эти области разделяются на районы. Административный центр района называется колонией. В наиболее крупных поселках оборудованы торговые пункты, которыми управляют начальники пунктов (торговцы). Такой пункт был и в Игдлорсуите. Почти все гренландцы живут теперь оседло и зависят от состояния торговли. А в отдаленных водах, где в старину охотники преследовали зверя, тюлени плавают стадами на полной, ничем не нарушаемой свободе. Хоть тюлени-то по крайней мере выгадали от прогресса.

Если принять во внимание всем известную лень государственных служащих и косность в работе администрации, то, пожалуй, в Гренландии нет ни одного лишнего датчанина. *Все* белые, в том числе и датчане, живут хорошо. Им нужны хорошие дома и хорошая привычная пища, хорошее жалованье, так как датчане едут в Гренландию не ради здорового климата. Хорошее жалованье, хорошая пища и дома — все это они здесь получают. А платит за это Гренландия.

Когда ваше судно входит в Уманакскую гавань, вам сразу бросаются в глаза основательные, хорошие здания: это склады, лавки и жилые дома датчан. Есть несколько деревянных домов с островерхими крышами — это дома эскимосов, служащих в администрации. Много домиков из дерна, при ближайшем рассмотрении достаточно жалких на вид: в них живут охотники. За все платит гренландец-охотник. Дом доктора в Уманаке — самый большой жилой дом в поселке; восемь комнат, обширный мезонин, обнесенный решетками двор и дворовые постройки под склады. Дом выходит фасадом на незастроенный участок земли: из окон открывается вид на далекую величественную громаду Стурёна. Позади докторского дома, прижатый задней стеной к скале, с видом на крышу и пристройку, стоит маленькое полуразвалившееся одноэтажное строение. Это госпиталь для всех больных всего Уманакского района.

Но производящие центры района — далекие поселки: их охотники испытывают тяготы жизни за всех остальных. Годовой доход начальника отдаленного торгового пункта невелик. У него есть дом, топливо, служанка, он получает жалованье и премии; доход его в десять-двенадцать раз больше, чем заработок самого лучшего охотника. За дом, уголь, служанку начальника торгового пункта платят охотники.

Это они построили дом, лавку, склады. Они покрывают уманакский дефицит, дефицит столицы Северной Гренландии — Годхавна; они оплачивают расходы на моторные лодки, шхуны и пароходы, административные расходы. За это они получают право покупать в лавке вещи почти по себестоимости. За это их дети могут посещать школу, где обучают азам гренландского (эскимосского) языка, чтению и письму и рассказывают кое-что о Дании и Палестине. Какой прок от учения гренландцу-охотнику? О нем можно сказать, как о Геркулесе: «Груб, неотесан, годится только на великие дела».

Мы отряхнули снег Годхавна с наших ног и отплыли на «Краббе» в Какертак!

II

Несчастный

Мы отплыли в Какертак и не добрались туда. День был тихий, мягкий. Солнце пряталось в дымке. Во второй половине дня поднялся сильный восточный ветер, стемнело. На середине залива нас встретила большая зыбь; ветер и волнение усилились, небо угрожающе почернело. Мы повернули к Ритенбенку и бросили якорь в полной темноте при очень крепком ветре. Здесь начальником торгового пункта был Торсен — хороший человек! В прошлом году он умер. Мне приятно читать в своем дневнике, что он «встретил нас с великолепным гостеприимством, которого мы никогда не забудем. Я вспоминаю его поразительную мягкость и то, как он, несмотря на все наши возражения, заставил нас занять его комнату».

На следующий день в полдень мы продолжили наше путешествие. Какой день! Снег таял и сбегал ручьями с голых склонов холмов. Этот день — 30 апреля — был похож на июньский: жаркое солнце светило с безоблачного неба, гладкое, как стекло, море. Недалеко от Какертака нам преградил дорогу лед. Мы проплыли с милю, оставалось еще семь, подошли к ледовому припаю и высадились. Здесь стояло четыре дома, в которых жило много народу. Люди столпились вокруг нас и помогли разгрузиться. Я нанял человека с санями, чтобы добраться до Какертака; он нанял еще двоих. Я заплатил всем.

Дорога была нелегкая. Она то поднималась вверх, то опускалась по голым уступам, по неровному морскому льду, а в одном месте круто спускалась с ледяного вертикального уступа высотой в четыре фута. Я делал вид, что умею хорошо править собаками, а Френсис делала вид, что не боится: мы не расстраивали друг друга. Без приключений в шесть часов вечера прибыли в Какертак. В семь Френсис уже спала в гостиной доброго Дорфа. Двери были закрыты, все в доме ходили на цыпочках.

Она пропустила танцы, но не пропустила пир, проснувшись, когда начали накрывать на стол. В одиннадцать мы уселись пировать. Наш отъезд был назначен на двенадцать.

Сейчас, в полночь, стоя около нагруженных саней с запряженными в них собаками, готовясь перешагнуть через Нугсуак — порог Северной Гренландии, я оборачиваюсь, чтобы исправить оплошность — представить свою жену. Знакомство это было неизбежно, и все же, как автор книги, я его боялся; боялся и откладывал. Будь это роман, я не был бы ничем стеснен, мог бы говорить правду. Будь это роман, я мог бы изобразить ее героиней — она и есть героиня, — писать ее с натуры; она была бы в тексте, а не меж строк. Но сейчас, потому что мы не пишем о самом главном, я могу лишь вывести вас на снег, туда, где стоят сани, и в крошечной темноте указать на одну фигуру.

Вон, видите, сидит закутанная в оленьи шкуры, уютно подоткнутые со всех сторон? Это молодая женщина, ни разу раньше не бывавшая на севере. Она, собственно говоря, родилась и выросла в Виргинии и никогда не испытывала путевых невзгод. Интересно, что она обо всем этом думает?

Она слышит наш разговор; вот блеснули ее зубы, она смеется. Что ж, пора отправляться.

— Эу, эу! — Собаки вскакивают на ноги, постромки натягиваются, мы скользим. До свиданья!

Нас пятеро на четырех санях; не знаю, кому нужен такой караван? Разве что Нильсу Дорфу, который все это устроил и ехал на одних из саней. Видимо, не хотелось ему возвращаться домой в одиночестве или он не любил сильно загружать сани. Мы были уже в Какертаке, нам не требовался проводник, но нужна была помощь для перевозки вещей. Двое нанятых каюров поделили между собой груз для одной упряжки и при этом ухитрились еле управлять. Вскоре мы с трудом взбирались вверх по склону, с которого неслись вниз две недели тому назад.

На гору ехали медленно, и все же дорога показалась короткой; рассвет застал нас уже далеко от Какертака. Все шло так, как мы намечали. Выехали в полночь, чтобы не ехать днем 1 мая по южному склону Нугсуака, пригреваемому солнцем. Одна из собак захромала. Выпряг ее. Я потерял лучшую собаку как раз тогда, когда она нужна была больше всего. Упряжь моя изнашивалась. При каждом тяжелом подъеме один или два ремня лопались. Но путешествовать было приятно. И как раз приблизительно в то время, когда люди, живущие в нормальных условиях, вставали завтракать, мы мчались вниз к северному фьорду. Мчались с бешеной скоростью, несмотря на то, что

каюры тормозили вовсю, зарываясь пятками в снег. Мы рисковали сломать себе шею.

Езда в гору тяжела, но, когда становится неважно, можно передохнуть. При спуске с горы это невозможно. Милля за милей спускались мы с горы. Только съехали со снежных склонов на голый лед потока, как я свалился в нелепом припадке судороги в бедре. Мне чуть не оторвали ногу во время лечения. При переправе через поток никто не пострадал, только Нильс угодил в воду и вымок с головы до ног. На берегу он переоделся в сухое платье.

Лед фьорда был скрыт под водой глубиной примерно в 3 дюйма, и бегущие собаки непрерывно обдавали нас дождем мелких брызг. Теперь по ровной поверхности скрытого водой гладкого голого льда езда на санях стала легкой. Мне не нужно было присматривать за собаками, они бежали по следу ведущей упряжки. Я дремал, Френсис спала. Неожиданно сани наехали на обломок льдины, и Френсис скатилась в воду. Это случилось, когда мы уже приближались к Икерасаку: она въехала в Икерасак, совершенно пробудившись ото сна.

После рассказа о трудностях и опасностях жизни в Арктике немного неудобно констатировать, что в Икерасаке мы как бы простились с зимой. Моя моторная лодка покачивалась на волнах в пяти милях отсюда; домой ехали на моторке. В три часа утра 4 мая высадились при свете яркого солнца на лед в восьми милях от Игдлорсуита — мы, пассажиры, и экипаж, всего одиннадцать человек и семнадцать собак. Запрягли собак, погрузили все, что могли, на двое саней и понеслись домой. По спящему поселку проехали прямо к дверям моего дома. Вот, входи, Френсис, мы дома.

III

В прекрасный месяц май

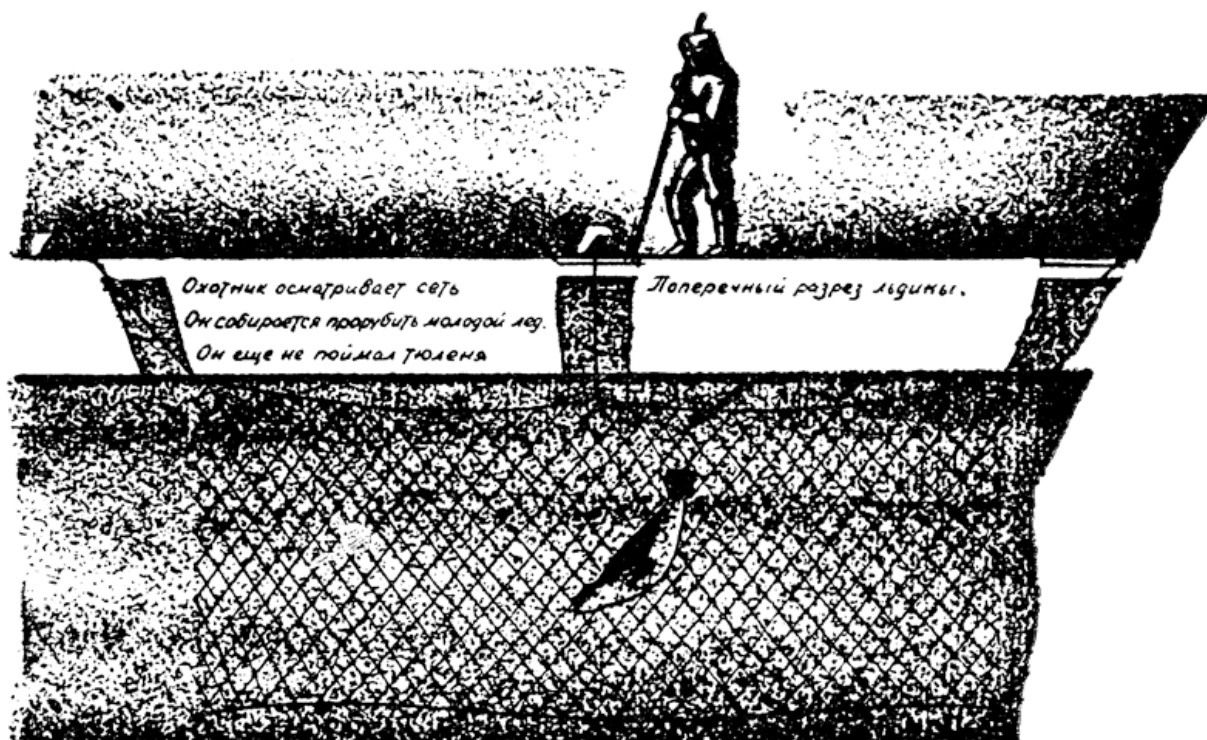
Гренландия, Игдлорсуит — это отдаленное место, лежащее в стороне от маршрутов путешественников. Все здесь вокруг совершенно не похоже на то, с чем большинству людей приходится сталкиваться. Поэтому мне кажется, что описание местного колорита во всех его деталях может представить интерес для читателя. Я пишу о многих обыденных вещах, странных именно тем, что они похожи на наши. Просто поразительно, как гренландцы по поведению, по образу мыслей, в работе, играх удивительно похожи на нас.

Через десять минут после нашего прибытия, хотя было только четыре часа, народ во всех домах встал и вскоре сбежался к нашему дому, чтобы приветствовать нас, *выпить за наше здоровье и посмотреть невесту*. В то время как мы сидели дома и пили кофе в избранном обществе, снаружи стояла большая толпа, выжидая случая увидеть что-нибудь, хотя бы мельком, когда открываются двери. Выпив кофе, мы принялись за шнапс и пиво. Пришли еще гости. Заиграла музыка. Танцевали примерно с семи до полудня. Днем поспали часок. Вечером устроили званый обед с танцами; танцы кончились в четыре часа утра. На следующий день отдыхали.

В мае в Северной Гренландии так прекрасно, что если б въезд туда был свободный — от чего упаси боже, — то праздные, богатые, ищущие удовольствий люди со всего света устремились бы в эти места. Плакаты туристических бюро кричали бы: «Прелести зимы теплой весной». Ясные дни, закаты, длящиеся всю ночь, и весь этот девственный мир — суша и море, по которому можно путешествовать сколько захочешь. Весь май, а в иные годы и весь июнь море покрыто льдом. В это время много тюленей, и охотники целые дни проводят на льду, возвращаются домой с добычей на санях, нагруженных до предела.

Охота на тюленей на льду сравнительно простое дело: либо нужны сети и почти совсем не требуется умения, либо необходимы некоторые навыки, которые энергичный сообразительный человек может приобрести за один сезон. Сети на тюленей устанавливаются, когда

морской лед достаточно окрепнет, этим устраняется риск возможной потери сетей. Как это делается, лучше всего можно пояснить при помощи схемы. Прodelав отверстия все той же незаменимой пешней, привязывают к ней веревку и, точно направляя палку, проталкивают ее от отверстия к отверстию; пешне сообщают толчок, достаточный для того, чтобы ее легкий конец смог высунуться из воды в следующем отверстии. Для этого нужна, пожалуй, некоторая ловкость — впрочем, не такая уж большая. Сети обычно ставятся недалеко от мыса или айсберга или возле молодого льда, там, где он примыкает к более старому и толстому. Если охота ведется другими способами, то лед можно рассматривать как участок, окружающий капкан: отдушину или разводье. Роль пружинных щечек капкана играет бдительный охотник. Тюлени вынуждены всплывать, чтобы набрать воздух; этот жизненно необходимый тюленю вдох может быть для него последним.



Охотник осматривает сеть. Он собирается прорубить лёд. Он ещё не поймал тюленя. / Поперечный разрез льдины.

Отыскание отдушин дело довольно-таки трудное, так как часто их местоположение отмечено только низким, почти незаметным снежным

бугорком, сводом, под которым дышит тюлень.

Охотник, вооруженный ружьем, копьем или пешней, отыскав отдушину, часами ждет около нее появления добычи. Он стоит неподвижно в полной тишине, потому что малейший шум или даже шорох на льду доходит по воде до слуха приближающегося тюленя. Но если ничего не подозревающее животное всплывет, отфыркиваясь, его ждет выстрел или быстрый, верный удар копья. С подветренной стороны охотник может, не скрываясь, только соблюдая тишину, приблизиться к тюленю на расстояние в двести-триста ярдов, и только отсюда он начинает подкрадываться. Тюлень, как ни странно, одна из наиболее похожих в природе подделок под человека. Человек же, надо полагать, превосходная подделка под тюленя. Во всяком случае, охотник, научившийся ползать извиваясь на животе, плевать и фыркать, поднимать голову, чтобы осмотреться, кажется тюленю тюленем. По крайней мере человек более похож на тюленя, чем какое-либо другое животное, с которым тюленю приходится встречаться, и такого подражания для неразборчивого животного вполне достаточно.

Охотник на тюленей часто подкрадывается к ним, прячась за щиток из муслина, установленный на маленьких саночках, полозья которых закутаны чем-нибудь мягким. Согнувшись или ползком, он приближается к цели. Затем, просунув ружье в прорезь в муслине и оперев его на специальную подпорку, охотник прицеливается и стреляет.

Так охотятся, когда теплое весеннее солнце выманивает тюленей из воды и они дремлют около отдушин. Поверхность льда имеет уклон к лунке, надо полагать, не столько благодаря умышленным действиям тюленя, сколько от сглаживания льда во время частых выползаний животного из отдушины. Тюлень, лежащий на краю лунки, сделав самое легкое движение телом, быстро соскальзывает в воду. Если смерть не наступает мгновенно, тюлень соскальзывает под лед, и туша потеряна.

Ранней зимой и весной, когда во льду много разводий, охотник берет с собой каяк. Оставив упряжку на льду, он плавает в поисках тюленя или терпеливо ждет на кромке льда появления зверя на расстоянии выстрела. Застрелив тюленя, охотник на каяке подбирает тушу. Весной эскимосы уходят из дому на несколько дней и спят только тогда, когда усталость валит их с ног. Обычно у них нет спального

мешка или какого-нибудь покрывала. Они ложатся на сани, закутав ноги оленьей шкурой, если только она есть. Предусмотрительный, хозяйственный человек вроде Абрахама берет с собой примус: тогда он пьет горячий кофе и ест вареное мясо. Давид как охотник лучше, чем Абрахам, но из-за своей бесхозяйственности питается сырым тюленьим мясом. Оно съедобно, а сырая, замороженная тюленья печенька — настоящий деликатес. Люди часто не любят работать — уж так устроен мир, — но весенняя охота в Гренландии — исключение.

Мы выехали на пяти санях, отправившись, как и другие, на празднование дня рождения нугатсиакского помощника пастора. В нашей группе были Рудольф и Маргрета, Абрахам, Луиза с детьми, Мартин и Саламина, Нильс Нильсен и мы двое. Дорога была хорошая, по обеим сторонам ее лежал глубокий и мягкий снег. Рудольф ехал впереди, мы вытянулись за ним цепочкой. Обгонять друг друга было трудно, я сделал несколько отчаянных попыток, но только насмешил всех. Затем недалеко от Нугатсиака сани остановились.

— Ну-ка, — сказал Рудольф, — езжайте вы впереди, а мы следом за вами.

Это значило примерно следующее: вы так стремились занять первое место; предоставляем вам эту честь, пожалуйста, мы вас просим. Но я не настолько сильно стремился ехать впереди, чтобы согласиться.

В Игдлорсуите есть церковь, часть здания занята под школу. В школе Нугатсиака по воскресеньям бывает служба, там же устраивались танцы, и это не считалось кощунством. Вся молодежь, все красотки Нугатсиака пришли на танцы; явились также многие, кого нельзя отнести ни к молодым, ни к красивым, и даже бродяги. Это было крепко приправленное смешанное блюдо. Беньямин, виновник торжества, всегда дурашливый, сегодня вел себя как шут. Он беспорядочно прыгал и скакал кругом, как кузнечик, выделявая фигуры, нравившиеся ему, но мешавшие всем остальным.

— Смотри, Кинте! — кричал он. — Вот как надо. — И, бешено кружась, лез против течения, расстраивал весь танец.

Хотя здесь было много веселых и очаровательных игдлорсуиток, Олаби уделял свое внимание исключительно одной Френсис. При этом весь вид его говорил: «Она заслуживает самого лучшего партнера в танцах, и она сумеет его оценить». Держался Олаби с торжественным

достоинством, несомненно служившим немym укором этому глупому Беньямину. Танцевал он, гордо выпрямившись, долго и ловко кружился — воплощенное самодовольство. Партнерша находила «его превосходительство» страшно скучным. Самым ловким танцором был малопочтенный Мортон. Толстый Павиа, конечно, тоже находился здесь и танцевал с особым блеском, не вызывавшим ни у кого зависти.

Настоящим событием следующего дня были гонки на обратном пути. Шесть саней выехали раньше нас на целый час. Наша группа на пяти санях решила нагнать их. В каждой упряжке было по восьми собак. На моих санях сидели два пассажира. Ведущим шел Рудольф. Через пятнадцать миль мы обогнали одного отставшего; вся компания уже была видна. Нагнав их, мы некоторое время шли за ними следом — дорога здесь была плохая. Потом Рудольф начал основательно нажимать. Он обгонял одни сани за другими. Мартин шел за ним, я третьим, потом Нильс и Абрахам. Каюры кричали, нахлестывали собак; одиннадцать бегущих наперегонки упряжек — сущий ад. Я обогнал уже пять упряжек, нагоняя шестую, свернул в сторону, поравнялся с ней — почти голова в голову, — как вдруг она ни с того ни с сего развернулась в ширину. Одна собака очутилась как раз перед моими санями, зацепилась за постромки, повалилась на землю. В следующее мгновение собаки обеих упряжек образовали один рычащий клубок. Пока мы, каюры, старались распутать его, Нильс, Абрахам и другие — все, кого я обогнал, — пронеслись мимо, а пока я высвобождался, они успели уйти вперед на полмили.

Снова я нагнал цепочку саней, обошел несколько из них, оставил позади все тихоходные упряжки, оторвался от них, стал нагонять ведущую четверку, приблизился к ней вплотную. Недалеко от поселка шла широкая, разъезженная дорога. Здесь наконец я смог попытаться счастье. Упряжки Мартина и Нильса ехали ноздря в ноздю. Я поравнялся с ними. Вот это были гонки! Каждый пытался вырваться вперед, но никто не мог удержаться на первом месте. На моих санях лежало полмешка сушеной мойвы, собачьего корма. Я на мгновение опередил другие сани и, встав на ноги, швырнул рыбу перед носом собак двух других саней. Это решило исход дела. Я стал нагонять Абрахама. В пятистах ярдах от берега поравнялся с ним, но обойти не смог. Мы пришли к финишу одновременно. Рудольф стоял около своего дома и курил.

— Хорошая работа, — сказал он, когда я проезжал мимо.

Однажды, нагрузив сани холстами, запасом еды на несколько дней и кормом для собак, я выехал в Кангердлугсуак, намереваясь пожить там, чтобы писать картины. Езда по фьорду была трудная: снег таял, и потоки сбегали со склонов гор на поверхность льда. По мере продвижения дорога становилась все хуже. Я вовсе не жаждал разбить лагерь на залитом водой льду и уже начал беспокоиться, смогу ли найти в этом каньоне с отвесными стенами сухой клочок для стоянки. Как вдруг появилось именно такое место, какое я искал: покрытая гравием береговая отмель, обращенная к югу. Выбравшись на берег, я отпряг и привязал на цепь собак, поставил палатку.

Мне кажется, что всякий человек предпочел бы изобретательство любому другому занятию. Получаешь такое наслаждение, когда сам придумашь что ни на есть простую вещь. Я думаю, всякий человек в душе изобретатель: если бы это было не так, то почему, что бы вы ни изобрели, оказывается уже запатентованным? Моя палатка на санях, насколько мне известно, мое собственное изобретение. Я с удовольствием рекомендую всему свету беспатентно и бесплатно самую лучшую из существующих палаток на санях.

Палатка, изображенная на рисунке, крепится на санях ремешками, связывающими полотнище пола с настилом саней. Когда палатка не нужна, она складывается и служит подстилкой, которую кладут на сани. Два тонких шеста, снабженных легкими металлическими плоскими захватами, которые надеваются на боковины саней и удерживают шесты в нужном положении; тонкая палка образует конек, он пришит к брезенту. Если вы захотите поставить палатку, то нужно только сгрузить вещи с саней, натянуть полотнище пола и закрепить его углы на передних стойках саней, поставить шесты, поднять кверху конек и нацепить его на шесты, оттянуть за две веревки, прикрепленные к углам, задние полотнища и крепко-крепко привязать к копыльям. Все это занимает меньше минуты. Теперь ставьте примус и зажигайте его. Уже через три минуты в закрытой палатке становится неприятно жарко. В ней вполне достаточно места для двух человек. Однажды мы провели в ней две ночи вчетвером.

Место, где я разбил свой лагерь, было красивое. Ревущий водопад наполнял воздух весенним шумом и подавал питьевую воду к порогу жилья. Но только я устроился, как до моего слуха донесся отдаленный

гул, похожий на раскаты грома, заставивший меня вздрогнуть. Я поглядел кругом. Напротив лагеря стеной возвышалась гора высотой в полторы тысячи футов. Вершина ее окутана облаками, от основания поднималось облако — пар, дым. Что бы это могло быть? И в то время как я недоверчиво обзирал окрестности, вниз пронеслась снежная лавина. Затем раздался гром. Я быстро оглянулся назад. Нет, погребение мне не грозило. Мрачный вечер облачного дня. Я покормил собак, приготовил обед, пообедал и лег.

Проснулся, посмотрел на часы, еще рано. Прислушался: ревел водопад, полотнища палатки трепал ветер, на брезентовые бока ее с мягким шелестом падали снежные хлопья. Я отвернул полотнище, выглянул: предо мной девственно белый мир — снежная буря. Я привязал полотнище, лег, опять заснул. Буря продолжалась большую часть дня. В туго натянутой, непроницаемой палатке было тепло. Что нам, мне и моим собакам, оставалось делать в такой день? Только спать.

К вечеру начало проясняться. Снег перестал идти, ветер затих, низкие тучи поднялись вверх и рассеялись. Легкий как пух любимец художественных натур, туман рассеялся. Передо мной в вечернем свете горели зловещие, резкие, гигантские очертания горных вершин, покрытых снегом. Может быть, чересчур гигантские, но это потому, что мы так ничтожно малы. Попытался писать их: какой вздор!

Собаки отчаянно надоедали мне своим шумом. Их было восемь. Надеюсь воцарить среди них мир, я разделил их на две группы: в одну пять собак Ланге, в другую трех остальных. Ниакорнет, красавица из Нугатсиака, освобожденная от власти вождя клана, показала свой характер: ни днем, ни ночью не прекращалось кошмарное раболепное тявканье двух собак. Несколько раз эти псы доводили меня до иступления, я вылезал из палатки, чтобы побоями заставить их замолчать. Наконец я запасся кучей камней, которые валялись в изобилии около палатки. Сейчас я чемпион мира по метанию камня; это чего-нибудь да стоит.

Я писал в этом фьорде еще два дня, потом уложил вещи и уехал. Такое путешествие доставляет редкостное удовлетворение: дом, печь, еда, материалы для работы — все с собой; чувствуешь себя дома в любом месте. Жизнь кочевника, должно быть, полна очарования. И хотя мы считаем, что кочевник стоит на низшей ступени общественного

развития, возможно — точно мы не знаем, — он доволен своей жизнью больше, чем мы. Его кочевки — это и реакция на неудовлетворенность, и средство избавления от нее. Так как дом кочевника всегда в том месте, которое он выбрал сам, то его жилище всегда нравится ему. Мы все — жертвы пропаганды цивилизации и, не рассуждая, подходим с ее меркой для оценки человеческих достижений, не понимая, что пригодность цивилизации для этого с точки зрения единственно интересующего человека результата — человеческого счастья — не доказана. Я неудачно выбрал четырехтомный труд доктора Панглосса из Йельского университета, рассчитывая коротать с ним в Гренландии часы досуга. Доктор, созерцая из своего кресла «лучший из возможных миров» (капиталистический!), судит о цивилизации по жизненному уровню, который определяет, как и надлежит, *вещами*. На многих страницах этого скучного труда, составленного, как нам кажется, чтобы вооружить юных сыновей банкиров аргументами против идей французской революции, автор не дает нам пищи для размышлений о том, что духовное богатство важно в жизни людей и что, кроме собственности, что-нибудь может иметь значение. Исключение представляет одно определение, данное в докладе комиссии Смитсона (1895, 591). Я цитирую его с удовольствием: «Цивилизация — это всего лишь искусство жить в обществе». Подразумевается жить мирно и счастливо.

Но никакое признанное определение не позволяет отнести меня к цивилизованным людям, если я живу один в лагере на льду. Итак, к сведению намеревающихся познать *истину* позволю себе отметить, что мне было очень удобно и я оставался доволен в течение многих дней. И если б со мной была и моя вторая половина, то мы бы там остались до конца мая, а затем едва выбрались бы оттуда живыми, как это и случилось потом на самом деле.

Возвращение домой из последней поездки едва не окончилось трагически. Мы провели перед этим несколько дней в Нугатсиаке. Жили в церковно-танцевально-школьном помещении, работали, гуляли в теплом, мягком окружающем нас мире, который гренландцы называют «сила». Быстро надвигалось лето. Лед на море превратился в мелкий пруд, а вдоль берега по льду текла река. Мы смотрели, как собачьи упряжки переплывают через нее; перебраться с берега на лед

или со льда на берег было маленьким приключением. И вот однажды нас предупредили:

— Если вы не уедете домой сейчас, то не выберетесь отсюда до наступления лета.

— Ладно, — сказал я, — мы выедем сегодня вечером.

Хоть бы они не рассказывали Френсис кучу страшных историй. Я догадывался, что лед плохой, но ни к чему выкладывать все, что знаешь. Мы тянули с отъездом, надеясь, что похолодает, но напрасно. В день отъезда до полудня стояла самая жаркая погода за весь год, потом стало сыро и холодно. Правда, не настолько холодно, чтобы начало подмерзать, было просто облачно, гнусно, неприятно и поднялся юго-восточный ветер. Мы сложили и погрузили на сани оборудование, холсты, лагерное имущество и другие вещи — все, что у нас было.

— Надеюсь, ты не будешь против, — сказала Френсис, — если во время этой поездки я буду немного бояться.

Дорога в Игдлорсуит была хорошо видна, она возвышалась, как гребень, на ровной поверхности. Путь, как вехами, отмечен айсбергами, знакомыми по многим предыдущим поездкам.

— Не ездите этой дорогой, — говорили умные люди, — держитесь курса прямо в море с час или подольше, потом возьмите влево на Игдлорсуит.

Мы поступили так, как нам сказали. В шесть часов запрягли сани, попрощались с друзьями и выехали. Лед, к моему удивлению, был крепкий и сухой.

— Ах, как хорошо! — воскликнула Френсис, устраиваясь сзади.

Впереди стояла полоса тумана. «Спина, — подумал я, — не выдаст моих страхов».

Прошел час. Туман накатывался на нас, густой, темный. В последний раз определив направление по солнцу, ветру и берегу, въехал в туман.

Если б лед был твердым, если б, как нам предсказывали, он становился лучше по мере удаления от берега, я бы не беспокоился. Густой туман, он закрыл берег и поглотил все, что находилось дальше ста ярдов от нас. Мы не видели солнца, большую часть времени не видели никакого света на западе. Но ветер дул устойчиво. Хороший лед стал плохим, плохой отвратительным. Наконец он превратился в море с островками шуги. Я с трудом выбирал дорогу по льду. Так мы и ехали,

отклоняясь от правильного курса, не оставляя за собой следов в этой каше. Я мог только гадать относительно общего направления, понимая, что при определении курса вслепую ошибки неизбежны. Подул сильный ветер, поднял волнение. Маленькие волны плескались о сани.

— Скверная погода в море этой ночью, — сказал я, чтобы подбодрить Френсис.

Мы продолжали ехать в наступающей темноте, выбирая дорогу в болоте из ледяной каши. Ехали прямо по воде, которая доходила до настила саней, старались не попасть в страшные глубокие ямы, видневшиеся кругом. Вдруг собаки без всякого предупреждения погрузились в воду и поплыли. Я зарылся пятками в ледяную кашу, спрыгнул и ухватился за стойки, изо всех сил тормозя сани. Они остановились как раз на краю.

— О боже мой, — проникновенно сказала Френсис.

Единственный раз за эту ночь Френсис помолилась вслух.

А в это время все наши восемь собак плыли. Они выбрались на ледяной риф в десяти футах впереди. Я остановил их криком, повернул сани. Френсис держала сани, а я стал по одному вытаскивать псов назад. Перетащив их, мы как можно быстрее убрались от этого места.

Проехали совсем немного и очутились прямо в центре скопления айсбергов — чего я больше всего старался избежать. Лед вблизи от айсбергов в оттепель всегда плох и часто опасен. Айсберг, разламываясь на куски, отделяя от себя «щенки», усыпает поверхность льда обломками. Здесь образуются лужи талой воды: весной вода стекает с айсбергов ручьями. Собаки стремятся к айсбергам. Даже когда санный путь в отличном состоянии, когда снег сухой, собаки, будто их раздражает однообразие равнины моря, если только дать им малейшую возможность, устремляются к айсбергам, подобно тому как изнемогающие от жажды путешественники в пустыне бегут, как мы читали, к оазису. В тот день мои собаки после многих часов барахтанья и плавания в воде отчаянно хотели «пристать». Пока при помощи бича я объезжал все айсберги по большой дуге, и вот, несмотря на все мои старания, в сумеречной темноте тумана мы очутились рядом с ними. Собаки понесли. Нырнув в воду, не обращая ни на что внимания, в том числе и на нас, они ринулись к айсбергу и добрались до него. Нам удалось благополучно пристать к острову. Мне пришла в голову мысль сделать здесь остановку. У нас были палатка, еда и топливо, можно

было бы разбить лагерь. Мы промокли до нитки, промерзли до костей, дул резкий ветер, но кто знает, не принесут ли ближайшие часы изменений к худшему? Нет, едем дальше. Но как?

Я пошел на разведку с пешней и обнаружил, что талая вода лишь слегка замерзла. Нам грозила опасность утонуть — нагруженные сани легко могли провалиться. Попробовал измерить глубину в нескольких местах и не достал до дна. Хорошей дороги не было, выбирать приходилось между плохой и худшей. Я выбрал. Стегнул собак, которые теперь неохотно плелись, и въехал в воду. Через сто ярдов собаки снова пустились вплавь. Вот тебе и выбрал. К черту! Поехали вперед! Мы погрузились в воду, поплыли. Собаки вытащили нас снова, барахтаясь и разбрызгивая воду. Все-таки выбрались. Эта темная равнина, море с архипелагами островков шуги, перешла — мы не сразу ощутили перемену — в материк из шуги с озерами и озерцами. Вскоре темно-серая снеговая каша посветлела, потом стала совсем белой. Мы ехали по чистому снегу. Обрадованные собаки помчались вперед.

Наш курс лежал на несколько румбов в сторону от направления встречного ветра. Мне хотелось отклониться еще потому, что талая вода с острова стекала на лед, разъедала его примерно на милю от берега. Обычно собаки, даже когда бегут домой, терпеть не могут езды против ветра. Что же случилось с моими?

— Эу, эу! Эу, эу! (держи влево) — покрикивал я на собак, которые не слушались меня. Я заметил, что некоторые собаки время от времени оборачивались назад и после этого начинали быстрее бежать. Они оглядывались в сторону солнца. Прошло порядочно времени, пока я понял, что курс против ветра, которого они вопреки моему желанию старались держаться, — прямой курс на Игдлорсуит. Я думаю, что, если бы собак предоставить самим себе, они привезли бы нас прямо к месту назначения.

Должен добавить, что собаки до этой зимы не бывали в Игдлорсуите, никогда раньше не ходили по этому маршруту и даже не бывали ближе чем на несколько миль от поселка. На следующий день я заговорил об этом с Рудольфом.

— Да, — сказал Рудольф, — хорошие животные все понимают.

При такой скорости, с которой мы теперь ехали, нам следовало через полчаса повернуть на юго-запад и держать курс прямо на поселок. На нашем пути показался след саней. Собаки, обычно охотно

бегущие по любому следу, пересекли его, не задерживаясь. Я теперь уже не сомневался, что они знают дорогу, хотя, если не считать того следа саней, не видно было никаких ориентиров. Собаки мчались, замедляли бег, перебираясь через лужи, затем мчались дальше. Может быть, они чуяли дом? Мы тоже начинали чують его. Впереди на снегу показалась черная полоска: разводье! Слава богу! Оно оказалось узким, не более пяти футов шириной. Узкое разводье нужно брать с ходу; если собак медленно подводить к нему, они упрутся. Я ударил рукоятью бича по сапогу, чтобы подогнать их, и передвинулся на санях вперед. Собаки сделали прыжок, и все, кроме одной, перепрыгнули. Сани по инерции полетели было за ними, но перескочил на другую сторону только передок и тут же опустился. Мы застряли. Собаки, оправившись от прыжка, налегли. Сани сдвинулись с места; задок соскользнул с края льда и погрузился в воду. Еще бы! Две трети груза располагалось сзади. Передок задрался кверху. Снова остановка.

В такие моменты все происходит быстро, все делается не раздумывая. Внезапно Френсис оказалась на льду рядом со мной; она тянула изо всех сил. Я подгонял собак. Общими усилиями перетащили на другую сторону сани, с которых стекала вода.

— Скверное место, — сказал я, когда мы поехали дальше. Френсис ничего не ответила.

За милю от дома попали на объезженный санный путь, сухой, высоко выступавший над покрытой шугой равниной, как римская дорога. Дорога эта вела домой. Скоро показался берег. Мы выехали из-за айсбергов и увидели поселок. Из поселка заметили нас. Народ толпился на берегу, — был воскресный вечер. Откиньтесь небрежно назад, американцы! Я ударил рукоятью по сапогу, собаки рванулись. Мы с треском пролетели по прибрежному льду и очутились дома.

— Еще нет двенадцати? Заходите, друзья, заходите!

Мы провели с ними всю ночь, до четырех часов.

IV

День рождения

Май кончается. Конец льдам, конец зиме. Скоро день рождения. Каждый на один день в году может заставить соседей обратить на него внимание. Каждый на один день делается знатным. Знатность накладывает определенные обязанности, которые зависят от возможностей.

Празднование дня рождения Френсис — ее участие в подготовке заключалось только в том, что она хлопотала рядом с Саламиной около печи, — должно было стать грандиозным предприятием. От нас этого ждали. Кофе, пироги и пиво для всего поселка; званый обед в нашем доме; танцы для всех в отдельном помещении. Танцы в этой гнусной яме, в бондарной? Нет! Постойте!

Нам приходится говорить о добром порыве, о счастливой идее. Она развивалась и превратилась наконец в спорный вопрос, в котором оказались замешанными жители, начальник торгового пункта, управляющий и губернатор, — в спор, который рассматривался директором Управления в Копенгагене. В конце концов были подготовлены, поданы, испещрены резолюциями и подшиты к делу в трех экземплярах документы, составившие заключительный акт маленькой драмы о нашем пребывании в Гренландии. Прошу меня извинить, но в рассказ снова нужно ввести Троллемана.

В тот момент, когда мне пришла в голову эта идея, я посетил его величество и заговорил с ним о ней.

— Уж очень нехорошо, — сказал я, подходя к этой теме как можно тактичнее, — что славные, добрые жители Игдлорсуита, которые любят веселиться и танцевать, не располагают большим помещением для танцев. Как вы думаете?

— Конечно, — согласился Троллеман. — Да, мистер Кент, и я так думаю. Это просто позор, мистер Кент.

— Так вот, — продолжал я, — мне пришло в голову, что мы можем подарить им такое помещение, мы вдвоем. Давайте построим жителям зал для танцев.

Троллеман просиял.

— Такая же мысль, — сказал он, — была все время у меня, мистер Кент. Я построю для них дом, говорил я себе, подарю им дом. Им нужно помещение для танцев. Я им его подарю, говорил я. Видите ли, мистер Кент, когда я жил в Восточной Гренландии, это было, позвольте, это было в...

— Ну, так как же насчет помещения? — спросил я деликатно, когда он через полчаса кончил свою речь. — Вы примете участие? Оплатите это совместно со мной?

Троллеман принял изумленный вид, казалось, он несколько шокирован.

— Но, мистер Кент, постойте, — сказал он, — подождите. Видите ли, мистер Кент, не сейчас. Видите ли, я, может быть, поеду в Данию этим летом или в будущем году. Нет, мистер Кент, сейчас я бы этого не затевал. Видите ли...

— Я думаю, что сделаю это один, — сказал я.

Начиная с марта эскимосы стали все больше и больше говорить о зале для танцев, который они получают, и даже представлять в мыслях здание на том месте, которое для него предназначалось. А место было выбрано превосходное: в самом центре. Два года назад этот участок занял Иохан Ланге, площадка была сухая, выровненная с приготовленным прямо для нас бетонным фундаментом. Если и требовались права на владение участком, то бывший владелец передавал их нам в дар. В исполненный добрых предзнаменований День памяти жертвам гражданской войны^[36] мы уложили нижний венец. Все жители принимали участие в строительстве дома. Пол, пол танцевального зала был уложен полностью к вечеру того же дня. Мы поставили столбы и огородили место веревками, подобно рингу. До завтрашнего сражения!

В день рождения погода была прекрасной, о такой можно только мечтать: безоблачная и мягкая. Незаходящее солнце совершало движение по кругу, как будто для того, чтобы благословить все со всех сторон. Если б пол нашего здания был окружен стенами и покрыт крышей, то в этот день нам бы захотелось убрать их. Нужда — элемент счастья или его предпосылка; в раю должно быть как раз настолько холодно, чтобы блаженные нуждались в солнце. Как раз настолько холодно, как в Гренландии в тот день, 31 мая.

Для полного счастья блаженные должны испытывать нужду в райских плодах, подобно жителям поселка, нуждавшимся в кофе и пирогах в этот майский день. Они должны изголодаться по развлечениям, и луга, покрытые нарциссами, должны быть для них таким же хорошим местом для танцев, каким был сосновый пол для нас. Да, бог обошелся бы с нами плохо, если бы он не создал обетованную землю на $71^{\circ}15'$ северной широты и $53^{\circ}20'$ западной долготы в том виде, какой она имела 31 мая 1932 года. Всю эту светлую ночь не прекращался топот ног танцующих. Уж в этом-то отношении праздник был божественный!

Троллеман специально явился поговорить со мной на следующий день.

— Зал для танцев, — сказал он, — не может находиться здесь. Это противоречит закону.

— Какому закону? — осведомился я.

— Закону, изданному администрацией, который запрещает возводить какое-либо частное строение ближе чем на двадцать шагов от административного.

— А вблизи от какого здания находится зал для танцев? — снова спросил я с удивлением.

— А вот от этого склада, — указал он пальцем. — Вы не можете возводить здание танцевального зала там, где вы начали строить.

На том месте, куда показал Троллеман, стояло расползшееся древнее, сильно разрушенное строение, похожее на дом пещерного человека, если у него был дом. Путешественник мог подумать, что это обломок восемнадцатого века. Низкие, осевшие, готовые развалиться покатые стены из дерна окружали клочок земли. Неструганные доски, образующие крышу, провисали. Живописная старая развалина или оскорбляющее взор грязное пятно, как вам будет угодно. В этой постройке еще продолжали хранить бочки с жиром. Она была под стать бондарной. Около склада, ближе чем в двадцати шагах, нарушая закон, стояли дома Рудольфа и Ионаса. Дом Иохана Ланге простоял десять лет на том месте, где мы сейчас начали строить. По-видимому, раньше никому не приходило в голову, что этот старый сарай — здание; никому — до Троллемана. Народ заговорил об этом и со свойственной гренландцам мягкостью желал Троллеману лопнуть. «Подождем, — подумал я, — а потом пойдем к управляющему».

Но в мае... Поговорим лучше о другом. Это случилось в полночь.

Старый Эмануэль, гордый и могучий внук ангакока, все еще ходил на охоту. Весной он молодец и охотился вместе с самыми лучшими охотниками. Если можно было передвигаться по льду, Эмануэль первым отправлялся на лед и последним покидал его весной. И вот примерно в то самое время, когда мы блуждали в тумане, Эмануэль вместе с молодым спутником выехал на санях охотиться на тюленя близ Свартенхука. Через день или два после его отъезда задул сильный восточный ветер; изъеденный теплом лед оторвало от берега на протяжении многих миль и понесло в открытое море. Со слабой надеждой отыскать какой-нибудь след Эмануэля и его спутника-юноши люди обыскали кромку льда и берег у Свартенхука. Бесплодные поиски подтвердили опасения: замечательный старик и юноша пропали.

В это время в Игдлорсуите гостил хороший художник, даровитый резчик по кости, начитанный, культурный, очаровательный уманакский пастор — гренландец Отто Розинг. Я пошел к нему, поговорил о трагической гибели Эмануэля и спросил, будет ли мне разрешено поставить в его память крест на кладбище.

— Будет, — сказал он и поблагодарил меня. Я сделал на бумаге эскиз креста.

— Восемь дней прошло, как он уехал, — сказал кто-то за столом в день рождения. Мы подняли бокалы, выпили.

— В память Эмануэля.

Как раз в полночь вошел Тобиас, наш мальчик, помогавший по хозяйству.

— Эмануэль вернулся, — сказал он.

Когда этот старый язычник Эмануэль вошел — мы, разумеется, за ним послали, — он скалил зубы до ушей.

— Держи, Эмануэль, — сказал я, — наливай из своей, — и поставил перед ним бутылку рому. На следующий день он чувствовал себя отлично. Я показал эскиз креста, сделанный мною. Эскиз ему понравился.

Соблазнившись не то крестом на кладбище, не то бутылкой рому, Эмануэль запряг собак и снова уехал на охоту. С ним ничего не случилось, он вернулся через три дня. Я сам налил ему рому — рюмочку. Мы скупно раздаем наши земные радости, так же как они там на небе — свои небесные.

V

Шарлотта умирает

Только один человек умер на нашем острове за прошлую осень и зиму: умерла старая женщина, давно болевшая туберкулезом. Что смерть ее близка, знали все, и все же, когда в морозный мрачный январский день появилась кучка темных фигур, шедших через снежное поле к церкви, и я, подойдя к ним, увидел, что они несут гроб, меня это потрясло. Час тому назад она была жива; за час пребывания в покойницкой, в этом сарае, она превратится в льдышку. На севере у смерти крепкие объятия.

Здесь привыкли к смерти. Гренландцы привыкли охотиться, жить рядом со смертью. Смерть постучалась в дверь? Да, она вместе с ними на постели. Они знают ее в лицо и привыкли к нему. В 1860 году (других цифр у меня под рукой нет) 42 % населения Гренландии составляли лица моложе 15 лет; 55 % были в возрасте от 15 до 60 лет; 2 % — старше шестидесяти; возраст одного процента неизвестен. Если бы скорбь по умершим продолжалась долго, то все население Гренландии умерло бы от нее.

Старая Шарлотта, мать Олаби, пережила еще один период темноты и снова вступила в светлое время, но силы быстро покидали ее. В один из вечеров в начале июня старое сердце ее забилось с перебоями, остановилось. Еще один обломок прошлого исчез.

В Гренландии похороны — это целое событие. В церкви полно народу. В проходе на двух козлах стоят погребальные носилки, на них наспех сколоченный ящик — гроб. Крышка гроба снята. Под белым покрывалом лежит все, что осталось от старой Шарлотты, скрюченное, очень маленькое тело. По окончании обряда погребальные носилки выносят на улицу и ставят на землю. Кругом народ; сейчас все будут смотреть на Шарлотту. Покрывало откидывают. Взрослые, дети — все толпятся, стараясь заглянуть в гроб. Страшное зрелище — оскаленное лицо Шарлотты. Тишина. Даже Олаби, который стоит рядом в слезах, опустив голову, не издает ни звука. Его ждут. Олаби делает шаг, не отрываясь долго и серьезно смотрит на останки единственной женщины, которая любила его. Он наклоняется и кладет на грудь

матери маленький букетик бумажных цветов. Когда Олаби отходит, гроб накрывают крышкой и наглухо прибивают ее гвоздями.

Подъем на вершину холма, к кладбищу, длинный и трудный; далеко не все взбираются наверх. Несколько близких друзей, несколько любителей пения, несколько любопытных и Олаби — один.

Прах Шарлотты в этот день не предают земле; невозможно выкопать могилу в мерзлой почве. Для такого случая — если можно назвать случаем то, что является правилом, — на скалистом бугорке лежат камни, каменная постель, оставшаяся раскрытой после последнего, спавшего на ней и уже покинувшего ее. Сюда кладут Шарлотту. Мужчины и мальчики нагромождают сверху аккуратную кучу камней. Тело завалено камнями. Затем, стоя около холмика, они поют.

Замерзнув здесь — наверху ветер пронизывает до костей, — люди спешат домой. Кругом все время бродят собаки. Когда уходит последний человек, собаки приближаются и обнюхивают каменную насыпь.

Христианский обряд погребения почти ничем не отличается от гренландских похорон языческих времен. Человеку свойственно относиться благоговейно к умершим, предавать природе на полное уничтожение то, что она создала, вернуть богу нетронутым то, что он дал. Земля вокруг старых постов Моравских братьев^[37] в Гренландии вся, как соты, издырявлена могилами с каменными стенами и крышами. Через щели можно взглянуть на развалившиеся человеческие скелеты. Это все могилы христиан. От могил язычников, которые разбросаны по всей Гренландии, они отличаются только тем, что состоят из одной камеры вместо двух, и, если судить по тем, что я видел, худшим качеством постройки. В передней камере языческих могил много мелких даров духу усопшего, часто изготовленных тщательно и искусно. Вещи эти сделаны из материалов, которые время не легко разрушает, — из дерева, моржовых клыков и кости. Не свидетельствуют ли цветы на могилах христиан о слабой вере в бессмертие?

Все умирают, все когда-то родились. И какими бы обрядами, христианскими или языческими, ни обставляли рождение и смерть, живая плоть и кровь все те же.

«Крещеные» гренландцы ничем не рискуют. Младенец, которого кладут на руки помощника пастора или пастора, чтобы он нарек ему христианское имя, уже получил языческое от повивальной бабки. Она — языческий жрец. И в важный момент — отделение остатка пуповины — она уже дала ребенку эскимосское имя.

— Карл Тобиас Паулус, — торжественно пробормотал помощник пастора над пищавшим младенцем мужского пола, рожденным Шарлоттой. Но она дала ему имя, которым все его называли, — Олаби.

VI

Веселое времяпрепровождение

А однажды Якоб, мальчик, на которого когда-то взъелся Троллеман, за что и был наказан, сел в лодку и в компании с двумя девочками стал грести вдоль берега. Они хотели пособирать на скалах яйца. Ребята нашли подходящее место и высадились. Оставив девочек присматривать за лодкой, Якоб пробрался по валунам, устилавшим берег, к скале и стал взбираться на нее. Уступы, на которых птицы устраивают гнезда, были высоко. Якоб не долез до них. Он взобрался примерно на высоту сорока футов, но тут случилось несчастье. Поскользнулся ли он, обломился ли уступ, на котором стоял мальчик, или уступ, за который он держался руками, — эти базальтовые скалы ненадежны, — в общем что-то там произошло, и Якоб сорвался. Девочкам показалось, что падал он очень медленно. Он летел вниз в горизонтальном положении с распростертыми руками и, упав на камни, остался лежать на них плашмя.

Не знаю, как эти маленькие девочки дотащили Якоба до лодки. Тяжелое, безжизненное тело нести было неудобно. Но они как-то справились. Даже втоптали его в лодку и положили в носовой части на дно. Затем столкнули лодку в воду, это было очень трудно, и стали грести назад в поселок.

Пока мы возились с Якобом, собралась большая толпа народу. Казалось, что люди не столько обеспокоены, сколько любопытствуют. Никто из родных Якоба не стал помогать нам. Мальчик был жив, но потерял сознание. Мы не могли точно сказать, что у него осталось несломанным. Привязали его к доске, придав ему тем самым жесткую неподвижность. В это время экипаж готовил мою моторную лодку к отплытию. Рычало пламя лампы, разогревая мотор. Мы понесли Якоба на лодку, предварительно послав за одеялами и периной, чтобы подложить их под доску. Мне пришлось приказать родственникам Якоба доставить перину. Никто из них не сел с ним в моторку. Через восемь часов мальчик был уже в больнице в Уманке. Через месяц умер.

Сбор яиц на скалах — распространенный сезонный промысел. Яйца всех морских птиц съедобны; все яйца, которые мне приходилось есть, приятны на вкус. Лазание по скалам — это только одно из многочисленных опасных занятий гренландца. Мы тоже собирали яйца — не на скалах.

К северу от острова Убекент находится группа низких, поросших травой островков, на которые каждый год в период кладки яиц отправляются собирать их те из жителей Игдлорсуита, которые имеют возможность туда поехать. Мы намеревались набрать полную лодку друзей и провести на этих островках два дня. И когда губернатор... *Как! Разве в Гренландии нельзя даже яйца собирать без...* Да нет, конечно, можно. Но постойте. Дело идет о нашем друге Рудольфе, которого мы хотели взять с собой... И когда губернатор приехал в Игдлорсуит, мы спросили его, нельзя ли Рудольфу Квисту, бондарю, который всегда раньше на несколько недель заканчивает свою работу, который вот уже два года ни разу не отдыхал, получить два дня отпуска и поехать с нами. Троллеман, мы сообщили об этом губернатору, сказал — нет. Губернатор держался очень любезно. Он обещал послать запрос, разобраться во всем и посмотреть, что можно будет сделать. О результатах мне будет сообщено. И действительно, через некоторое время уманакский управляющий получил отношение из столицы, на основании которого он списался с Троллеманом, и Троллеман дал Рудольфу два дня отпуска. Можно сказать, что в Гренландии не выпадет перо у воробья без того, чтобы это не было зарегистрировано на бумаге в трех экземплярах.

Губернатор был очень любезен, когда заходил разговор о танцевальном зале: любезен и со мной, и с Троллеманом. Он сказал мне, что изучит этот вопрос, подумает и посмотрит, что можно будет сделать. Я догадываюсь, что он то же самое сказал Троллеману. С ним он говорил позже, мы видели их из окна. Губернатор был спокоен, торговец с горящими глазами, возбужденный, отмеривал метры своими кривыми ногами. Нам показалось, что он немного напугал губернатора. Во всяком случае, губернатор, вернувшись назад, пытался уговорить меня взять под здание участок на отдаленном болоте на склоне холма. Болото не годилось.

— Хорошо, — сказал губернатор, — я подумаю.

Он созвал дудкой экипаж, вступил на корму своего катера и, стоя прямо, как адмирал, поплыл к пароходу. Солнце играло на его красных, вышитых золотом эполетах, золоченой, украшенной жемчугом никелированной сабле и медных пуговицах; ветер раздувал полы его полицейского мундира. Зрелище это вызывало у всех легкую улыбку.

День, когда мы, получив разрешение для Рудольфа, подняли паруса и отправились за яйцами, предназначался для более возвышенного труда, чем ограбление птичьих гнезд. Было невообразимо прекрасно; низкие островки, казалось, находились прямо в центре вселенной, так широко открывалось взгляду полушарие неба. Дул легкий ветерок, чувствовалась свежесть воздуха, по траве пробегали волны.

На борту было двенадцать человек. Мы чуть не потопили лодку, каждый старался первым выбраться на берег. Если судить по тому дикому возбуждению, с каким мы искали в траве «самородки», то можно было бы подумать, что нами овладела золотая лихорадка. Должно быть, мы пропустили немало яиц, прежде чем наши глаза научились отыскивать их в окружающей траве, где они были почти незаметны. Крик птиц, наполнявший воздух, выдавал их отчаяние, но нам это было только на руку. Бессердечно разорять птичьи гнезда, но занимательно.

Прочесав несколько маленьких островков, к вечеру мы стали на якорь в защищенной бухте самого большого острова. Затем высадились на берег и разбили лагерь, решив провести здесь ночь. Место для стоянки было идеальное: пресная вода, густая трава, на которой можно лежать, а для тех, кто нуждался в роскоши и удобствах цивилизации (несколько человек в этом нуждались), стоял дом из дерна, там можно было отдохнуть на нарах. Мы поставили палатку. Пока женщины разводили костер из пахучего хвороста и готовили ужин, мужчины валялись на траве и, задирая донышки бутылок к небу, настраивались на праздничный лад.

Запах хвои, вкус пива, доброта милых женщин, снисходительно взиравших на праздность мужчин! Это был веселый пир: мы ели до отвала яичницу, пили пиво, потом танцевали. Элизабет, довольно пожилая жена бойкого Ионаса, щелкала языком.

Надо послушать Элизабет, чтобы понять, что можно танцевать под звуки щелканья языка, что можно щелкать языком в такт, громко и

долго: чудесный светский талант. А Ионас плясал джигу. Они так нас насмешили, что в конце концов это заставило Элизабет остановиться. Оркестр развалился не от усталости, а от смеха. Наступало уже утро, когда мы наконец расползлись по своим берлогам. Женщины выбрали просторную палатку, я устроился в высокой густой траве — это была мягкая постель, в такой мне уже много месяцев не приходилось спать.

Днем снова собирали яйца, потом свернули лагерь и отплыли домой. Так весело можно провести время в Гренландии.

VII

Высокие широты

О хороших днях в Гренландии можно сказать, что они часто складываются из ничего; может быть, это типично для счастливой жизни повсюду. В нашем рассказе, который всего лишь дневник пребывания в Гренландии, приключения нельзя притянуть за волосы. Приключения случаются; иногда они редки, и это придает нашей жизни своеобразие. Несмотря на опасности жизни охотника, она, как правило, бедна событиями, и люди при этом благоденствуют. Они живут мирно, а мирная жизнь, по-моему, и есть счастье. Горькая мысль для нас, американцев, неприемлемая для духа нашего времени. Но мы должны понять, что из-за своих принципов, норм и идеалов, из-за всего того, что мы считаем своими характерными признаками, мы оказываемся только жертвами, игрушками закона эволюции, именуемого прогрессом. У нас отсутствует способность к абстрактному мышлению, она отсутствует и у наших вождей: такой вещи вообще не существует в природе. Выпустите воображение из клетки, освободите его, и оно не сможет взлететь выше верхнего сучка дерева, к тени которого оно привыкло. Среда: силы ее так же коварно проникают повсюду, как атмосферное давление. Прогресс: его давление равно 760 мм ртутного столба на квадратный сантиметр.

Предпосылка прогресса — неудовлетворенность. Она побуждает человека к действию, так создается история. У нас высшие награды — любовь и почет. Наше право на эти награды мы доказываем неудовлетворенностью. Прогресс: с этой штукой мы знакомы. Но мы недостаточно авторитетны, чтобы судить о счастье.

Впрочем, в этом неавторитетны и гренландцы. В наше время они уже не дети природы, как два века назад. Они беспокойны, у них появились желания. И так блестящи на вид даже первые пробные шаги прогресса, что на фоне их мрачнеет все, что раньше казалось светлым. Как ни странно, самые лучшие, энергичные люди прельщаются им. И, оставляя довольство слабым и безвольным, они порицают прошлое. Если уж прогресс наступил, то недостаток его отвратителен. И я завидую лишь довольству самых недовольных, относительно покою

тех, кто потенциально подготовлен для жизни в условиях прогресса, но по воле случая живет в основном вдали от него.

Как бы ни было обманчиво и неопределенно счастье, оно должно поддаваться практической оценке. Мы должны исследовать его язык и пощупать его пульс, проверить человека на предмет счастья. И если, как можно надеяться, оно причина или признак существования лучших представителей человечества, то мы, пользуясь этим критерием, можем сопоставить счастье с различными ступенями прогресса. В Гренландии прогресс распространялся с юга на север. Он зародился в Готхобе в 1721 году, через тридцать семь лет дошел до Уманака, а еще через тринадцать — до Упернивика. Здесь говорят, что, чем больше удаляешься от колоний, тем лучше оказывается народ; самые хорошие люди живут на крайнем севере Гренландии.

Мы совершали экскурсии не с какими-нибудь исследовательскими целями. Мы ездили, чтобы посмотреть страну, попутно я писал картины. Путешествие по Гренландии в летнее время — плавание вдоль берегов или восхождение на холмы, подобно сбору яиц, — представляет собой одно из тех по существу лишенных событий удовольствий, которые больше всего остаются в памяти и меньше всего поддаются описанию. Но раз уж мы с вами так далеко забрались, посмотрим нашу Гренландию.

Айсберги — устье Каррат-фьорда было заполнено ими — плавучие громады, окаймленные обрывами плоскогорья, триумфальные арки, под которыми могут проходить флотилии небольших судов, огромные столбы с тяжелым широким верхом и готические шпили — зримая фантазия из льда. Формы льдов невообразимо разнообразны. Они создаются под действием многочисленных сил: моря — его волн и приливов, солнца, силы тяжести. Я изучал их конструктивные принципы: их нет. Можете писать на холсте что хотите, дайте свободу игре воображения: действительность превосходит воображение. Предел конструктивных возможностей — это точка, где наступает разрушение. Как было красиво в день нашего отъезда на север! Дул северо-восточный ветер, хороший свежий ветерок. Небо цвета индиго, испещренное белыми барашками, синее море и лед; не говорите, что лед похож на нефрит или кристаллы хрусталя, скажите лучше, неумеренно восхваляя камень и кристаллы, что они так прекрасны, что

похожи на лед. Лед — это абсолютное. Мы плыли среди льдов, пока не оказались с подветренной стороны Свартенхука.

Здесь мы увидели моржа. Некоторое время болтались вокруг него, пытаясь приблизиться на расстояние выстрела, но тщетно. Направились дальше.

Примерно в пятидесяти милях к северу от южного берега Свартенхука характер местности изменился. Вдоль берега идут низкие закругленные скалы, за ними расстилаются луга. По мере продвижения на север скалы понижаются и сменяются обширными сланцевыми или травянистыми равнинами. Расстояния здесь огромные, масштабы грандиозны, страна велика и однообразна. Таково было обрамление порта, в который мы прибыли в час ночи, — Сёнре-Упернивик.

Все поселения на краю света привлекают к себе искателей приключений. К сожалению, я только краем уха слышал фантастические истории о Клеемане. Фамилию свою — кажется, это установило германское правительство — он получил по документам, вынутым из кармана немца, убитого в Шлезвиге или во время франко-прусской войны. Он утверждал, что происходит от великих предков.

— Этот человек, — сказал он как-то, указывая на портрет Пастера, — мой дядя. (Может быть, дед или дядя матери — я точно не помню.)

Как бы то ни было, Клееман попал в Гренландию, получил там должность, женился, у него родился сын; здесь он и умер. Клееман-сын был королем порта, в который мы прибыли в ту ночь. Он выехал в гребной лодке нам навстречу.

Это был тихий человек, добродушный и несколько беспомощный. Позже, у него в доме, во время игры на скрипке под аккомпанемент гармонии сына, он показался нам старым итальянским шарманщиком, находящимся в стесненных обстоятельствах. Ребенок, игравший на гармонии, бледный голубоглазый пепельный блондин, маленького для своих лет роста. Он сидел, свесив ножки, охваченный ремнем большой гармонии, и играл с уверенностью и искусством умелого взрослого гармониста. Мне кажется, что мы никогда не забудем это очаровательное детское лицо, не забудем, как он играл и его улыбку, когда временами он поднимал глаза и встречался с нами взглядом. Это было трогательное до слез зрелище: грустный старик полукровка со скрипкой и его голубоглазый сын. На всей семье, на

доме лежал отпечаток грусти. Казалось, все их существование напрасно, безнадежно. К нам они были очень добры.

Весь поселок имел заброшенный вид: мы удивлялись, как здесь люди ухитряются существовать. Им с трудом удавалось это. Большинство из них было одето в лохмотья и жило в жалких хижинах с земляными стенами. Здесь мы увидели нищих, в других местах Гренландии я их не встречал. У поселка дурная слава. Жители запирают двери. Удивительно, чем тут может вор поживиться? И все же, несмотря на дурную славу и грязь, поселок нам понравился — в нем жил Клееман. Пообещав побывать здесь еще раз, на следующий день мы отплыли дальше, на север.

Севернее Сёнре-Упернивика характер побережья изменяется еще больше. Низкие закругленные скалы вырастают, становятся громадными, холмы превращаются в горы.

— Как красиво! — говорил нам экипаж, глядя на них.

— Как красиво! — вторили мы.

— Как красиво! — воскликнул бы и житель русских степей или аргентинских пампасов, и тирольский или тибетский горец. Вид гор всегда вызывает восторг. Вертикаль — вот что важно для человека.

Мы не только продукт окружающей среды — земли, воды, воздуха, климата, пищи, но в более глубоком смысле некоего космического принципа, господствующего везде и во всем. Мы из плоти и крови — такими нас сделала земная жизнь. Наши чувства — продукт эстетики нашего мира; по образу мыслей мы искатели разумных оснований. «Великие дела свершаются, когда люди и горы встречаются».^[38] Хотел бы я найти этому разумное обоснование, знать, почему это так. (Господи, да что же это! Почему это? Почему то? Почему океан мокрый или плоский? Почему...) Океан плоский, потому что вода стремится к низшему уровню, а так как она жидкая, то опускается до него. Все существующее, неодушевленное и живое, имеет ту же тенденцию. «Пустынная и плоская равнина!» Озимандия^[39] — смерть, забвение, конец и закон всего.

Эволюцию органической жизни на земле можно определить как стремление достигнуть вертикального положения в противовес неумолимому давлению силы тяжести. Сиди прямо, говорим мы ребенку; встань, стой прямо; будь прям в жизни. Категориями вертикальности мы выражаем похвалу: возвышенный ум, глубокая

мысль, высокая цель. И, наоборот, мы восхваляем горы теми же словами, что и королей: великие, благородные, блистательные, великолепные. Мы поселили бога на небесах. Наши шпили и башенки устремляются ввысь. Божьи горы трогают нас. Хоть бы наши растрогали бога!

Божьи горы области Уманак, скалы и горы немного к северу от $72^{\circ}10'$ — севернее мне не приходилось бывать — заслуживают того, чтобы совершать паломничество к ним. Почему люди в наш безбожный век не поклоняются горам? Мы в эти дни, проведенные на севере, поклонялись им.

Впечатление подавленности от гор вызывается нежностью, испытываемой к изредка встречающимся среди них маленьким людским поселениям. Если они хоть немного оправдывают наши ожидания, просто кажутся обещающими приют, тепло и домашний уют, наше благодарное воображение наделяет их всеми низменными достоинствами комфорта. И те, кто строили там свои дома, искали того же, чего ищем мы: пристанища, укромного места, может быть, укрытия от безмерности окружения.

Вечером, совершив за день длинный переход, мы приблизились к Тасиусаку. Дул крепкий холодный ветер. Мы прошли на лодке через узкие с крутыми стенами «ворота» и стали на якорь в тихой бухте, полностью защищенной от ветра и волн, будто это было лесное озерко. Мы нуждались в пристанище и нашли его здесь. Штормовая погода задержала нас на несколько дней в Тасиусаке. Нам так здесь понравилось, что мы разбили лагерь на незащищенном, обдуваемом ветром высоком месте, чтобы любоваться этим уголком.

Нам посчастливилось попасть в одно очаровательное место, оно находилось в самой северной точке нашего путешествия. Мы пристали к берегу, чтобы навестить передовую партию американской экспедиции, которая там зимовала. Зашли в гости, как мы полагали, к незнакомым, а встретили старого друга — Шмелинга, из Энн-Арбора. Лагерь находился в большой долине между двумя фьордами, которые были видны с гребня перевала. Прямо против лагеря на противоположной стороне южного фьорда простирался широкий ледник; его ледяные обрывы и складчатая поверхность в этот солнечный день были ослепительны. Очаровательное место; но упаси меня боже от здешних ноябрьских штормов.

На обратном пути, в Краульсхавне, находящемся в пяти часах пути на юг от зимовки экспедиции, мы провели два дня, плененные штормом. Мы попытались выйти в море, но едва покинули гавань, как на нас налетел снежный шквал. Задрав хвост, помчались обратно. На следующий день погода была такая ясная, что ее стоило ожидать.

Северный пейзаж освещен под очень малым углом. Вследствие этого формы рельефа особенно выпуклы, тени от предметов удлинены. Но, кроме свойственного северному пейзажу сурового величия, кроме контраста между плоской океанской равниной и вздымающимися ввысь горами, он обладает еще одной особенностью, которая волнует. Эта особенность — лед. Представьте себе горы и вид на море: осень, ясный день, время после полудня; синее море, земля золотисто-пурпурного оттенка, бледное низкое небо от пурпурного до золотистого, от бледного до ярко-красного. И вот в этот вид, как сноп солнечного света в освещенную лампой комнату, как скрипки и флейты в басовые звуки, врезается лед, воздушно чистый, ясный, резкий, такой ослепительный, что больно смотреть. Бледное небо кажется темным; море, небо и земля теперь в одной низкой тональности, на фоне которой поет пронзительная белизна.

На юго-западе острова Кугдлеркорсуит, на расстоянии короткого дневного перехода к югу от Краульсхавна, находится горная вершина идеальной, пирамидальной формы, к которой, как мы думаем, горы стремятся. По другую сторону маленького залива у подножия этой красивой горы на низком мысе мы разбили лагерь. Выгрузили на берег палатку, спальные мешки, немного кухонной утвари, провизии, мои краски и холсты. К счастью, мы по небрежности не запаслись в Краульсхавне керосином и отослали лодку назад, на север. Час спустя палатка уже стояла, выстиранное белье висело на веревке, все в лагере было приведено в порядок. Френсис сидела на солнце, а я писал на берегу. Можно было бы подумать, что мы здесь живем с начала лета.

Палатку поставили на ровном мшистом участке земли между уступами. Рядом была дождевая лужа, в которой мы умывались, холодный чистый родник, из которого пили, напротив горная вершина, на которую мы любовались; светило солнце, согревая нас. Солнце? Пока мы радовались ему, от горы надвинулась тень, подул холодный ветер. Как приятно было в палатке! Тепло от примуса, горячая еда. Вечером небо затянуло облаками.

Следующий день предвещал бурю: темные холмы выделялись на фоне бледного лимонно-желтого неба; над полосой света низко нависали тучи. Только я начал работать, как налетел порыв ветра с дождем. Во второй половине дня шел ровный дождь, дул крепкий ветер, к ночи перешедший в штормовой.

В гренландских условиях колышки для палаток почти бесполезны. Уступы скал и каменистая почва не подходят для них. Камни попадаются здесь в изобилии: они служат якорями для растяжек и грузом, который наваливают на полотнище пола. В ожидании шторма мы к ночи наложили на полотнище, должно быть, с полтонны камней. Я сложил свои холсты в клетку лицевой стороной кверху, чтобы дождевая вода стекала с написанных на них горных склонов. Если картины портятся от дождя и солнца, то лучше выяснить это сразу. Надежно закрепив все, мы сидели около примуса, с ревом извергавшего тепло, и ждали. Ух, и дуло же! Легкий брезент хлопал так, как будто он вот-вот разорвется на клочки. Давление северо-восточного ветра на заостренный верх палатки было просто невероятно. Шест согнулся, как тетива лука, и треснул. Палатка рухнула. Я едва успел погасить примус. Кое-как подпер брезент и соединил обломки шеста палкой. Мы подняли палатку и закрепили ее. Натаскали еще камней. Закончив эту работу, легли одетые в ожидании самого худшего. Оно наступило.

Примерно в час ночи ветер, не утихая, переменялся на юго-западный. «Ну, пусть дует, — подумал я, — хуже не будет». Шум стоял оглушительный: к хлопанию брезента прибавился рев прибоя. Мы так устали, что, несмотря на это, уснули.

Что-то случилось! Придя в себя, я увидел, что Френсис поддерживает упавший на нас брезент, с которого стекает вода. Сломался другой шест. Буря была в самом разгаре; дул штормовой ветер, дождь лил сплошной стеной. Надо вставать, браться за дело! Я соединил палкой обломки шеста, натянул растяжки, приволок еще полтонны камней. Исправив повреждения, я снял промокшую одежду, после чего теплый спальный мешок из оленьих шкур показался мне раем. К десяти утра буря утихла.

В семь часов вечера за нами пришла моторка. Был сильный прибой, и моторка остановилась вдали от берега. Петер на маленьком ялике попытался пристать, но безуспешно. В конце концов мы перенесли свое снаряжение на уступ, возвышавшийся фута на три над

водой. Отсюда, в тот момент, когда набегавшая волна подбрасывала ялик, мы закидывали в него вещи и так постепенно перебирались на борт. Нас постигла только одна небольшая неудача. Нужно было всего несколько секунд, чтобы уложить холсты поперек носовой части ялика. Слишком долго. Через мгновение ялик уже кружился в водовороте вспененной воды, а холсты плавали в море. Мы спасали холсты, а Петер лодку. Хороший тон и, может быть, настоящее искусство требуют, чтобы на полотнах, представленных на выставке, не было видно следов перенесенных испытаний.

VIII

Упадок и падение

Колония Упернивик лежит на оконечности маленького острова, находящегося неподалеку от берега. Она начинается от бухты, расположенной по одну сторону скалистого мыса, и тянется рядом домов, разбросанных примерно на протяжении полумили, до лавки и жилых домов администрации, выстроенных по другую сторону мыса. Над поселком возвышается церковь. Она стоит на склоне холма, и кажется, что это епископ в ризе и митре взирает сверху на свою жалкую приниженную нищую паству. Дом доктора, большое изукрашенное, как будто выпиленное лобзиком здание в псевдонорвежском стиле, по своему великолепию уступает только церкви. Затем идет хороший старый господский дом управляющего, потом основательные дома его помощника и священника и, наконец, больница. Это легкая, разборная постройка, купленная в подержанном виде на угольной шахте. Большие дома докторов, маленькие больницы. Доктора, кстати сказать, не виноваты в этом.

На маленьком скалистом выступе в порту стоят два памятника. Ими отмечена «крайняя северная точка», которой в свое время достигли датский премьер-министр Стаунинг и посол США в Дании мистрисс Оуэн. На дальнем севере воздвигнут гранитный монумент Пири, а около Сёнре-Упернивика — монумент в честь датского короля, по повелению которого здесь были спасены пассажиры и экипаж судна, потерпевшего кораблекрушение. В Гренландии много памятников. Одни поставлены в память благородных людей, другие увековечивают какие-то человеческие деяния. И есть в Упернивике памятник исключительной любви одного из управляющих колонией к своему народу. Это зал для танцев.

Лембке-Отто, пользующийся общей любовью, бессменный управляющий Упернивиком, собрался уезжать из Гренландии. Он провел там немало — полжизни! Еще полжизни предстояло ему прожить. Дания, родина, раскрывала ему свои объятия.

— Да, — с грустью сказал он мне, — хорошо уехать туда.

Упаковывали вещи; жена его объезжала все поселки, нанося прощальные визиты. Дочь была дома — хорошенькая, белокурая девушка, только что приехавшая из Дании, забавно выглядевшая в гренландской обстановке в модном европейском платье и туфлях из белой замши на высоких каблуках. Мы должны были встретиться с ними снова на борту парохода, который доставит их на родину. Милый хозяин, хороший добрый человек; мы прощались как будто навсегда.

В порту стояла упернивикская шхуна. На ней семья Лембке-Отто собиралась плыть на юг, в порт, где останавливается пароход. Мы договорились там встретиться. Я застал шкипера на борту и попросил его исправить неполадки в двигателе моей моторной лодки. Шкипер был молодой, красивый, синеглазый датчанин, немного странный и очень обидчивый. Он затаил обиду на меня из-за того, что я будто бы не ответил ему на поклон.

— Я решил, — сказал он мне с правдивостью Георга Вашингтона, — что никогда с вами больше не заговорю.

К счастью, я был совершенно неповинен в этом проступке. Мы скоро все выяснили и выпили за примирение пинту шнапса. «Хорошо, — думал я потом, — что мы уладили это дело».

Вечером я пошел на танцы. В дверях стояла толпа, зал был переполнен. Я сел на траву, вытащил коробку сигарет, угостил окружающих, закурил. Из дверей танцевального зала вышел молодой человек и направился ко мне.

— Дайте мне сигарету, — потребовал он, — ну!

Это было сказано нагло, тоном приказа. Я отказал. Парень некоторое время сыпал угрозы, потом оставил меня и присоединился к толпе. Я докурил сигарету, бросил окурочек; теперь можно пойти потанцевать.

Толпа в дверях расступилась, пропуская меня. Мой «приятель», как я заметил, шел за мной. На танцах все девушки обычно стоят спиной к стенке: можешь выбирать любую. Я так и сделал — протянул руку, приглашая одну из них, как вдруг — бах! — меня толкнули плечом. Я отлетел в сторону, а парень сгреб девушку. Мне следовало бы не связываться. Но нет, я рассердился. Когда танец окончился и этот нахал возвратился на место, я поднажал на него плечом и освободил его от девушки. Мне показалось, что это было сделано довольно чисто, я вышел из столкновения с добычей, с девушкой, и мы начали танец.

Этот болван опять налетел на меня в боевом настроении. Не выпуская рук девушки, я толкнул его плечом, когда он был в неустойчивом положении. Парень, шатаясь, отлетел назад ярда на два и ударился о стенку. Затем напал снова, схватил девушку и стал тащить ее к себе. Я бросил борьбу и вышел вон.

В дверях стоял экипаж моей лодки: Гендрик, Петер, Кнуд.

— Если бы дело зашло дальше, — сказал Кнуд, — мы бы все приняли участие.

— Неужели?

— Имака, — как говорят по-гренландски, — может быть.

Но что было бы, если бы они приняли участие в столкновении? Я видал, как Кнуд мерился силой в поднятии тяжести и перетягивании, он побил всех силачей одного за другим. Гендрик, несомненно, был еще сильнее. Я мог бы смело держать пари за своих трех мушкетеров против упернивикского сброда. Но в Гренландии джентльмены не дерутся.

Гавань Прёвен находится на расстоянии хорошего дневного перехода на юг от Упернивика, это узкий проход между двумя островами. Каждую осень в проход сотнями заходят белухи, но немногим удается уйти. Это ловушка для китов. Руководил ее ловом Дросвей, датский поэт. Начальником торгового пункта в тридцать втором году был Николайесенс, поклонник американского искусства — своей жены. Этот Прёвен — арктические Афины.

Несколько лет назад я познакомился на борту парохода с одним джентльменом, американским датчанином, который пожаловался мне:

— Моя дочь, сэр, сделала ужасную вещь. Она вышла замуж и поселилась в Гренландии.

Эта женщина «с извращенными вкусами» оказалась в Прёвене, ей там нравилось. И кого еще вы думаете я нашел в Прёвене? Моего старого друга, ее взволнованного родителя, приехавшего сюда умолять их вернуться.

— Я предлагал этому молодому человеку хорошее место, с вдвое большим окладом, чем он получает, — рассказывал мне старый друг при первой встрече, — но они не хотят уезжать.

— Ну, как? Теперь они поедут? — спросил я его в Прёвене.

— Кто поедет? Куда? — ответил он в изумлении. — Что вы, да я сам бы ни за что не уехал отсюда, если б мог остаться. Это

превосходное место, чудеснейшее место, единственное, где стоит жить.

И вот мы оба начали строить планы, как бы нам ухитриться остаться жить здесь, как прокормиться в Гренландии.

— Молоко, вот что, — сказал друг (он торгует молочными продуктами), — китовое молоко.

И после разговора мы чуть не организовали продажу акций одного из самых разумных гигантских предприятий нашего века. «Китовое молоко — пища всего мира», «Дети белухи». В нашу честь закололи откормленного тельца — белуху. Поев, мы отплыли.

Мы покинули горы и бросили якорь в унылом месте — в долине слез. Что-то случилось в Сёнре-Упернивеке? Высадившись, мы сразу почувствовали разлитую повсюду печаль. По дороге к дому Клееман рассказал нам, в чем дело: умирает ребенок, ребенок его дочери.

В дом дочери Виллума Клеемана можно было войти, только очень сильно согнувшись или на четвереньках. Стоять внутри нельзя. Пол, стены из дерна, крыша тоже из дерна, настлана на плетушку из палок. Дом был полон народу, воздух внутри спертый. На нарах жалобно стонал грудной восьмимесячный ребенок. Женщина сгибала и разгибала его ножки. Голова девочки чудовищно распухла, потеряла форму; из одного глаза вытекал гной. Я взглянул и пополз обратно; родители последовали за мной. Мать сама была почти еще девочка, блондинка с белой кожей и синими глазами, болезненного вида, совсем замученная заботами и горем. Муж ее — невозмутимый красивый человек, невысокого роста, темнокожий, черноволосый, настоящий типичный гренландец. Я сказал им, что ребенка нужно немедленно отвезти в больницу в Упернивик. Они начали возражать. Но меня поддержала акушерка, и они уступили.

При отъезде их сопровождала целая процессия. Впереди шел Расмус, высокий крепкий сын Виллума, он нес на подушке ребенка, закутанного в белое. Расмус держал его нежно и шагал осторожно. Рядом с ним шли Виллум и акушерка, одетая в белую форму. Шли они медленно; когда приблизились, кроме шарканья ног, не было слышно ни звука. Расмус, по-прежнему с ребенком на руках, спустился по почти вертикальному трапу в ожидавшую их лодку; его придерживали за плечи, чтобы он не упал. Родители, Виллум и акушерка последовали за ним; гребцы отвезли их на моторную лодку; назад вернулся только

Виллум. Все молча смотрели вдаль до тех пор, пока развевающийся на корме полосатый флаг со звездочками не исчез за изгибом берега.

Френсис и я, устроившись на берегу в палатке, оставили человека сторожить ее — не от людей, от собак, — а сами пошли в дом Виллума. Тут он излил свою несчастную душу, на ней лежало немалое бремя. Виллум потерял место. Клан Клееманов катился вниз.

Несущественно, что убийственный приказ еще не подписан. Против Виллума свидетельствовали его товары, вернее, незаполненные счета, пустые склады. Виллум был обречен, он знал это. Его патетические бессмысленные попытки объяснить мне, в чем дело, только выдавали растерянность и, доказывая его непригодность к этой работе, подтверждали обвинение. Увольнение Виллума было кульминационной точкой многолетнего неумелого управления пунктом. Слабохарактерный начальник не смог предотвратить полного разграбления товаров его собственными детьми. Виллум просил меня замолвить словечко за него управляющему, написать письмо. Я написал. Что толку? Торговля не ведется на сентиментальных началах.

Было уже около полуночи, когда мы покинули бедных стариков и отправились спать в свою палатку. Как стало тихо к ночи! Ни дуновения ветра, ни звука. Иногда в полной тишине, кажется, можно было услышать биение космического пульса.

— Слышишь, — шептали мы, — это далекое биение?

Мы стали взбираться на близлежащий холм и, еще не достигнув вершины, поняли, что это за звук: двигатель. Потом увидели нашу лодку: не прошло и пяти часов, а она уже вернулась. Там, где были полосы и звезды, теперь виднелся крест датского флага, приспущенного до середины флагштока.

Из всех домов вышли жители. Они собрались около пристани и молча смотрели, как подходит и становится на якорь моторка. От берега отчалила лодка, чтобы привезти пассажиров. В нее вошли все те, кто пять часов назад выехали отсюда: молодые родители, акушерка в белом и Расмус, несший на подушке с той же нежной осторожностью закутанного ребенка. Расмуса поддержали на трапе, он вышел на пристань, остановился, открыл лицо девочки, чтобы Виллум мог взглянуть на него. Тогда Виллум взял закутанное тельце на руки и понес его. Длинная процессия медленно, как и раньше, направилась в дом.

Казалось, что прошло всего несколько секунд. Людской поток последовал в дом за Виллумом, несшим ребенка. Расмус пришел за нами.

Люди окружили стулья, на которых лежала мертвая девочка. Ее одели в красивую одежду. На ней были ползунки из небеленого муслина с завязанным на шее ярко-красным бантом; крохотные ножки были обуты в камики. Она как будто спала, закрыв глаза. Длинные черные ресницы касались щек: милый, необычайно красивый ребенок.

— Как она хороша! — сказал я тихо.

— Да, — прошептали в ответ.

Кто-то принес кусок муслина. Мы подняли ребенка, положили его на муслин. Завернули ноги в материю, накрыли тельце, зашили трупик в муслин. Расмус поднял его и в полном молчании понес к грубой каменной покойницкой на холме. Родители ребенка шли рядом. Оба были спокойны, мать, которую, казалось, сломило горе, отец, шедший с небрежным видом, засунув руки в карманы.

Покойницкая сложена из неотесанных камней, без раствора — сырая, темная дыра. В ней стояло два грубых стола, приделанных к стенам. На полу валялись стружки, здесь сколачивали гробы. Один из столов очистили, и Расмус положил на него сверток. Вскоре все вышли, задержался только один человек, чтобы закрыть дверь и подпереть ее ломом.

Мы отплыли утром, в девять часов. Через шесть часов после нашего отъезда прибыл губернатор, и жизнь Виллума как начальника торгового пункта окончилась.

IX

Война

Рисую и пишу, пишу непрерывно. Гоняюсь за красотой, растерянный, сбитый с толку ее изобилием. С жадностью пытаюсь впитать в себя за один короткий год столько красоты, чтобы ее хватило наполнить восторгом целую жизнь. С таким же успехом, вращая калейдоскоп, можно надеяться исчерпать все его комбинации за день. Я упоминаю о живописи, чтоб показать, чем было заполнено время, а не для того, чтобы распространяться на эту тему. Разговоры об искусстве — вот уж поистине извращение наших наклонностей. Мы путешествовали по фьордам, разбивали лагерь там, где нам нравилось, и работали.

Отправляясь на поиски новых пейзажей, мы старались уйти подальше от киносъёмочной группы, которая своими палатками, самолетами, моторными лодками и столами для игры в пинг-понг, поставленными на прибрежном песке, покрыла наш район, подобно саранче.

— Ваше пребывание здесь, — сказал я как-то нескольким членам группы, — мешает моей работе примерно так же, как я бы мешал вашей, постоянно влезая в поле зрения аппарата во время съёмки кино.

Бессмысленно большое количество народу, многочисленные лишние люди, болтающиеся без дела, превращение ночи в день, спанье, пьянство, обжорство, громкие ссоры, тошнотворное зрелище зря израсходованных денег, попусту потраченного времени — это было похоже на затянувшийся кутеж с дебошем.

Местные жители за всем наблюдали, все замечали. Они видели, как начальник торгового пункта валялся в канаве и чуть ли не лаял. Они видели, как пьяные, едва держащиеся на ногах белые стараются заехать друг другу в морду кулаком, слышали визг и ругань белых женщин. Их дети подглядывали в палатки и видели, как белые спят со своими женщинами. Они замечали все: они окрестили одну женщину «адлискутак» — «матрац».

Уважение к закону? Люди, которым запрещено даже хранить керосин в пределах поселка, видели, как газолин ввозят на грузовиках и

хранят в запретных местах, видели, как их воинственный начальник торгового пункта и губернатор не замечали больших газолиновых ламп и примусов, которыми освещался и отоплялся чердак церкви, общежитие киношников. Они пили киршвассер на чердаке, освещенном светом ламп. Должен признаться, это меня уязвило. Я с трудом ухитрялся в долгие темные зимние дни и вечера рисовать при свете лампы, заправленной тюленьим жиром. Жители поселка впитывали все это; они все понимали. Развращающее влияние? Нет. Не так просто изменить старые обычаи народа, которые у него в крови, — старый образ мышления, старые привычные манеры, веками складывающуюся мораль. Но вот что они о нас думают — это другое дело.

Вспомним о танцевальном зале, раз мы уже затронули тему пожарной опасности. Опасны ли для старой развалины из дерна, расположенной в пятнадцати шагах, две свечи, горящие в танцевальном зале? Очевидно, да, если учесть, что решение этого вопроса требовало такого глубокого и тщательного предварительного разбора. Дело от начальника торгового пункта перешло к губернатору, а теперь находилось на рассмотрении у директора Гренландского управления в Копенгагене. А в это время пьяная компания жгла керосин и газолин на захламленном церковном чердаке. Закон, видимо, был отменен; теперь я надеялся, что простой здравый смысл сможет восторжествовать. Но прошел август, а решение еще не принято. Тем временем — тогда мы еще не собирались уезжать — был заказан в Уманак пиленый лес. 6 сентября пришла шхуна и привезла лес для строительства здания, товары для лавки, почту, но ни слова не привезла о танцевальном зале. Сентябрь! Через три недели мы отбываем.

Шкипер шхуны был, надеюсь, моим другом. Во всяком случае, он постоянно переходил из одной враждующей крепости в другую, и что бы он там ни сообщал Троллеману, но мне он принес такую новость: Троллеман сказал ему, что не допустит строительства танцевального зала.

— Стройте здание на холме, — сказал Ольсен, смеясь. — Это единственное место, где вам позволят строить. Имейте в виду, я знаю это.

Я тоже знал это. Шхуна простояла у нас двое суток. Затем днем, в четыре часа, отплыла в Нугсуак, из Нугсуака она должна была

проследовать в Уманак, потом через несколько дней снова вернуться в Игдлорсуит. На шхуне уехали Троллеманы.

— Ну-ка, Гендрик, Петер, Кнуд, приведите все в порядок на моторке, заправьте баки. Выходим завтра в Уманак.

День был скверный; мы выехали. Через два часа начался сильный ветер, поднялось большое волнение. Мы трусливо повернули назад. Спустя три часа, невзирая на предупреждения всех мудрецов, снова вышли в море и в десять часов вечера были уже в Уманаке. Я отправился прямо к управляющему.

— Да, — сказал управляющий, — я об этом слышал. Я не собирался писать. Нет, директор заявил, что вы не имеете права. Закон, знаете ли, нет двадцати шагов расстояния. — Он весело засмеялся — такая у него была привычка. — Нет, нет, там нельзя.

Он снова засмеялся. Меня взорвало.

— Мне хочется понять все правильно, я здесь чужой и хочу разобраться, как делаются дела в Гренландии, — сказал я. — Вы называете эту развалюшку зданием? Тогда почему вплотную к ней стоят два частных дома? Вы позволили построить частный дом на том месте, где мы сейчас хотим поставить свой, он простоял там несколько лет. Но наше коммунальное сооружение там строить нельзя. Почему? Объясните мне только, почему. Что же это за закон? Вы беспорядочно застроили самый лучший участок во всем поселке, бессмысленно расползлись по всему этому месту. Кто строил поселок? Чей он в конце концов? Почему жители не могут получить приличный участок для постройки своего дома? Ах! Опасность пожара! Вы меня насмешили. Вы позволяете пьяной компании баловаться в церкви взрывчатыми веществами, жить, готовить, жечь керосин на чердаке, загроможденном разными вещами. Ах, они немцы! Теперь я понял. А остальные, местные жители, они всего лишь гренландцы. Вы только скажите мне: я верно понял?

— Да, да, совершенно верно, — управляющий весело смеялся.

— И вы понимаете, — продолжал я орать (думаю, что он едва ли понимал хоть одно слово из всего этого), — что вся администрация бессмысленно держит сторону этого полусумасшедшего Троллемана? Что вы не только не помогаете общественному начинанию, но и всеми возможными способами тормозите его! Это тоже верно?

— Да, да, это так. — Не в состоянии сдержать свой восторг, он смеялся.

— Тогда где же мы можем построить этот дом?

— Где угодно, мистер Кент, если участок удален на двадцать метров от наших зданий.

— Если я отодвину его *ровно* на двадцать метров, то там мы можем строить?

— Да, конечно.

— Хорошо, мы его там и построим.

Я попросил управляющего дать мне плотника, он сразу же согласился дать его на время.

— И я возьму с вас, — сказал он, — только то, что мы сами должны ему заплатить.

За это спасибо управляющему. Наконец-то хоть один человек нам помог.

Х

За задернутыми занавесками

Мы раньше Троллемана прибыли в Уманак; нам предстояло до его возвращения очень многое сделать. Никто не сомневался, что он попытается нам помешать. На нашей стороне, наконец, был закон; на его же — пока еще власть. Мы отплыли на следующее утро и к вечеру были дома. И тут — мы давно уже о ней не упоминали — нас ждала Саламина, нас, Кентов, и, чего тогда еще никто не знал, нашего плотника.

До приезда моей жены Саламина пользовалась множеством привилегий, присвоила себе неограниченную власть и купалась в лучах престижа, который хорошо поддерживала. Рассматривая ее привязанность ко мне и как следствие ее фантастическую ревность, я все же вынужден находить эту привязанность слишком инстинктивной, чтобы считать ее корыстной. Ее трогали ласковость, щедрость, заботливость, такие человеческие достоинства, которые могли проявляться во мне по отношению к ней. Их проявлением были материальные и светские преимущества, которые я ей давал. Даже среди нас, романтиков, мы не умеем резко отличить любовь купленную от любви подаренной. Любовь завоевывают. Но как?

До 4 мая Саламина пользовалась в доме почти неограниченной властью, составляющей прерогативу женщины гренландки. Казалось, что можно было бы ожидать проявления неудовольствия перспективой замены ее законной и желанной женой-хозяйкой. Но она не проявила неудовольствия. Саламина была слишком несдержанна в проявлении своих чувств, чтобы скрыть ревность. Она гордилась своим умением вести хозяйство, видела, что я не могу без нее обойтись, и поэтому ни на секунду не сомневалась в том, что и вдвоем мы не обойдемся без нее. В том, что жена моя будет дружественно относиться к ней, Саламина не сомневалась: о моей жене, которую она не знала, она судила по мне. Саламина думала, что будет нашим другом. Кроме того, она надеялась, что Френсис оценит ее неутомимую бдительность, проклятую бдительность.

«Вот, — как бы говорила она, отдавая меня Френсис, — вот берите его. Он причинил мне много беспокойства, но я делала что могла. Теперь посмотрим, что нам удастся сделать вдвоем».

И уж, конечно, она прибегала к Френсис с разными новостями, вроде: «Кинте разговаривает с Амалией на берегу...»

Саламина была женщина добродетельная и с характером. За то, что я давал ей, за то положение, которое я ей создал, она готова была сделать для меня все возможное и невозможное. И она испытывала некоторую горечь, видя, что я недооцениваю этот дар, сделанный от всей души. Май, весна принесли ей свободу.

Саламина, тридцатилетняя вдова с привлекательной внешностью, была не из тех, кто должен всю жизнь сидеть в сторонке. И хотя по своим взглядам она была против второго замужества, ни совесть, ни ум ее не отрицали любви.

Среди профессий, доступных гренландцам по милости датской администрации, одна из наиболее уважаемых — профессия плотника. Это одна из самых почетных, полезных и благородных профессий в мире. Работа формирует человека. Жизнь плотника Енса Ланге началась хорошо: судьба щедро одарила его красивой внешностью, хорошей головой, привлекательностью. Дала ему, смею утверждать, хороший вкус. Он выбрал Саламину.

Очевидно, во время отпуска — мы дали Саламине три недели, чтобы она провела их дома и в Уманаке, — Енс покорила ее. Какой она, должно быть, испытывала восторг, когда мы поехали за плотником. А плотник, она знала, был только один. Итак, Саламина стояла на берегу, встречая нас... и Енса. С этого момента до нашего отъезда на родину дом Маргреты, в котором жила Саламина, стал также домом Енса. Это был единственный гренландский дом с занавесками на окнах. Они их задернули: пусть так и будет.

XI

Танцевальный зал

Веселая толпа собралась рано утром на следующий день, в воскресенье, вокруг пола танцевального зала. Они принесли с собой все лопаты, какие были, лом, молотки, пилы. Они пришли работать.

Первый день. Мы отмерили двадцать шагов от священной реликвии, добавили еще пять по нашей доброй воле, забили кол. От этого кола, как вершины угла, разметили прямоугольник 21x28 футов, забили колышки, натянули веревки. Теперь, землекопы, за работу! Они с охотой взялись за дело. Одни копали, другие таскали камни, несколько человек сколачивали опалубки для бетона. К вечеру опалубки были поставлены на место.

Второй день. На работу вышло много людей. Одни носили камни и песок, другие перелопачивали бетон, третьи укладывали его. К вечеру опалубки были заполнены.

Третий и четвертый день. Снова много народу. Для большинства из них нет работы. Мы сооружаем каркас, отпиливаем концы столбов, подгоняя их по длине, прибаваем балки, делаем в них гнезда. На эту работу ушло два дня.

Пятый день. С самого утра на работу вышло много людей, но и их не хватает. Давай еще, зови всех, зови женщин! Тем временем мы распалубливаем фундамент. Цемент уже затвердел. Теперь берись за платформу пола. Народу было достаточно, чтобы плотно обступить все четыре стороны платформы: пол тяжел. Готово? Подымай! И, как огромный, стоногий краб, платформа поползла на свое место. Подняв ее на высоту плеч, мы осторожно, чтобы не сбить с места болты, опустили платформу так, что болты вошли в отверстия. После такой работы у всех начался страшный припадок кашля: можно было подумать, что они находятся при последнем издыхании. Пиво вылечило кашель. К шести часам вечера каркас был готов, две стороны обшиты досками. Поставили леса для установки стропил. Нет ли признаков возвращения шхуны, возвращения Троллемана? Пока нет.

Шестой день. К вечеру кончили обшивать досками все четыре стороны, соорудили стропила и покрыли большую часть крыши.

Троллемана все нет.

Седьмой день. Собирался дождь. Мы работали как сумасшедшие до восьми часов вечера, вставляли стекла в оконные рамы, покрывали крышу толем, делали и навешивали двери; мы работали как сумасшедшие и закончили дом. И в этот же вечер вернулся Троллеман. Он высадился, направился прямо к себе домой. Позже нам рассказывали в Уманке, как Троллеман, узнав по прибытии туда, что мы затеяли, вел себя как помешанный, шагал взад-вперед словно пойманный зверь, бесновался. Он орал, что остановит строительство, требовал, чтобы его срочно отвезли назад, но никто не обращал на него внимания.

Я сказал, что мы закончили дом. Здание было готово, но еще не выкрашено и не отделано. Архитектурная отделка состояла из флагштока и резного, довольно замысловатого, очень изящного вида завитка, прикрепленного над входом в торцовой стене дома. Но к чему описание? Посмотрите на заставку этой главы. Завиток был белый с серебром, надписи на нем сделаны красными и черными буквами. Дом покрасили в голубой цвет, так решили жители поселка, бордюры в цвет слоновой кости, двустворчатые двери в синий. Внутри в углу соорудили высокое сиденье для гармониста, две длинные скамьи для гостей; сделали, кроме того, перед дверью широкую ступень из бетона. Занялись также архитектурой пейзажа: выкопали глубокую канаву для отвода воды от дома и перекинули через канаву красивый мостик. Потом, отступив несколько шагов назад, полюбовались домом.

Дом получился красивый. Поселок был горд, как Юстина в своем рождественском платье.

XII

Живые существа

Получив приглашение ехать на юг на одном из комфортабельных катеров Датского геодезического института, мы отменили свою поездку на упернивикской шхуне. Это избавляло ее от захода в Игдлорсуит. Мы же могли ехать до Годхавна в обществе старого друга Януса Серенсена, а с Лембке-Отто нам все равно потом предстояло увидеться. Катера должны были отплыть из Уманака 1 октября. Оставалось так мало времени, а столько еще нужно было сделать! Слава богу, что у нас было столько дел.

Приятно думать о возвращении на родину. Господи, иногда мне кажется, что все мои странствования затеваются только для того, чтобы Америка, ее горы, ее скалы и ручейки, несмотря на многое другое, была мне еще дороже. Мы любили Америку не меньше от того, что так полюбили Гренландию.

Разве, веря в жизнь на том свете, верующие не цепляются крепко за свою жизнь на земле? И если бы это было возможно, то разве друзья наши, умирая, не обещали бы вернуться назад?

«Мы увидимся снова» — так думают верующие.

— Мы увидимся снова, — говорили мы нашим гренландским друзьям, — мы еще вернемся.

Но они сомневались в этом; Саламина плакала.

— Может быть, нам лучше лишиться себя жизни, — грустно сказал Мартин.

— С тех пор как умер Исаак, вы для меня как родной отец, — сказал Абрахам.

— Вы для нас всех как отец и мать, — говорили Рудольф, Ионас, Петер, Кнуд.

Все это не облегчило расставания. Вы, наверное, знаете, как трудно расставаться с дорогими друзьями и чувствовать, что это навсегда. У нас такие расставания бывают только с умирающими. Наш мир, Европа, Америка, тесен, люди потоками текут с одного континента на другой. Мы встретимся снова, мы можем снова встретиться: это лишает трагического оттенка всякое расставание. В Гренландии —

другое дело. Для гренландцев Гренландия — весь мир. Мы для них как будто свалились с Марса. Приезжаем, живем недолгое время, нас начинают любить, мы становимся здесь нужны и уезжаем — как будто снова на Марс — навсегда.

Мы сами не знали, вернемся ли снова сюда, и не потому, что Гренландия далеко, что туда невозможно снова приехать. Гренландия — закрытая страна: туда нельзя приехать. Калитку чуть-чуть приоткрывают, вы предъявляете паспорт, в котором указаны цель поездки, срок. Все в порядке: для этой цели и на этот срок вас выпускают. Посетить Гренландию вторично ради свидания с любимыми друзьями? С точки зрения администрации, любовь — не мотив для поездки. Но все-таки я опять здесь, я пишу эту книгу в Гренландии.

— Я писал директору, — сказал мне Абрахам, — что вы нам нужны.

Так легко и так добродетельно предаваться сентиментальным рассуждениям о бедных, а в Гренландии расточать льстивые похвалы простым гренландцам. Вы словно «батюшка» краснеете от гордости, расплываетесь от удовольствия, добившись благодарности и признательности гренландцев. Вы добились этого мелкими подачками. Восхваляя гренландцев, вы возгордились. Такие ощущения для меня не новы, я сам жертва их, и мне это нравится. Пусть признание избавит меня от сантиментов и позволит мне выступить с беспристрастной оценкой этих человеческих существ — продуктов грубой, холодной, суровой окружающей среды.

Сейчас было бы просто глупо цепляться за осмеянную догму нашей Декларации независимости, что «все люди одинаковы». На самом деле это не так, и мы это знаем. Но, следуя по пятам за этим утратившим всякое уважение величественным жестом демократии, та же мысль в наше время выступает в новой форме: все расы одинаковы. Я подтверждаю это. Но ко все усиливающемуся голосу общего мнения в Америке, что негры не хуже нас, хочу добавить еще наше мнение, составленное в Игдлорсуите: мы — говорится это в похвалу нам — похожи на гренландцев. По всем признакам, по смеху и слезам эскимосов, по тому, что вызывает у них смех и слезы, по тому, что они любят, и по тому, как они любят, по всем духовным качествам, проявляющимся в интимном общении с нами, — люди эти точно такие же, как и мы.

Но, давая эту продуманную оценку, я должен ясно сказать, что, слабо зная их язык, мы могли судить обо всем только качественно. В наших разговорах, даже выходящих за рамки обыденных, мы были вынуждены пользоваться детски простыми выражениями, исключавшими обмен сколько-нибудь тонкими оттенками мысли. Я поэтому не знаю, свойственна ли им интеллектуальная тонкость. Могло ли хорошее знание эскимосского языка как предпосылка для серьезного времяпрепровождения в их обществе открыть перед нами область общих интересов? Я говорю о них, как о друзьях, но нам очень не хватало дружеских бесед.

Беседа жизненно необходима для дружбы, она питает и укрепляет ее, так как в беседе обнаруживается общность интересов. Но дружба не рождается из разговоров. Они лишь помогают проявиться чувствам и характеру человека, образующим основу дружбы. Нас до глубины души трогали чувства гренландцев, а характеры многих из них оставили в наших сердцах неизгладимое впечатление.

К уже известным фактам, свидетельствующим о редкой восприимчивости Саламины и чувствительности Мартина, я могу добавить, что вкус гренландцев в подборе цветов, их восприятие музыки (сейчас они пользуются нашими гаммами), их пища (если отвлечься от предрассудков, относящихся к ее виду и происхождению), их понятие о том, что хорошо пахнет и что приятно на ощупь, — все это, как у нас. Их спокойные голоса, приятные бесшумные движения, миролюбие говорят о тонкости натуры, которой мы можем только позавидовать. Мирная обстановка должна порождать спокойствие; столь прекрасное окружение должно вызывать полную гармонию характера и чувств человека. Природа для жителей Гренландии, я уже говорил об этом, значит больше, чем для нас. Они (мы сами придумали это выражение) — дети природы.

Но другое дело — характер. Он отличен от чувств, дисциплинирует чувства, удерживает в границах беззаботное потворство себе — неприятная обязанность! Я надеялся в этом рассказе о Гренландии избежать чрезмерного подчеркивания трудностей жизни охотника гренландца. Его страна — студеный Север; его стихия — море; его опасности — шторм, лед, случайности охоты, всего этого достаточно, чтобы по спине поползли мурашки. Расписывать их значило бы мелодраматизировать Север и фальсифицировать

бесспорную истину, что для гренландца все это обычные будни. Охотник стойко борется с опасностями, легко переносит лишения. В этом проявляется его характер.

Вылезть из теплой постели — он любит ее, и она у него есть — и, не позавтракав, в темное морозное январское утро, положив каяк на голову, тащить его милую или две по неровному льду до чистой воды, спустить на воду и грести туда, где с первой полоской рассвета могут появиться тюлени; ждать часами, мерзнуть, отмораживать щеки и руки; и делается это не по фабричному гудку, не в точно установленное время и не под присмотром хозяина, а по собственной воле и изо дня в день — вот что формирует характер.

Гренландские охотники — настоящие сильные люди, привыкшие к суровой трудовой жизни, полной лишений. Создание их законов обошлось без вмешательства Ликурга,^[40] их установили условия жизни. Это героический народ, и я рискну заявить, что на стенах домиков из дерна, в которых живут пятнадцать тысяч мирных гренландцев, висит в рамках больше датских королевских дипломов за исключительную храбрость, чем мы можем предъявить медалей конгресса, приходящихся на миллионы людей.

Гренландцы — настоящие люди: они безропотно переносят лишения, ведут трудную жизнь под открытым небом, выполняют тяжелую работу, терпят голод, холод, комаров. То же можем делать и мы.

В горячем цехе на заводе Форда в Детройте работают преимущественно негры: установлено, что они переносят жару лучше белых. В этом, может быть, сказываются расовые различия, а может быть, годы работ на хлопковых плантациях Юга. В экспедиции Пири к Северному полюсу был негр. Когда-то говорили, что эскимосы не долго могут жить в умеренном климате. Это чистый вздор: очень много эскимосов живет в Дании. Широко распространено мнение, будто бы эскимосы не так, как мы, ощущают холод. Вероятно, и это миф. Во всяком случае, их толстые щеки не дают им никаких преимуществ: они обмораживаются быстрее наших худых лиц. И бок о бок с этими чистокровными эскимосами работают «белые гренландцы». Вторые ничуть не лучше первых, но такие же хорошие. Если белый захочет, то может выдержать очень многое. И к тому же с удовольствием. Вы сомневаетесь?

Мой сын, четырнадцатилетний мальчик (я сейчас пишу о событиях 1935 года), в феврале ездил вместе с почтой в Уманак. Они попробовали проехать по одному маршруту, но, натолкнувшись на тонкий лед, избрали другой, проход по суше у начала фьорда Кангердлугсуак. Дорога все время была плохая: на льду, покрытом снегом, они провалились в воду; на берегу лежал глубокий снег, намело большие сугробы. Для перехода по суше в нормальных условиях требовалось от двух до трех часов, у них он занял почти два дня. Они четыре дня добирались до Уманака, проводя две ночи под открытым небом. Стояли самые холодные дни, температура опускалась до -35° и -40° . Два гренландца, вся группа состояла из четырех человек, были одеты в оленьи шкуры. Мальчик не захотел взять свою меховую одежду: «Слишком жарко в ней», — сказал он. Все четверо спали, сидя в палатке на санях сына размером три фута на шесть. Мальчик отморозил нос, все гренландцы отморозили носы и щеки, а один охромел от растяжения связок («подвернул ногу в колене»); сын мой вернулся домой в хорошей форме и очень веселый: «Здорово было!»

Гренландцы не понимают, почему европейцы должны быть богатыми, когда они бедны; почему кто-то владеет кучей вещей, а у других их нет (я пробовал объяснить это, но запутался). Здесь в трудное время тот, кому повезет на охоте, делится мясом со всем поселком. Все получают свою долю, но никто не благодарит за это. Когда я на рождество раздавал на сто долларов подарков, лишь немногие говорили «спасибо», большинство же даже и не помышляло о благодарности. Они знают, что нам это льстит: они искусные льстецы.

Трудно сказать, что думают о нас гренландцы; они скрывают это от европейцев. Они уважают труд, складывание цифр они не считают за труд. И они не понимают, почему утомительный характер «умственного труда» дает человеку право на громадный оклад и привилегию спать на кровати (этого я не пытался объяснить). Им не приходилось видеть, чтобы белый пошевелил хоть пальцем. Они нас не уважают и, думаю, не любят.

Хитрят гренландцы неискусно, примитивно; квалифицированное вымогательство ново для них. Но вот пришли мы, белые; и для очень многих из них мы только добыча. Толстопузые клерки или гусеницы-землемеры, ползающие по их холмам, или пачкуны со своими красками, как мы можем что-нибудь значить для них? Почему они

должны в глубине души уважать нас больше, нежели рабочие уважают балбесов — банкирских сынков? У гренландцев есть своя гордость.

XIII

Прощай, Игдлорсуит!

Хорошо, мистер Троллеман, — сказал я и, взглянув на итог счетов, оплатил их. — А теперь, мистер Троллеман, — ах, это прощание было слаще меда, мы ведь ни разу открыто не скандалили, — теперь, мистер Троллеман, по поводу танцевального зала. Я надеялся, что он будет строиться на средства, собранные по подписке друзьями местных жителей. Но никто не помог. Может быть вы? Не хотите ли внести сколько-нибудь на танцевальный зал?

Никогда я не видел такого внезапного проявления бешенства у человека. Троллеман вскочил, как взбесившаяся собака; он орал на меня, грозил кулаком.

— Я снесу этот танцевальный зал, сотру его с лица земли. Вы увидите, вы увидите.

Смешно было слушать, как он орал.

Я пошел к Абрахаму и рассказал ему об этой угрозе. Он созвал муниципальный совет, пригласив и помощника пастора. Они составили жалобу на имя губернатора. Я увез ее с собой и сдал в канцелярию губернатора, где жалобу подшили в дело, не ответив на нее. Кроме того, в архивном деле теперь хранится наша дарственная запись: жители Игдлорсуита самостоятельно, без всякого надзора со стороны датчан владеют на правах собственности этим домом.

В тот вечер муниципальный совет устроил официальное открытие танцевального зала: кафемик в нашу честь. Здание, которое казалось нам таким большим, было переполнено. Толпа расступилась перед нами у входа. Мы прошли на середину, где было оставлено для нас свободное место. Здесь стояли два стула, столик, покрытый белой скатертью, на ней две чашки с блюдами. Когда кончили пить кофе, люди окружили нас; на мгновение все затихло. Затем запел хор; дирижировал помощник пастора Самуэль. Трудно было сдержать слезы. Пение затихло, и Самуэль обратился к нам с речью.

— Сегодня, — сказал он, — мы приветствуем Кента с его женой и благодарим их за большой дар. Мы сожалеем, что у нас не было времени подготовиться. Ясно, что мы не можем отблагодарить их за

этот бесценный дар: во всей Северной Гренландии нет лучшего танцевального зала, даже в тех местах, где люди живут лучше нас. Этот дом принадлежит нам. Сегодня мы чувствуем, что этот дом, красивый дорогой дом принадлежит нам, и мы за это очень благодарны. Мы будем помнить Кента и его жену до тех пор, пока этот дом будет стоять, и будем испытывать благодарность за чудесный дар. Жители из других поселков, не знакомые с Кентом, увидят, как он любит Игдлорсуит. Мы глубоко признательны Кенту за подарки, пиры, за помощь бедным. Множество людей благодарно Кенту. Теперь Кент с женой отбывают на родину, и мы желаем им счастливого благополучного путешествия. Жители Игдлорсуита будут долго помнить Кента. Его дар, стоящий посреди поселка, будет напоминать нам о нем.

Когда Самуэль кончил, собравшиеся пропели псалом. Я встал и произнес речь, поблагодарил их на том жаргоне, который Саламина научилась понимать. Фразу за фразой она переводила мою речь на настоящий эскимосский язык; моя речь в ее переводе была краткой и выражала сущность сказанного.

— Мы, — говорил я, — прожив так долго среди вас, хотим при расставании сказать о той острой глубокой привязанности, которую чувствуем к вам, о том, как сжимается у нас сердце от того, что мы оставляем вас.

Саламина переводила это так:

— Он говорит, что они вас любят.

Я полагал, что после моей речи церемония будет окончена, и так, по-видимому, думали все. Но только-только поднялся шум общего разговора, как вдруг появился Бойе, прорвавшийся сквозь толпу словно разъяренный молодой бык. Бойе стал прямо посередине круга. Люди умолкли. Он заговорил. Речь его была энергичной, пылкой. Его жесты не были жестами пастора, голос звучал не так, как с кафедры. Боже, до чего же он был красив! Худое молодое лицо светилось решимостью. Бойе сказал:

— Много людей путешествует по разным странам, и некоторые из них приезжали и сюда. Но никогда мы не встречали таких иностранцев, как эти, они сделали для нас столько добра, дарили нам столько чудесных подарков. Мы благодарны им всем, но особенно благодарны Кинте и его жене, так как благодаря им были добры к нам другие иностранцы. И сравнивая этих людей с теми, кто приезжал сюда

раньше, мы можем сказать, что доброта их подобна доброте Ганса Эгgede и его жены. Велика наша благодарность им всем, а особенно чете Кинте. Мы никогда не забудем материальных и духовных благ, которые вы принесли нам.

Запись этой речи, переданной мне Бойе, он подписал так: «Сие написал охотник из страны гренландцев, Бойе Малакисен, в Игдлорсуите».

И все снова запели:

«Слава в вышних богу и на земле мир!»

Наутро моросил дождь с серого неба. Мы сидели, прихлебывая кофе, в компании близких друзей, в то время как наши вещи переносили на берег. Помогать пришли решительно все. Двери не закрывались. Люди толпами сновали туда-сюда, носили вещи. Наконец, когда все, что должно было ехать с нами, вынесли из дома, мы стали растерянно бродить по усыпанному мусором дому. Пора! Время отправляться! Давно пора: Кнуд, самый рослый мужчина в поселке, с бородой, как у генерала Гранта, плачет на плече у Френсис, называя ее своей матерью; Мартин и Ионас говорят о самоубийстве; Рудольф, Абрахам жмут мне руки. Можно подумать, что мы прощаемся навеки. Пора! Идем!

Внизу на берегу собрались все жители поселка. Я помню, что мы пожали руки всем, даже грудным детям. Рудольф и Абрахам сели с нами в лодку, на весла. Как только мы вошли на борт, все начали петь. Этого мы уже не могли вынести и расплакались.

Моторная лодка отчалила и направилась вдоль берега. Люди пошли следом за ней, затем взобрались на холм над гаванью. Навсегда сохранятся в нашей памяти фигурки на вершине холма, машущие нам вслед носовыми платками, клубочки дыма и звуки ружейных выстрелов. Прощай, Игдлорсуит!

Два катера Геодезической службы, на одном из которых пассажирами ехали мы, прибыли в Годхавн накануне самого жестокого шторма, какой только помнят в этих местах. Шхуна из Упернивика не пришла в порт. Никто никогда не узнает, что с ней произошло. Кусочек палубной обшивки или чего-то вроде этого, подобранный год спустя, мало что скажет.

Конец.

Послесловие редактора

Вы прочли последнюю страницу этой книги. В вашей памяти еще свежа, да и вряд ли скоро изгладится сцена прощания четы Кентов с друзьями — с милой, скромной Саламиной, обладательницей неиссякаемого запаса душевной щедрости, чувствительным Мартином, чье лицо «как полная луна, улыбка, как восходящее солнце, а слезные железы, как Ниагарский водопад», добродушным гигантом Кнудом, с гостеприимным «маленьким джентльменом» Ионасом и другими персонажами книги. В ваших ушах еще звучат слова благодарственного псалма, которым эти честные труженики славят жизнь, славят мир на земле...

Верится, что книга увлекла вас и красочными описаниями полярной природы, метко, любовно очерченными портретами героев, непринужденностью повествования и тонким юмором. Не потому ли, закрывая ее, испытываешь сожаление, будто ты прощаешься с добрым другом, занимательным собеседником, сердечным человеком, каков и есть на самом деле автор «Саламины».

«Есть удивительные, ясной и радостной души люди, — писал о Рокуэлле Кенте один советский критик, — они идут по жизни, словно не зная будней, каждый новый день для них — праздник труда и торжества. Взмолвленной преданностью всему, что есть хорошего на свете, заполнены их ум, сердце; счастье для них — любить красоту созидательного разума, честных работающих рук».^[41]

Вот эта взволнованная преданность хорошему, любовь к человеку-труженику, характерные для всего творчества Рокуэлла Кента, ярко выступают на страницах «Саламины».

Выдающийся американский художник, самый искренний друг Советской страны, неутомимый борец за мир, демократию, прогресс и взаимопонимание между народами, Рокуэлл Кент в этой книге предстает перед вами как оригинальный писатель-путешественник, писатель-романтик с собственной манерой письма, ясным видением, умением находить, казалось бы, в мелких деталях и незначительных фактах нечто интересное, значимое.^[42]

«Саламина» — вторая книга Рокуэлла Кента о Гренландии. В первой — «Курс N by E» — он рассказал о плавании на крохотном

парусном суденышке из Нью-Йорка к берегам Гренландии, о кораблекрушении и о своем первом знакомстве с природой и людьми острова.

В «Курс N by E», как и в «Саламине», много романтической приподнятости, сочетающейся с простотой и искренностью. Но, прочтя обе книги, вы согласитесь, что «Саламина» написана с большим литературным мастерством: в этой книге шире диапазон авторских наблюдений, местами ярче выписан пейзаж, выразительней характеры действующих лиц.

Вы, конечно, заметили, как тепло, душевно рассказывает Кент об эскимосах, об их обычаях, воззрениях, отношениях между собой и с приезжими. Чувствуется, что автору дороги эти люди, что он восхищается ими. Ведь эскимосы так добры, гостеприимны, добродушны, незлобивы. «Они живут мирно, а мирная жизнь, по моему, и есть счастье. Горькая мысль для нас, американцев, неприемлемая для духа нашего времени», — заключает Рокуэлл Кент.

Он нисколько не идеализирует эскимосов, он описывает их такими, каковы они на самом деле. Что из того, если и среди эскимосов есть хитрецы, которые не упустят случая надуть чужака? Их хитрость своей наивностью часто вызывает у Кента улыбку. Он же знает, что эти хитрецы в любую минуту готовы рисковать жизнью, спасая попавших в беду путешественников. «Вот за такие вещи, — пишет Рокуэлл Кент, — мы должны быть благодарны гренландцам. А чем мы за них отплачиваем? Немного табаку, сигара или две, стаканчик шнапса — и еще думаем, какие мы прекрасные люди». Рокуэлл Кент неоднократно сравнивает гренландцев со своими соотечественниками или с другими представителями так называемого цивилизованного капиталистического мира, и чаще всего сравнения эти не в пользу белых.

Выиграли ли эскимосы от приобщения к капиталистической цивилизации? На этот вопрос Рокуэлл Кент отвечает отрицательно. Однако в «Саламине» нет четкой социальной концепции. Сочувствие автора на стороне уходящего патриархального уклада жизни гренландцев. Рокуэлл Кент не вскрывает до конца исторический смысл наблюдаемых явлений в Гренландии, ошибочно заменяя законы общественного развития законами биологии. Довольно часто на

страницах книги Рокуэллом Кентом высказывается мысль о неизменности человека в различные социальные эпохи.

Ближе Кент к истине в вопросе о влиянии христианства на гренландцев. Что дала им эта религия рабов и бедняков, навязанная европейскими миссионерами?

«...Бог был не слишком добр к гренландцам, — пишет Кент. — Народ, живущий на безлесной, голой полоске суши, окружающей материк льда, тщетно будет разыскивать в священном писании упоминание о материальных благах, которые даровал ему бог. *Присутствие* бога здесь не ощущается. Это делает Евангелие несколько нереальным. Может быть, бог здесь не живет?»

Вы соглашаетесь с Кентом — христианство чуждо эскимосам, и что из того, «если они действительно верят в демонов, троллей, бесов, ведьм, во всю адскую компанию, в которую верят язычники». «И мы, — продолжает Кент, — даже в период расцвета христианства верили во все это. Такая вера противоречит христианской теологии не более, чем богатство — христианской морали».

А как искренне озабочен Рокуэлл Кент судьбой гренландцев! Умный, вдумчивый наблюдатель, он приходит к логическому заключению: капиталистическая цивилизация угрожает свободе гренландцев, их самобытной культуре, их существованию.

Кто же представлял тогда в Гренландии эту цивилизацию? Торговец, агент Королевского датско-гренландского торгового департамента; миссионер, духовный пастырь и «опекун» эскимосов, губернатор со своим чиновничьим аппаратом. Вам они знакомы. Их типичные портреты очень выпукло нарисованы Кентом в «Саламине»: живоглот Троллеман, помощник пастора ханжа Самуэль и безымянный губернатор-бюрократ. На протяжении столетий они представляли цивилизацию белых в Гренландии.

Но с каждым годом заметно растет национальное самосознание эскимосов, их политическая активность. Например, под давлением гренландской общественности датское правительство в 1950 году вынуждено было принять закон о демократизации системы управления Гренландией и некотором расширении прав местных органов самоуправления. И как ни ограничены эти права, они все же дали возможность эскимосам в какой-то степени выражать свою волю, отстаивать свои права. Это заметно проявилось на первых же выборах в

местные органы самоуправления в 1951 году, когда ни один из баллотировавшихся датских чиновников, торговцев и миссионеров не был избран в высший исполнительный орган Гренландии — Национальный совет (ландсрод). Гренландцы, выступающие за проведение экономических и политических реформ, получают поддержку прогрессивных кругов Дании, и особенно Датской коммунистической партии. С их помощью гренландцы добились некоторых изменений в хозяйственной и культурной жизни. Хотя еще в незначительных размерах, но расширяется жилищное строительство. Возросли фонды социального обеспечения: всем детям от 7 до 14 лет выдается ежемесячное пособие. Улучшается здравоохранение. Школа отделена от церкви, изменился характер школьного образования в сторону профессионализации...^[43]

Верится, что труженик эскимос, светлый образ которого увековечен Рокуэллом Кентом на прекрасных полотнах и в книгах, будет подлинным хозяином острова. И конечно же, закрывая книгу, вам хочется пожелать народу Гренландии то же, что пожелал ему Кент в своем предисловии к советскому изданию «Саламины»:

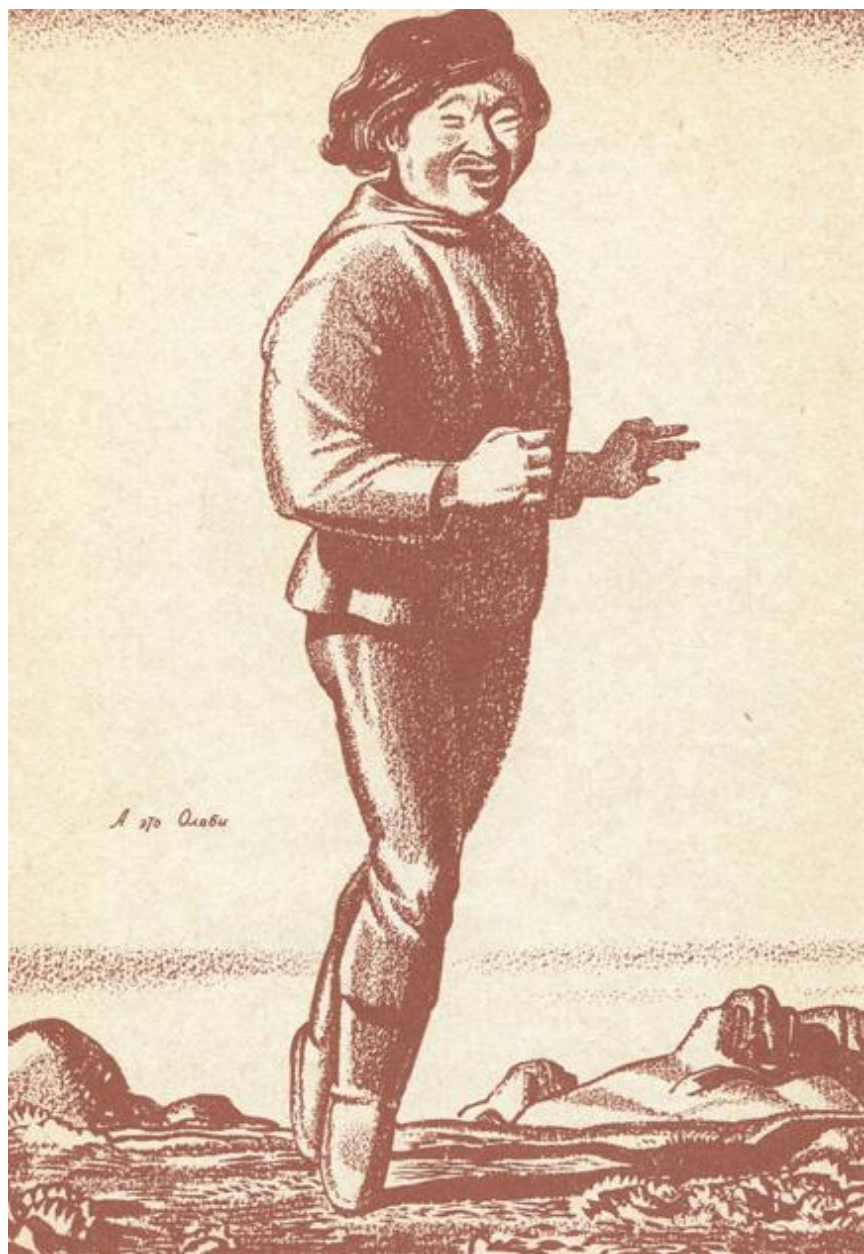
— Да живет он в мире, вовек!

Н. Болотников

Иллюстрации



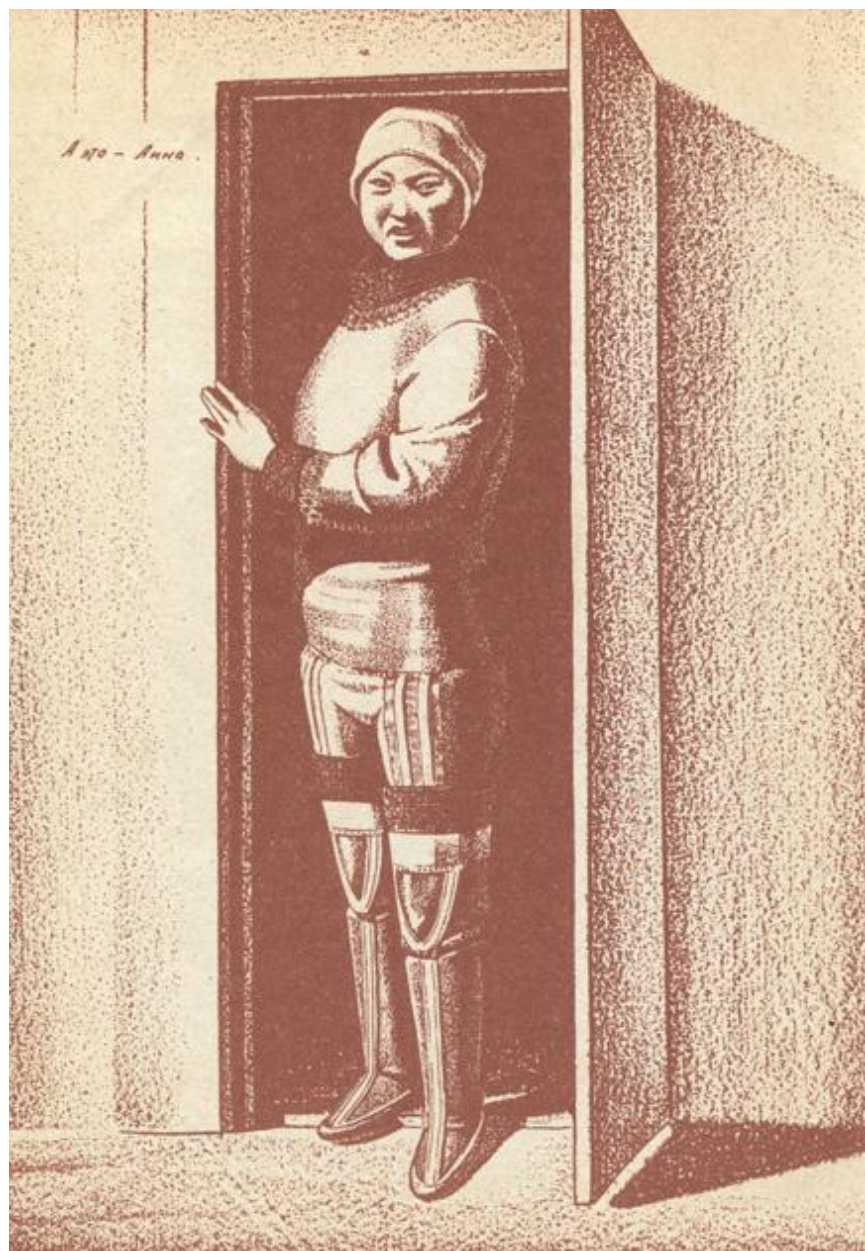
Это Регина: может быть, она никогда не привыкнет к своим красивым вещам.



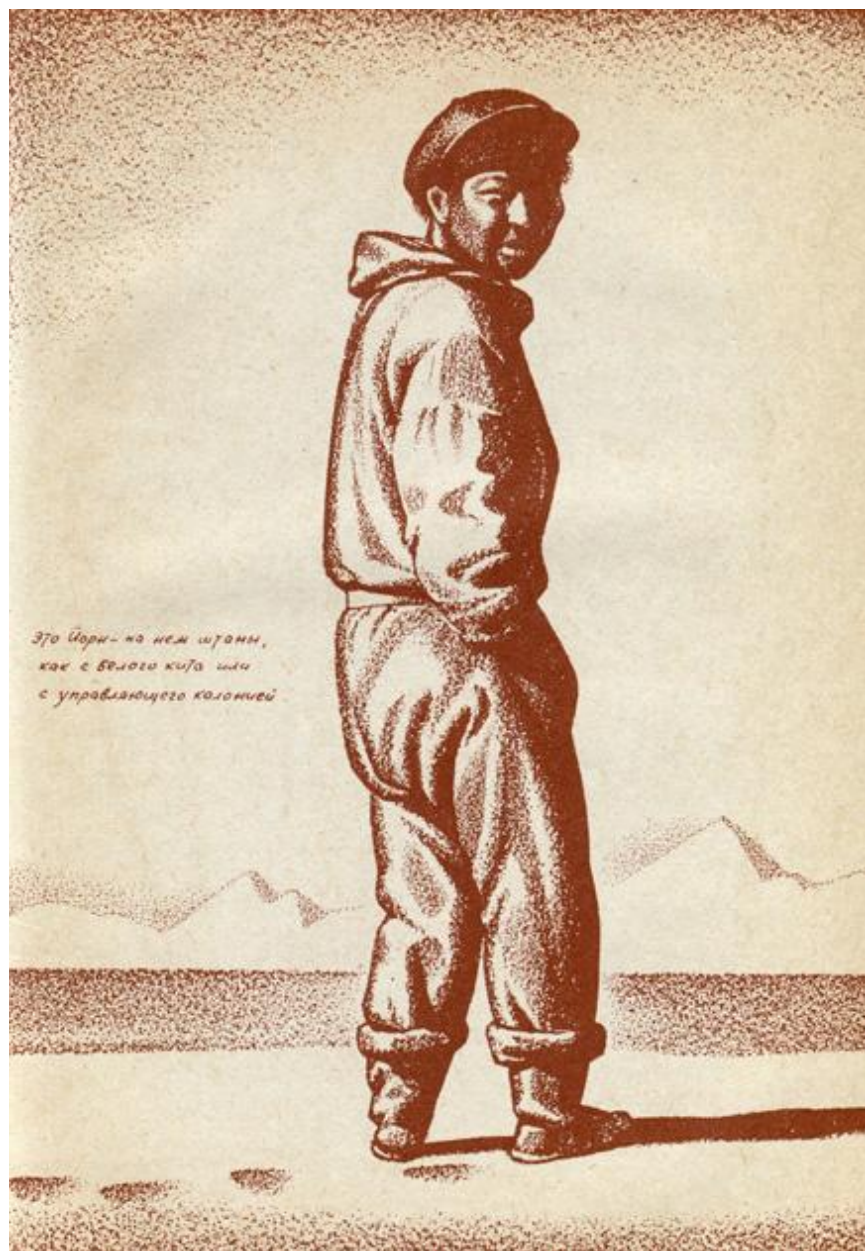
А это — Олаби.



Это Юстина, такой она могла бы быть, если бы «амауты» и такая любовь к детям не вышли из моды.



А это — Анна.



Это Йорн — на нем штаны, как с Белого кита или с управляющего колонией.



Эскимос с каяком.



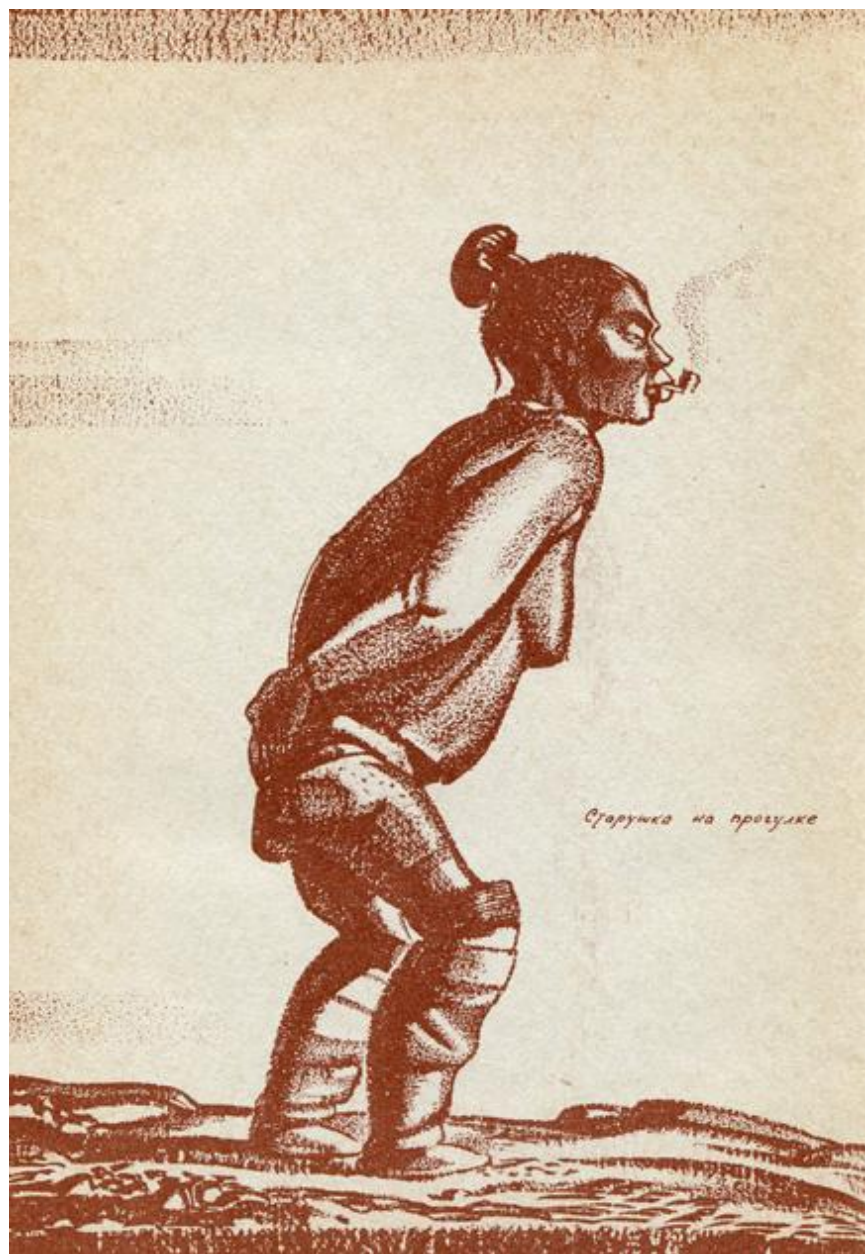
*Это Саламина, развешивающая прищепки для белья.
Если бы я нарисовал и бельё, то оно закрыла бы её руки.
Она всегда пыталась спрятать их — эти рабочие руки.
Но в этой книге прятать ничего нельзя.*



Беата, вот кто умел танцевать!



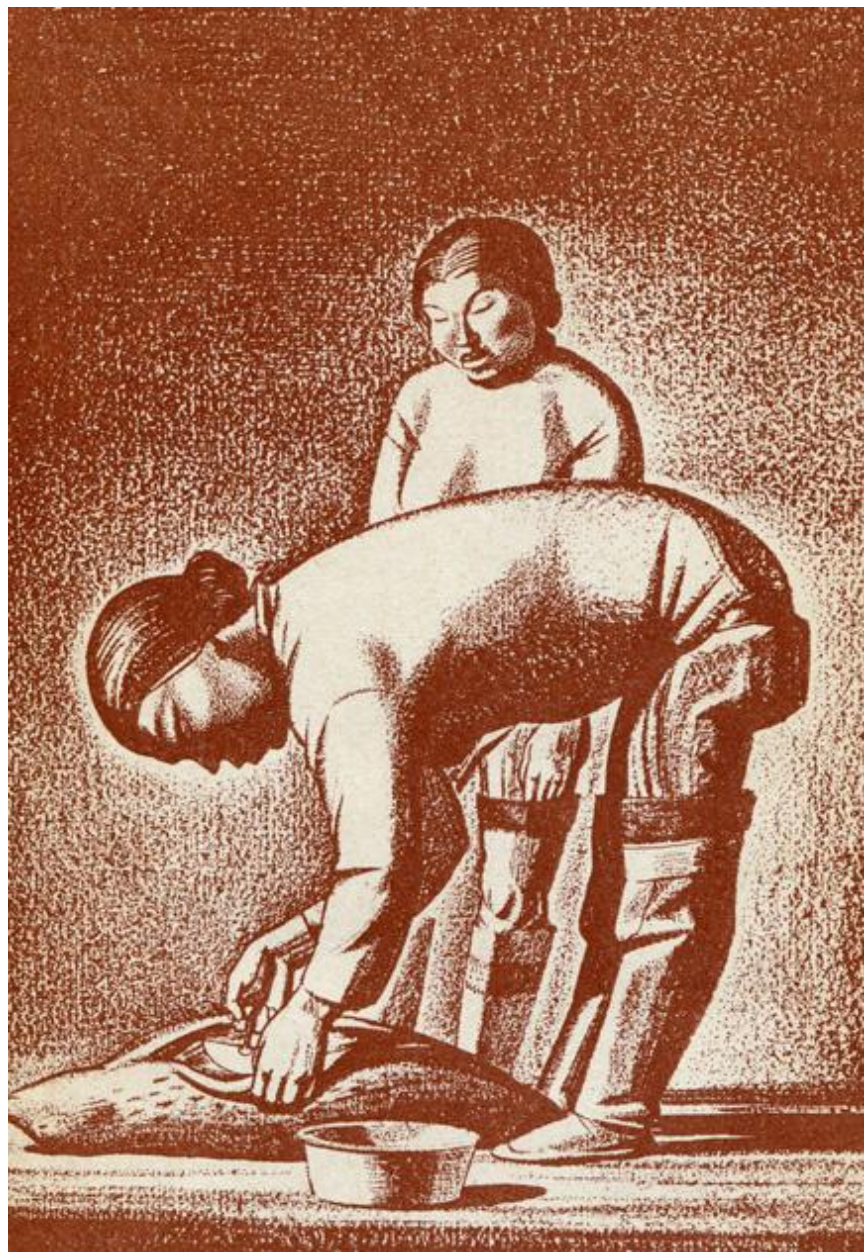
*Мала — бедное, старое полусумасшедшее существо;
превосходная артистка.*



Старушка на прогулке.



Это Сара — жена Исаака, мать Авраама, Иохана и Мартина.



Это не Карен, жена Давида. Но однажды, когда она была занята тем же делом — свежевала тюленя — её отвлекло какое-то происшествие на берегу; она выбежала и... оставила дверь открытой. Через 60 секунд в доме было 60 собак. Мужчины целых десять минут вышвыривали собак за дверь.



*Это Давид, муж Карен, идущий по тонкому льду.
Он не боится смерти.*

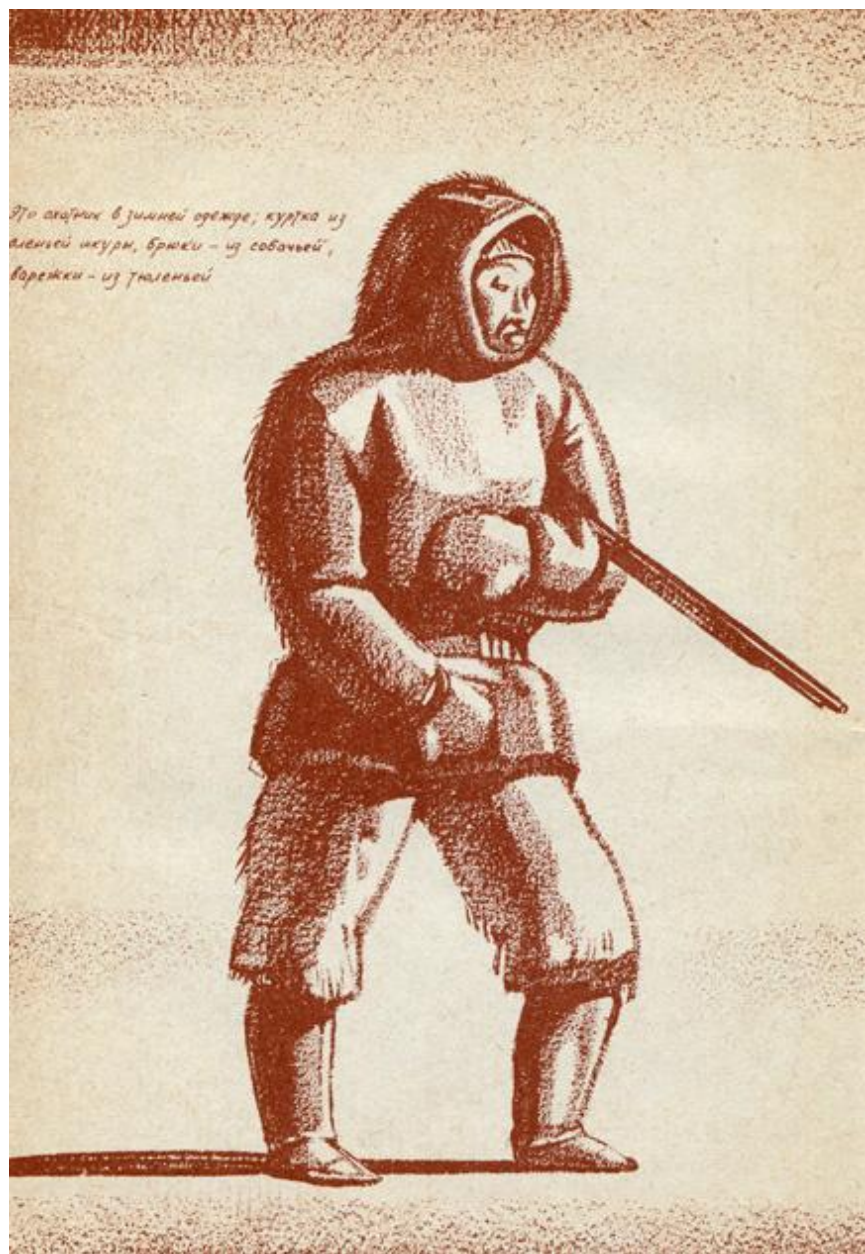


*Это эскимос в «полной куртке»
Можно подумать, что я не знаю
анатомию, но у гренландских
варежек два больших пальца.*

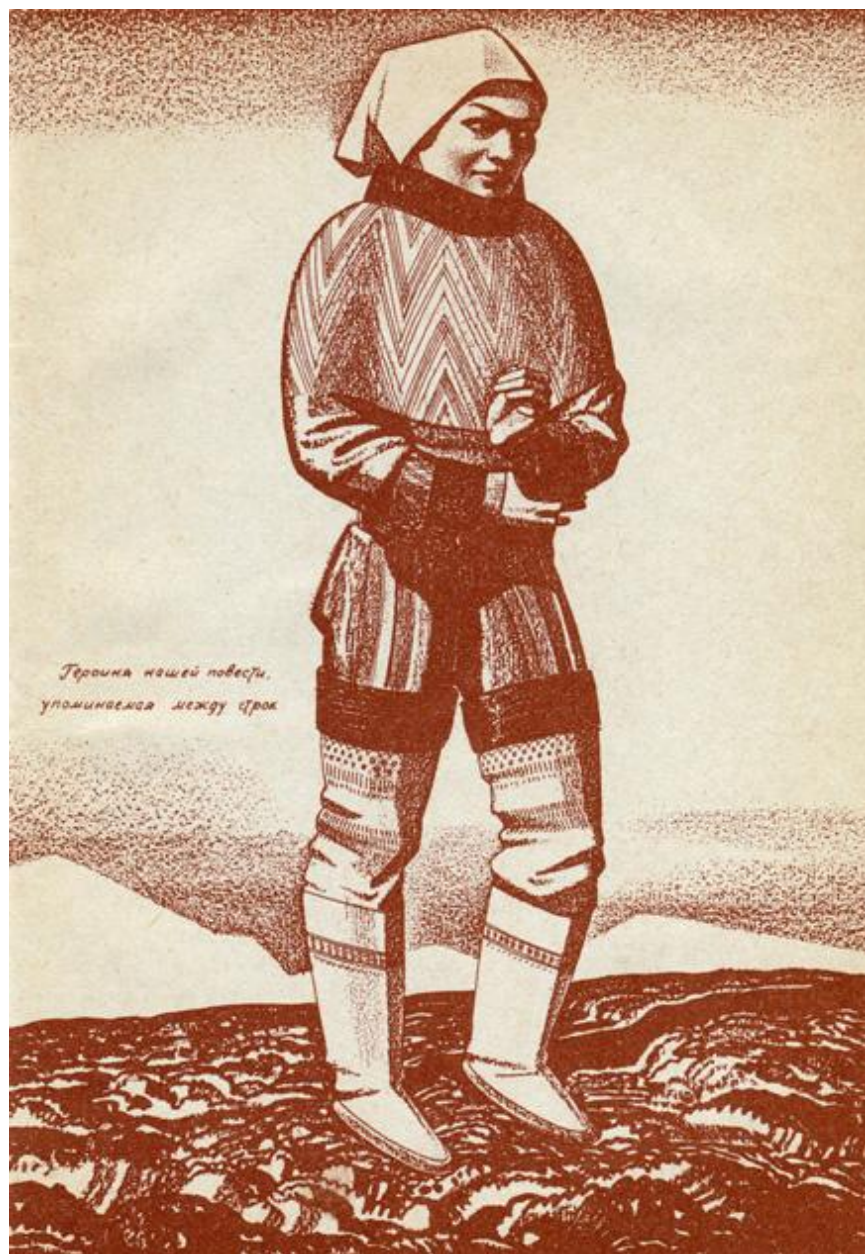
Это Эскимос в «полной куртке».
Можно подумать, что я не знаю анатомию, но у
гренландских варежек два пальца.



Это Полина — арктический жаворонок. Ева Каррата.

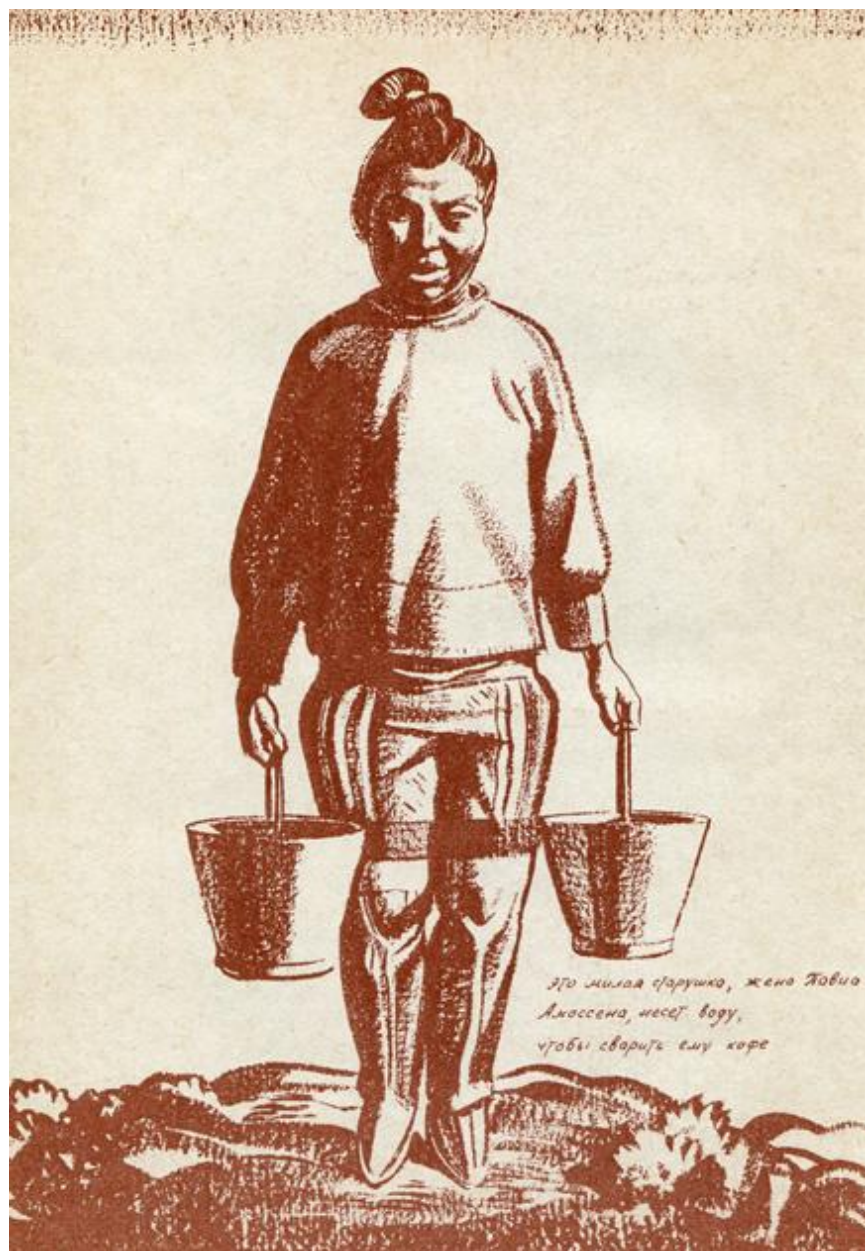


Это охотник в зимней одежде; куртка из оленьей шкуры, брюки — из собачьей, варежки — из тюленьей.

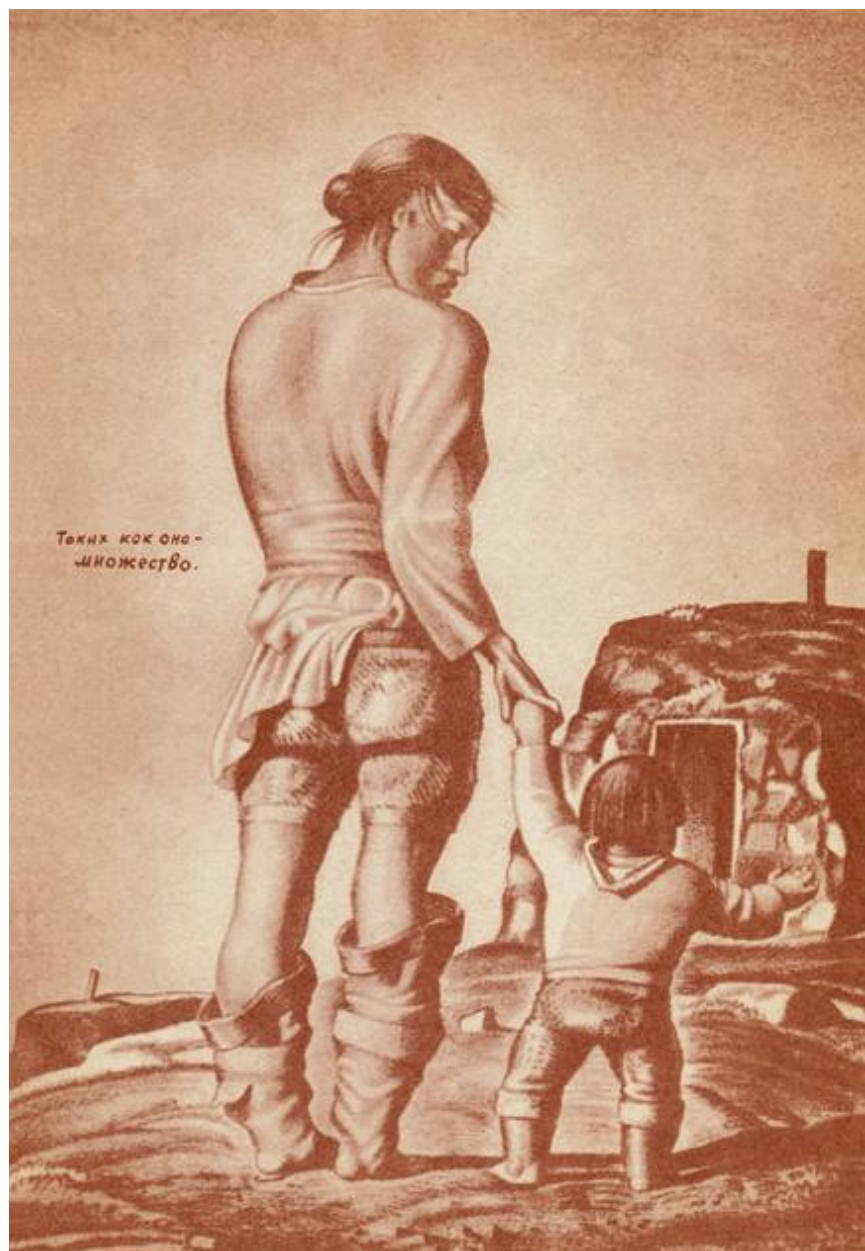


*Героиня нашей повести,
упоминаемая между строк*

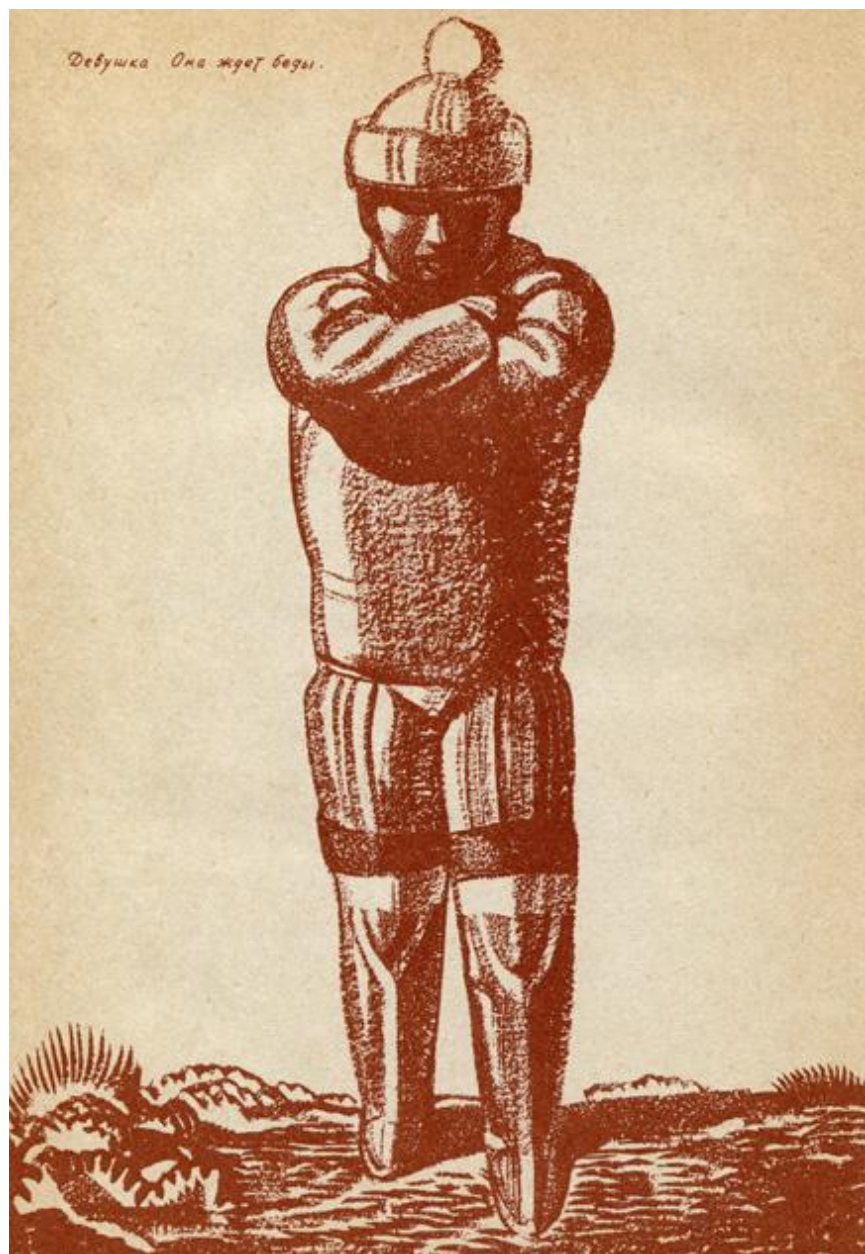
Героиня нашей повести, упоминаемая между строк.



Это милая старушка, жена Павиа Амоссена, несет воду, чтобы сварить ему кофе.



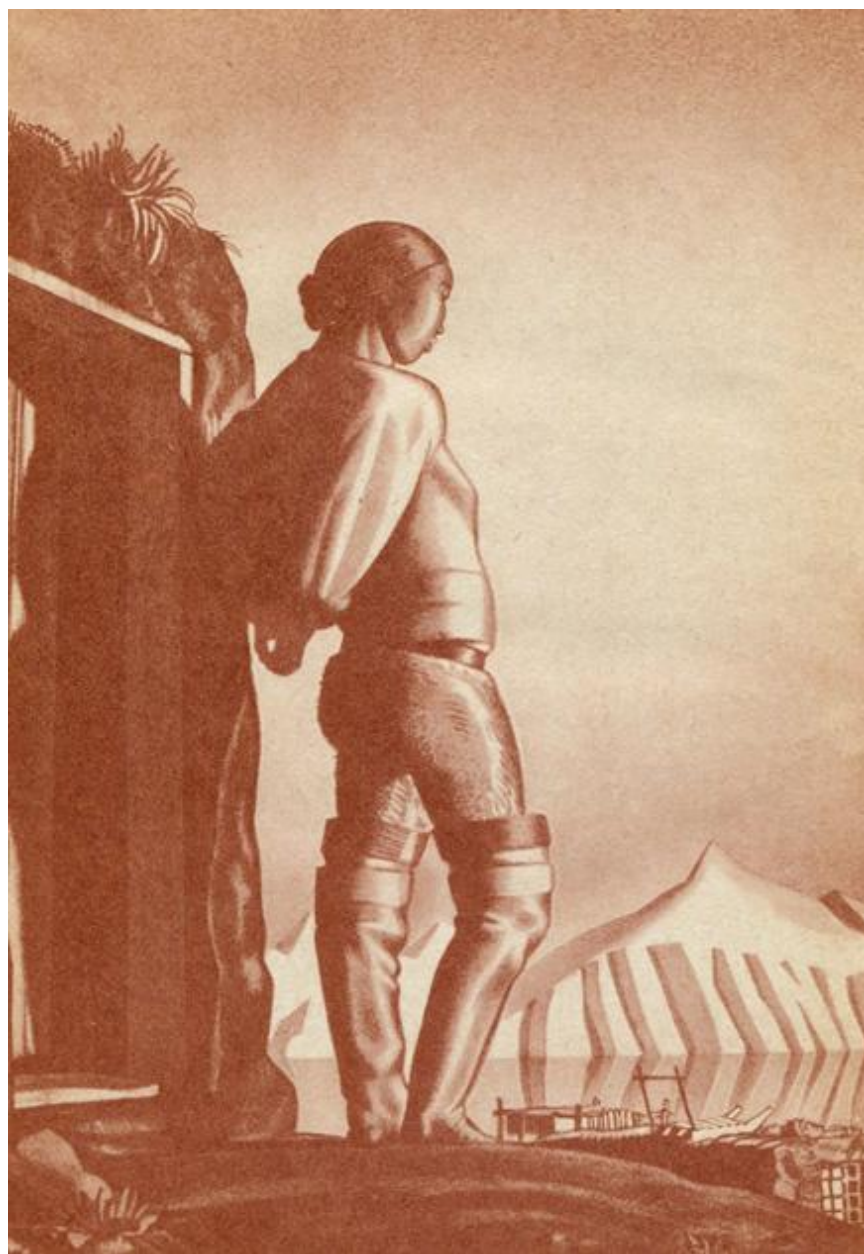
Таких как она — множество.



Девушка, она ждет беды.



Ждать ей пришлось до зимы, но она всё же дождалась.



notes

Примечания

Автор упоминает о своей книге «Курс N by E». На русском языке она издана Государственным издательством географической литературы в 1962 г. и издательством «Мысль» в 1965 г.

Рокуэлл Кент говорит о молодых украинских художниках Аде Рыбачук и Владимире Мельниченко.

Поп, Александр (1688–1744) — английский поэт, представитель просветительного классицизма, рассматривавшего поэзию как средство для пропаганды просветительских идей.

Иннуит (*эскимосское*) — люди. В данном случае автор подразумевает древних обитателей Гренландии, изолированных от остального мира.

Эльза Брабантская — героиня оперы композитора Р. Вагнера «Лоэнгрин». Автор в шутку сравнивает свое появление перед Юстиной с появлением перед Эльзой Брабантской Лоэнгрин.

Асгард — небесное жилище мифологических существ — азов.

Рокуэлл Кент упоминает о трагической судьбе американца (точнее — канадца) Найта и эскимоски Ады Блэйкджэк — участников канадской экспедиции Вильялмура Стефанссона. Экспедиция была отправлена летом 1921 г. в Арктику с целью присоединения к Канаде советского острова Врангеля. Группа, высаженная на остров, оказалась в бедственном положении. Трое из пяти человек погибли по пути с острова на материк. Зимовать остались больной Найт и Ада Блэйкджэк. Летом следующего года Найт умер, а Ада позже была снята с острова командой спасательного судна.

В прошлом у эскимосов, как и у других народов, живших первобытнообщинным строем, были распространены групповой брак и обычай обмена женами или одалживания жены другу на некоторое время. Эти обычаи были порождены нормами родового строя и ничего общего не имеют с половой распущенностью и проституцией, царящими в капиталистическом обществе.

Delphinapterus leucas — белуха, млекопитающее морское животное.

Умиак (*эскимосское*) — большая лодка для перевозки грузов и охоты на китов.

Пончо — плащ из прямоугольного куска ткани без рукавов с отверстием для головы, традиционная одежда народов Южной и Центральной Америки.

«Канут поступил мудро, оставив в покое морскую волну» — автор подразумевает предание про короля Англии Канута (1016–1035). Король сидел на берегу. Его окатило волной. Канут приказал волне остановиться, но она окатила его вторично. Королю ничего не оставалось, как отойти подальше.

Залив Фанди известен своими быстрыми приливными течениями; находится между Новой Шотландией и юго-восточной частью провинции Нью-Брансуик. (*Прим. перев.*)

Донегол — графство в Северной Ирландии.

Гвидо Рени (1575–1642) — итальянский живописец, один из крупнейших представителей академической живописи XVII в. Его произведения, как правило, отличаются нарочитой идеализацией и внешней красотой.

В результате плохих жилищных условий и плохого питания туберкулез очень распространен среди гренландцев. Около двух третей коек в больницах острова занято туберкулезными больными. Опустошительны эпидемии и других болезней. Так, в 1949 г. эпидемия оспы охватила 5000 человек, умерло 250 человек.

Еще совсем недавно смертность эскимосов в Гренландии достигала в среднем в год 40 человек на 1000 жителей. В связи со строительством новых больниц, туберкулезного санатория, проведения почти поголовного медицинского обслуживания, вакцинации туберкулезных больных в 1947–1951 гг. она сократилась до 28 человек на тысячу, а к 1954 г. до 17 человек. Это, как и ряд других улучшений быта гренландцев, достигнуто в результате роста политической активности эскимосов, отстаивающих свои права.

Торнарсук — могущественный верховный дух верований
гренландских эскимосов.

Тролли — в скандинавских народных поверьях сверхъестественные существа (чаще всего великаны), обычно враждебные людям.

Манхаттан — остров в устье реки Гудзона, на котором расположена центральная деловая часть Нью-Йорка.

Крайслер — одна из крупнейших американских автомобильных фирм-монополий.

Потlach (эскимосское) — подарок. Зимний праздник североамериканских народностей, во время которого устраиваются пиршества, сопровождаемые церемониями, раздачей подарков.

Сенсуалисты — последователи сенсуализма, философского учения, признающего ощущения единственным источником познания.

«Venite adoremus» (*лат.*) — «Придите, поклонимся» — слова из литургии.

«Noblesse oblige» (*франц.*) — «Положение обязывает».

«К чести Америки, она была первой из наций мира, пославших полномочного посла в Гренландию». — Трудно согласиться с автором, что это сделано «к чести Америки». Поездка американского посла Руфи Брайен Оуэн в Гренландию была предпринята с чисто разведывательными целями — для изучения положения в Гренландии, на владение которой США издавна претендовали.

Сахем — верховный вождь.

Изольда — героиня одного из самых распространенных и любимых произведений средневековой поэзии народов Западной Европы — повести о Тристане и Изольде, о их пылкой и трагической любви.

У народов, живущих родовым строем или лишь недавно вышедших из родового строя, браки между двоюродными братьями и сестрами очень распространены.

Кох, Лауге (род. 1892) — датский геолог и полярный исследователь, совершивший несколько экспедиций в Гренландию.

Литания — молитва, причитания.

Уло или улу — эскимосский нож изогнутой формы.

«Комната Синей Бороды» — выражение применено Рокуэллом Кентом в качестве синонима чего-то запретного и поэтому возбуждающего любопытство. Синяя Борода — герой одной из сказок французского писателя Шарля Перро (1628–1703), фантастический злодей, убивавший своих жен за то, что они нарушали запрет входить в его комнату.

Вегенер, Альфред (1880–1930) — выдающийся немецкий полярный исследователь, геофизик. Подробности гибели Вегенера и его спутника эскимоса Расмуса Виллумсена описаны в книге Джемса Скотта «Ледниковый щит и люди на нем» (Государственное издательство географической литературы, М., 1959). Кстати, там же говорится, что брат Расмуса Виллумсена, позже погибший в море, принимал участие в поисках группы Вегенера в качестве проводника аэросаней.

Расмуссен, Кнуд Йохан Виктор (1879–1933) — датский полярный исследователь, этнограф, основатель станции Туле, участник и организатор нескольких экспедиций («Экспедиции Туле»), исследовавших северную часть Гренландии и северное побережье Америки (см. *К. Расмуссен. Великий санный путь*. Государственное издательство географической литературы, М., 1958).

Криолит (от греч. «криос» — лед, «литос» — камень) — редко встречающийся в природе минерал, соединение фтористого натрия и фтористого алюминия. Широко используется при производстве алюминия, а также при изготовлении специального молочно-матового стекла и эмалей для покрытия железных и фаянсовых изделий. Месторождения криолита в Гренландии — крупнейшие в зарубежном мире.

День памяти жертвам гражданской войны — 30 мая — установлен в честь погибших участников гражданской войны в США 1861–1865 гг.

Моравские братья — члены чешской религиозной секты, образованной в середине XV века и позже распространившейся по всему свету. В Гренландии также были их поселения — посты, основанные членами секты, прибывшими из Скандинавии.

«Великие дела свершаются, когда люди и горы встречаются». Мысль этого афоризма английского поэта и художника Уильяма Блейка о том, что люди труда в своем величии сродни горам, часто проводится Рокуэллом Кентом в его книгах и выступлениях. Одна из последних книг Кента, в которой он много рассказывает о Советском Союзе, названа им «О людях и горах» («Of men and mountains»).

Озимандия — название гробницы египетского фараона Рамзеса II, развалины которой находятся вблизи Фив среди лишенной жизни песчаной равнинной пустыни. Для Рокуэлла Кента идеальная горизонтальная плоскость — символ вечного покоя, тогда как горы — символ жизни.

Ликург — легендарный законодатель древней Спарты.

В. Ольшевский. Я — твой, жизнь! Рецензия на кинофильм об искусстве Рокуэлла Кента. Газета «Советская культура» от 25 сентября 1958 г., стр. 4.

О жизненном и творческом пути Рокуэлла Кента подробнее сказано во вступительной статье к его книге «Курс N by E», изданной Государственным издательством географической литературы в 1962 г. и издательством «Мысль» в 1965 г.

Большая часть приведенных здесь фактов заимствована из книги Г. А. Аграната «Зарубежный Север». Изд-во Академии наук СССР, М., 1957, стр 229–230.